

Енисей

№ 1
2014



Красноярский краеведческий
и литературно-художественный альманах



Енисей

№ 1 * Красноярский краеведческий
2014 и литературно-художественный альманах

Михаил ТАРКОВСКИЙ главный редактор

заместители
главного редактора:

СЕРГЕЙ Кузнечихин по поэзии

Владимир Замышляев по публицистике
и литературоведению

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр АСТРАХАНЦЕВ прозаик, председатель
Красноярского отделения
Литературного фонда России

Леонид БЕРДНИКОВ краевед, председатель
Историко-патриотического
общества «Краевед»;

Иван Булава прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Иван Клиновой член Союза российских писателей

Марина Москалюк доктор искусствоведения, профессор,
директор КГБУК «Художественный
музей им. В. И. Сурикова»

Михаил Северьянов профессор, доктор исторических наук



Красноярск
ИД «Класс Плюс»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке Министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки использован
фрагмент картины Валерия
Кудринского «Над Енисеем».

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев
Ответственный секретарь:
Александр Ёлтышев

Подписано в печать: 19.08.2014
Тираж: 500 экз.
Формат: 70 × 100 / 16
Объём: 16,25 + 0,65 вкл. усл. печ. л.

Отпечатано в ИД «Класс Плюс»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65
(строение 23) | т. (391) 2-59-59-60

ISBN 978-5-905791-25-3

Содержание

Слово главного редактора 5

ЮБИЛЕЙ

Валентин Курбатов *Свет незакатный* 7

Владимир Башунов *Вздох* 9

Олег Павлов *Что скажет наша совесть?* 14

Капитолина Кокшенёва *О сущности социального нигилизма
в «Печальном детективе»
В. П. Астафьева* 15

Михаил Тарковский *Речной писатель* 20

Юрий Беликов *Дуэль длиною в жизнь* 29

Ольга Блинова *Виктор Астафьев: «...Радуйтесь
этой жизни: другой на земле нету!»* 36

КРАЕВЕДЕНИЕ

Тамара Колесник *Две страсти Алексея Бондаренко* 41

Михаил Тарковский *Русский язык на берегах Енисея* 47

ПРОЗА

Татьяна Эйснер *Чуткая тишина* 52

Елена Жарикова *«И на прозрачных крыльях
сна летело детство»* 70

Николай Найдёнов *Капитон и Капитоныч* 78

Владимир Селянинов *Знакомая белочка* 110

Сергей Смирнов *Путь в архипелаг* 117

Михаил Котов *Чёрный Соболь (Ванавара)* 154

ПОЭЗИЯ

Ольга Гуляева *Невидимые волны* 162

Николай Тимченко *Прекрасен мир, в котором мы живём!* 166

Тина Кошкина *Капли тревог* 168

Александр Рейхерт *Пуля на излёте* 171

Лев Таран *Сырой рассвет* 177

ФЕСТИВАЛЬ

Елена Пестерева *КУБ и другие геометрические фигуры* 183

КУЛЬТУРА

Владимир Замышляев *Славный мастер танца* 188

Татьяна Тарковская *«Послушай: далёко, далёко...»* 192

Авторы 195

Слово главного редактора

Дорогие земляки! Дорогие жители центрального Красноярья, Таймыра, Эвенкии, Хакасии, Тувы! Все те, чья жизнь так или иначе объединена огромной жилищей Енисея, этой непомерной доро́гой длиной в четыре тысячи километров... Даже находясь на самом востоке Эвенкии, мы чувствуем душой эту великую реку жизни, которая для каждого из нас давно уже гораздо больше, чем просто водная артерия: это и общая любовь, и мера гармонии Божьего замысла. Это тот Божий дар, который дан нам для испытаний, для проверки, насколько мы сами достойны этой ноши — ноши ответственности за родную землю, за жизнь на ней, за её будущее. Сколь раз мы и оправдывали это доверие, и не оправдывали, но земля эта крепчайшая с такой же надеждой смотрит на своих детей — то так же строго и требовательно, а то сама требует защиты. А в защите нынче многое нуждается — и эта земля, и тот народный дух, который всегда держался на верности традиции и на созидании, на памяти о подвижническом подвиге предков, на ощущении преемственности и неделимости русского времени.

Именно об объединении вокруг традиции только и стоит говорить в наши нелёгкие и символические дни, когда международные события окончательно расставили всё по местам и вернули нас к ключевой истине: у России нет в политике друзей на Западе. Ясно и крепко стало на душе у тех, кто твердил об этом все двадцать лет после драматичной и разрушительной перестройки, горько, но так же ясно и твёрдо — в сердцах тех, кто по наивности поддался на преходящие ценности мира сего, забыв об ответственности перед Отечеством, о том, что *материальное* для истинного русского человека никогда не перевесит *духовного*, о том, что только в служении высшим задачам и может полностью раскрыться весь созидательный потенциал нашего многонационального Отечества.

Литература, русский язык — эта та твердь, на которой испокон веков стояла думающая и чувствующая Россия. Это то пространство, которое укрепляет национальное самосознание, собирает воедино души, за короткие годы вдруг ставшие небывало потерянными... Это особенно важно, когда стоишь на берегу бескрайней реки, и простор вокруг тебя настолько огромен, что посёлки, прореженные укрупнением, затопленные водохранилищами, кажутся микроскопическими до какой-то говорящей уже затерянности — настолько неподъёмны пространства земной тверди, разделяющие людей на сибирских

просторах. Так же далеки мы стали друг от друга и духовно, так же отдалила нас друг от друга вынужденная борьба за существование, так же выжгло души ощущение утраты братского плеча, объединяющего слова. Давайте соберёмся вокруг него, как в былые годы, и начнём путь в будущее. Давайте беречь и преумножать наше достояние — это русское слово, как заповедовал нам наш великий земляк Виктор Петрович Астафьев, светлой памяти которого и посвящается этот номер альманаха «Енисей».

Валентин Курбатов

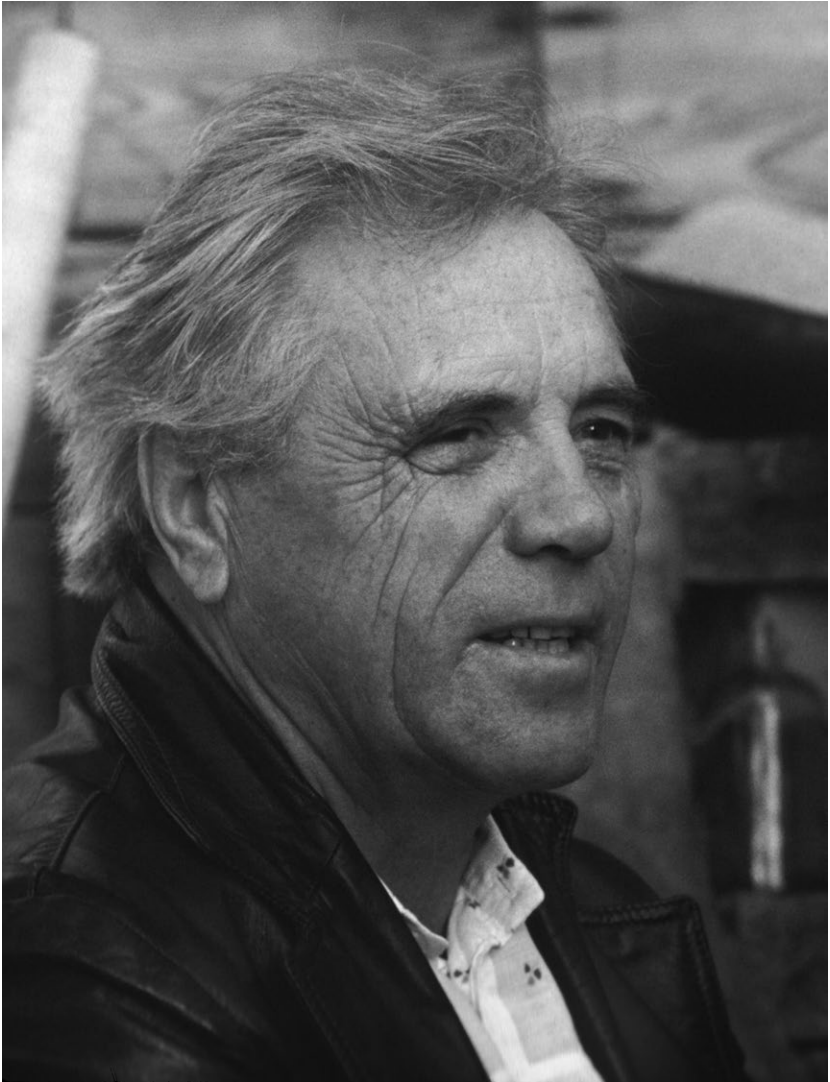
Свет незакатный

Какое это прекрасное «изобретение» Господа — юбилей! Виктору Петровичу исполнилось девяносто! Исполнилось-исполнилось, хотя его уже тринадцать лет нет на земле. Но это на земле нет, а в душе-то человеческой, в памяти нашей, которая дальше «земли», эта горькая и прекрасная жизнь длится и длится.

За годы после его кончины живая боль прошла, и стали как-то особенно видны свет и даль его дара, не заслоняемые вмешательством дня, единственность и вместе укоренённость его понимания мира, народность его, наконец, хоть мы уже вот-вот станем стыдиться этого слова, отнеся его к невозвратному архаическому прошедшему. А она, *народность*-то, в оставляющем нас сегодня чувстве «любви ко всем и ко всему», в его любящем умении побыть всеми в этом мире... Сохрани Бог, случится что с нами — по одной его великой художественной «археологии» можно воскресить всю нашу милую Родину. Не только в человечестве её крестьян и космонавтов, терпеливых матерей и балованных бездельниц, тружеников и воров, святых и негодяев, но и все её леса, и в них каждую травинку, в водах — всякую поимённо названную рыбёшку, а в небесах — птицу. Словно перед прощанием надо было оглядеть всю землю или, не доверяя Творцу всяческих в обещании красоты небесных селений и отмщении злу, нарадоваться земной красотой и по возможности хоть беспощадным словом наказать несправедливость ещё здесь.

Я очень люблю его исповедный рассказ «Тельняшка с Тихого океана», где он, оглядывая свой долгий путь, благодарит Бога за трудное счастье писательского пути: «Я не изведал того пламени, который сжигал Лермонтова и Пушкина, Толстого, не узнал, каким восторгом захлёбывались они, какой дальний свет разверзался перед ними и какие истины открывались им. Но... я тоже знавал, пусть и краткое, вдохновение, болел и мучился словом... и моя радость... останется со мной. Пускай не пламень, только огонь, даже отсвет его согрел и осветил мою жизнь, спасибо судьбе и за это».

Да, это не пламень, но это огонь из родных родной. Не фаворский свет, не поражающее ум сияние Толстого и Гоголя, но как огонь очага — своё, сердечно близкое. И нет у нас пока дара, который стал бы нам роднее, и ближе, и нужнее для нашего бытования, сострадания, опамятования, для достойного содержания души.



Фотографии из архива Валерия Кудринского

Есть что-то горько справедливое в том, что он ушёл на пороге нового века. Одна из его последних записей, сделанная уже со взглядом на начинающую торжествовать молодую эгоистическую литературу, горько предупредительна: «Возможно, что литература двадцать первого века будет отпеванием человека, отображением и его полного банкротства, и краха». Но его голоса в этом отпевании не будет. Всем творчеством он сопротивлялся духовной смерти наступающей постистории, великим словом до последнего храня в человеке народное, подлинное, неунижаемое зерно, не давая ему забыть в себе образ Божий.

Свет его и в последней тьме незакатен.

Владимир Башунов

Вздох

I.

Я возвращался с похорон Виктора Петровича Астафьева.

В купе было душно, как в разморённой июльской тайге. Уже полночь обнимала поезд, убаюкивала, ушёптывала — и не засыпалось: смутно было внутри, сиро, безотзывно. Мысли сбивались, неупорядоченными обрывками набегаая друг на друга. Вспоминался он сам, его книги. И уж, конечно, моя наилюбимейшая у Виктора Петровича вещь — пастораль «Пастух и пастушка», читанная-перечитанная, пронзительную концовку которой когда-то я знал наизусть.

«Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого одиноким бакенном качалась пирамидка, и зыбко было всё в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России».

Я вышел покурить. В тамбуре скорого поезда Лена — Москва лежал горкой снег с одного боку — намело по дороге, ещё до Красноярска. Холодом пронимало курящую душу, а в дверном узком окне, как в притуманенном зеркале, бежала, кружила оснеженная природа.

В пути я занемог.
И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным лугам.

Это Басё, великий Басё, национальный японский поэт, лирик и философ, семнадцатый век...

Так близко, так родственно.

И вроде вслепую вспомнилось, ненароком, нечаянно, да всё нечаянное — зрячее, неуклонимое, чайнное.

Виктор Петрович нежно любил поэзию, тонко её чувствовал, отдавал ей первенство перед прозой, знал поэтов Запада и Востока, а уж своих, кровных, расейских — и говорить нечего.

В первое моё быванье в Овсянке, лет пятнадцать примерно назад, когда никто не мешал разговору вдвоём, — говорил, конечно, Виктор Петрович, а я, и так-то не любитель говорить, тут вовсе «звука не ронял» — только бы послушаться досыта!

Но повернулся сюжет на поэзию, что неудивительно — Виктор Петрович часто в разговорах выводил к стихам и поэтам, к их судьбам,

к тому, что выговорено русской пословицей: певчая птица прежде погибает... И постоянно — я нисколько не преувеличиваю: точно постоянно, — говорил при этом, что поэтов у нас любят после смерти.

Удивительно, что почему-то вспомнили посреди деревенского раннего лета японцев стародавних, китайскую пейзажную лирику почему-то, и, осмелев, я прочитал несколько миниатюр Басё, которого любил из всех отдельно, — хокку пять, может, шесть, что зацепились, чудом удержались в моей дырявой памяти... Читая, не зрением увидел — кожей услышал, как заволновался Виктор Петрович, откликаясь на Басё.

И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным лугам...

Можно, частью, привыкнуть к расставаниям насовсем — так много выжжено дорогих полей и лугов за минувшее страшное десятилетие, так часто случались расставания. Но невозможно привыкнуть к этой острой тайне — мгновенному переходу человека из живого общения в область воспоминания.

...В тот раз мы прилетели в Красноярск с фронтовым другом Виктора Петровича, любезным его сердцу Петром Герасимовичем Николаенко, о котором он так часто, так вкусно и выразительно рассказывал, и Виктор Петрович загодя, по телефону наказывал мне, чтоб я следил, не отпускал от себя в городе и в аэропорту Петра Герасимовича, а то он, парнишка деревенский, потеряется, неровен час, среди бойкого люда, затюкают его (эту громаду человеческую, с плечами богатырскими, с ладонями в раскрыле не меньше деревянной лопаты, какой отгребают снег в ограде и от ворот), а уж в красноярском аэропорту Виктор Петрович нас встретит. Долетели мы хорошо, быстро, и пока я озирался, выглядывая характерную астафьевскую фигуру, смиренный житель алтайской глубинки уже трубно кликал меня и махал своим мельничным крылом от какой-то машины.

Оказалось, он успел договориться со случайным шофёром, и нас тут же домчат до города за умеренную плату.

Слава Богу, на моё успокоенье, подоспел Виктор Петрович. Мы сначала заехали в Академгородок, повидались с Марией Семёновной, опрокинули по рюмке со встречей и отправились втроём в Овсянку. По пути завернули на базар, набрали всякой зелени — сам Виктор Петрович набрал, не давая нам шевельнуть наши карманы, а когда это всё перемыли и выложили на кухонный столик в Овсянке, я не утерпел: «Виктор Петрович, мы к еде-то ничего не взяли, укажите, где тут у вас магазин, я махом слётаю...» — «Ты чё ж, Володя, думаешь, если Марья Семёновна с меня глаз не спущат, так я уже ни к чему не способный?»

Он, принагнувшись, ловко запустил руку в просвет между стеной и кухонным столиком, наугад и сразу вытащил целёхонькую бутылку коньяка.

Вот так, за коньяком, мы и попали в средневековье, сразу в Японию и Китай.

Пётр Герасимович не встревал в разговор, бродил туда-сюда, тесня и без того невеликое пространство комнат: то за дверь выбредал, в ограду, то являлся обратно. Взбодрённый коньяком, я ещё сказал Виктору Петровичу, что мне чудится сходство между ним и Басё (а так оно и есть), только в слова не могу поймать, в определенье. Он полузасмеялся своим лёгким выразительным смехом: «Ну, давай лови, потом скажешь, чё поймашь...»

Раньше не сказал, теперь вовсе не скажу: русская литература выронила из своих рук царь-перо.

2.

Хоронили Виктора Петровича в первый день календарной зимы. С утра в Красноярске сыпал снежок, было, в общем, терпимо: минус двенадцать на термометре — что это для Сибири? Терпимо, но прознабливало, особенно вблизи Енисея. А сыплющийся с неба снег значил, по народному верованью, что ушёл из жизни хороший человек и природа оплакивает его.

Человек ушёл прекрасный, простой в общении и мудрый, но ничего теперь про это я говорить не буду: есть кому сказать лучше меня. А я напомним его слова о Есенине, с тою же справедливою полнотою относящиеся к нему самому:

«...Нету его, сиротинки горемышной. Лишь душа светлая витает над Россией и тревожит, тревожит нас вечной грустью. А нам всё объясняют и втолковывают, что он ни в чём не виноват и наш-де он. Уже и сами судьи, определявшие, кто «наш» и «не наш», сделались «не нашими», вычеркнуты из памяти людской, песнь, звук, грусть поэта навечно с нами, а нам всё объясняют и объясняют необъяснимое, непостижимое, потому что он — «не наш» и «не ваш», он — Богово дитя, он Богом и взят на небеса, ибо Богу и самому хорошие и светлые души нужны, вот он и пропальвает людской огород — глянешь окрест: татарники одни да лопухи, и на опустелой земле горячая трава да дремучие бурьянники прут вверх, трясут красными головами, кричат о себе, колются, семенем сорным, липучим сорят...»

Горько, что не осталось теперь всегда приберегаемой в себе возможности: сорваться как-нибудь в одночасье и рывком прибежать в Красноярск, побыть около, послушать, порадоваться.

Вот прибежал рывком, но уже на прощальную встречу, на последний поклон.

Место для гражданской панихиды отведено было в краеведческом музее, с десяти до двенадцати часов дня. Я пришёл к музею пораньше, но уже от заграждённого сторожей входного крыльца вдоль по берегу Енисея стояла длинная очередь, уходя под мост и там заворачиваясь. Люди стояли терпеливо, смиренно снося пробирающую до костей

знокость. Рядом, нараспашку откинув опушённые белым мехом берега, широкой траурной лентой лился любимый его Енисей. «Течёт и течёт», — подумалось отдалённо. И жгуче захотелось, чтоб остановился — пусть на мгновенье, но задержался, встал как вкопанный...

Нет, не встал, не задержался — течёт и течёт.

Народу всё время много: в Красноярске у музея, в Овсянке — возле дома его и возле церкви, где отпевали, на кладбище... Ни к Марии Семёновне не подступиться, ни к могиле толком не подойти. Только и удалось побыть вблизи, когда стоял в почётном карауле у гроба, «смотря со вниманьем мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза...».

Какая удивительная ясность нисходит на лицо человеческое, когда отойдёт от него суета мирская и остановится над ним земное время! Господь ли, мальчик ли в белой рубашке прошёл рядом и овеял его своим чистым дыханьем?

3.

«Как он печален, наш мир!» — доносится вздох Басё из глубины времени. И совсем ещё рядом, ещё не отлетевший в запредельность, колеблемый живой интонацией, звучит голос Виктора Петровича:

«Планета человеку дана была Богом замечательная, цветущая, спокойная, населённая прекрасными птицами, украшенная цветами, покрытая зелёными травами и лесами. В помощь человеку явились животные, звери, рыбы, и сам человек задуман был прекрасно, да поддался искушениям жить не по закону Божьему, а по велению сатаны.

Много бед принёс себе и земле расхристанный человек, многое уже в нём и на земле не восстановить и даже не поправить, но гении человечества, лучшие умы и сыны земли доказали, на что способен человек, как велик он в деяниях созидательных и какой он варвар и безобразник, когда в безумии разрушает мир земной, его богатства и достижения, разрушаясь при этом и сам.

Только в мирном объединении, только в смирении взбаламученной и уже усталой от мучений души человека, в стремлении его к свету, к разуму — спасение, и надо, надо торопиться нам, ведь на краю пропасти стоим. Устоим ли? Удержимся ли?..»

Сороковой день по смерти Виктора Петровича совпал с Рождеством Христовым. Непростое совпадение, но ничего придумывать не надо, скажут мне: так сошлось случайно. Конечно, конечно. Только ведь, повторюсь, ничего случайного не бывает.

...Ровно через две недели после Виктора Петровича я хоронил отца. Снова ехал, теперь в другую сторону, в Бийск, смотрел в окно автобусное...

Снова гроб, снова кладбище...

И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным лугам...



Перебираю старые фотографии, где мама, отец, родные, где друзья юности и срединных лет...

До времени выжженные поляны, выкошенные луга...

Смотрю надписи, оставленные рукой Виктора Петровича на подаренных им книгах.

«Володе Башунову в память о встрече на моей Родине, до встречи на его родной земле. 23 июня 1988 г.».

Это правда: после моих рассказов о Турачаке он хотел приехать туда, заодно побывать у старообрядцев. «Вот оклемаюсь немного — и поедем». Жаль, не случилось.

Вот и последняя, на пятнадцатитомнике его сочинений: «Дорогой Володя! Это тебе в память об Овсянке и обо мне... может быть, в этой жизни больше не придётся встретиться — вот я и тороплюсь... Сентябрь 1998 г., с. Овсянка».

И всё бежит, кружит мой сон...

Олег Павлов

Что скажет наша совесть?

Классик — слово, по-моему, полумёртвое. Не понимаю: а что оно выражает?.. Есть такое таинство — традиция. Он, писатель русской литературной традиции, был посвящён в её тайну — и разгадывать будем мы эту тайну, как разгадываем в Платонове, например. Я его начал читать с последних вещей. Последняя книга рассказов — «Пролётный гусь»... «Прокляты и убиты»... Потом «Весёлый солдат»... «Ода русскому огороду»... «Царь-рыба»... В чём-то, в конце концов, приблизился, понял, но это моё, во мне — и ничего не хочется объяснять. Любимое у него — это «Печальный детектив». И одна-то эта вещь сравнима, скажем, с «Посторонним» Камю — а это нобелевский лауреат. Или «Людочка» — мой любимый его рассказ... Многим казалось, что Астафьев, написав его, перешагнул черту. Что это уже за порогом добра и зла написанное. Только реализм русской литературы требовал всегда больше, чем художественной правды, — зло не изображал, а беспощадно обличал. Астафьева обвиняют в том, что он очернял советскую действительность. Да, он писал с ненавистью к злу, что внушать должна была бы страх Божий, потому что и должно быть так страшно людям за всё безбожное, что людьми же делается на земле. Это пафос его прозы — суд. Но какой, если не совести? О совести же мы и говорим: мучает. Это мучительная проза, только нет в ней жестокости, нет. Это человеческая природа, в том, как её понимал Астафьев, извратившись — она жестока. Так и о ненависти его якобы к русскому, когда обвиняют, что обнажал он только язвы своего же народа. Только когда же отделял он себя от своего народа? Никогда. Он не плотский, но и не духовный — душевный. Но что же пережила именно его душа? Сиротство. Детдом. Война. После войны — первый ребёнок родился — но, ещё младенцем, отнимет голод. И уже взрослой дочери смерть. Столько пережить... И помнить. Она же не вернулась к нему вдруг, та же память о войне, — мучила, поэтому пишет «Проклятых и убитых». Ну и нечего ему было сказать в последнюю минуту, кроме этих слов: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». Но книги, они сказали и скажут многое — вот что он действительно завещал. Он пришёл в этот мир из стихии народной души. Ушёл, растворившись в ней, сокровенной, всё отдав — и душу, и память, и жизнь. Вот и упокоение. Вот и вечная память. Он всё сказал. Что же скажет наша совесть?

Капитолина Кокшенёва

О сущности социального нигилизма в «Печальном детективе» В. П. Астафьева

«Слишком стремительно разлагается человек вообще и наше общество в частности, лишь бы удавалось заниматься самоутешением и самообманом, как прежде, и звереет и подлеет человек ещё больше, и это при наличии Толстых, Пушкиных и прочих Шекспиров и Петрарок», — так писал Виктор Астафьев в частном письме в 1980 году. Радикализм мысли для Астафьева в этот период тесно связан с его личным самоощущением, с его «криком изболевшейся души» (В. Быков).

Восьмидесятые годы двадцатого века — тут все почувствовали перелом в творчестве писателя. А он сам, прежде и раньше других, трезвым и точным, будто остриё скальпеля, взглядом узрел заболевание — заболевание духа истории. Что же случилось с человеком — строителем фабрик и заводов? Почему грандиозные успехи технологические и индустриальные уничтожают своим социальным героизмом земное счастье?

Заболевание духа истории Астафьев назвал — это был всё тот же не раз являющий себя на авансцене жизни социальный нигилизм. Но ведь и социальный нигилизм имеет свой корень, своё ядро, часто не различимое сразу. Вот эта проблема и мучила писателя — на неё он искал ответ. Ответ о человеке.

В «Печальном детективе» Астафьев покажет жуткое в своей «простоте» действие нигилизма через насилие, жестокость, немотивированное зверство, через дикое хамство, подлое приспособленчество. «Гнилая утроба человека» нагло выставляет себя напоказ, требует своего жизненного пространства, утесняя и наступая на человеческую норму. Социоцентризм, пронизывающий советское общество, рухнул не в 1993 году, а, пожалуй, значительно раньше. Социоцентризм как универсальный принцип пронизывал культуру и науку, политику и экономику. Всё объяснялось на его основе. Но оказалось, что человека нельзя всего измерить этим социальным циркулем. И уж кто-кто, а русские писатели знали это лучше всех других.

Оказалось, что установка на социальное благо не может стать основой добра. Медленно, но верно происходила деградация социального инстинкта — того самого, что так недавно поднимал сотни тысяч людей на трудовые подвиги и лишения. Союз социума и правды-справедливости становился всё более формальным. И разрыв этого формального союза был неизбежен: «Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули

единой волной на ошеломлённых людей, растерянно и обречённо ждущих своей участи», — говорит Астафьев в «Печальном детективе».

Этот квазиправдивый декорум в «Печальном детективе» представлен сытыми и гладкими провинциальными снобами Пестеревыми, ловко умеющими жить и добывать, отбирать блага у жизни милицейской четы Лободы. Именно они, «сытые хамы», быть может, более других причастны к тому нигилизму образованных и грамотных, что ничуть не менее страшен и разрушителен рядом с откровенным развратом и насилием пьющей и опустившейся тётки по кличке Урна или жалкого и злобного бывшего зэка Филина.

Мне представляется, что Астафьев в это время уловил очень существенное в человеке и социуме, что вскоре расцветёт во всей своей злобной силе, — Астафьев уловил *раскрепощение чувственности* в человеке и отразил это отчаянно смело. Эта чувственная, ничем не удерживаемая звериная сила проявляется в четырёх парнях, насилующих тётку Граню; в молодом пэтэушнике, что просто так, мимоходом, заколол трёх человек; в другом «молодце», что, обиженный, взял и убил молодую женщину, разбивая, как орех, её голову камнем; в том ошалевшем шофёре с Севера, что покатался на самосвале так, что убил молодую женщину и ребёнка. Эта жестокость, явленная писателем в почти дистиллированном виде, жестокость как сила зверя в человеке больше всего и цепляла писателя, и мучила его. Почему так незаметно примат высших ценностей (ведь этих преступников в школах-то учили лучшему) был в них так легко заменён приоритетом низшего? Отчего в городе Вейске так много парней и мужиков оказывалось в тюрьмах, а возвращались из них очень ненадолго, чтобы снова сесть, успев натворить на свободе мерзостей и преступлений? Почему социализм, улучшаясь, копал себе нравственную могилу?

Смерть социума развязывает человека. Человек утомился от собственной страшно героической истории. Он не смог стоять на том высоком гражданском пьедестале, куда ставила его руководящая сила жизни — партия. Эти разряженные холодные выси партийности, где и дышать-то не мог простой человек, должны были обеспечиваться массовым культурным рабством, где под культурой понимается привычка и обязанность размышлять, в том числе и о самом себе.

Вообще, Виктор Петрович, увидевший это безмыслие о себе, это начало раскрепощения чувственности в человеке, назвал главное, шагнул в двадцать первый век, определив, почувствовав те культурные механизмы, что вовсю пущены в ход сейчас. «Печальный детектив» в девяностые годы двадцатого века стал ещё печальнее.

Да, Астафьев зафиксировал в «Печальном детективе» картину социального декаданса, жизненного упадка. Словно из самого бытия куда-то ушли соки — и действительно ушли. Ушли в тяжкий труд родителей, которые детей своих отдавали по садам, школам и интернатам и не видели их, не воспитывали. И не шло между ними

родственных сердечных питательных токов. Что это за дети — «матерью не доношенные, жизнью, детсадом и школой недоразвитые»? Эти дети — «барачного производства малые, плохо с детства кормленные, слабые до потери сознания, психопатичные», «сексуально переразвитые», невымытые, замученные, ненужные, всем чужие. И рожали-то детей в каком-то тяжком бесстрастии, безлюбости, и получались они сызмальства хилыми и болезненными.

А женщины в астафьевском романе? Несчастливая Сыроквасова, протабаченная не хуже мужика, носительница «культурного сознания», с её хамоватой властностью «избранной», поставленной в особое положение ко всем пишущим в городе Вейске. А «пустобрешная» мать Лерки — Евстолия Чащина — ничего не умеющая, кроме как всю жизнь болтать в собраниях и заседаниях, живущая вообще-то за счёт своего рукастого и смиренного мужа, но его же и пилящая всю жизнь? Каких же детей могут вырастить и выпустить в жизнь эти — без женственно-материнского инстинкта — женщины? Конечно же, похожих на них самих. Не случайно Лерка, дочь «пустобрешной» матери, вся была ходульная, остренькая, вся изломанная. Она ведь не знала тепла, материнской ласки. В ней *не копилась любовь*, которой она, будучи замужем, смогла бы отогреть и своего мужа, и дочку Светку.

Астафьев тогда уже видел порушенными основы именно национальной, а не просто социальной жизни. Уже тогда кричал громко, что обезмужичела деревня, спилась. И это очень важно: в русской культуре никакой феминизм не может прижиться. Астафьев выстрелил в сердцевину проблемы, связав в единый узел *проблему обезмуживания в семье и обезмуживания на земле, в деревне*. Без мужского стержня и в самой жизни исчезает воля жить. Ведь не все же такие, как деревенская красавица силы немереной Паша Силакова, у которой, впрочем, есть муж и трое сыновей. Лучшие страницы романа отданы ей, такой *настоящей* для писателя.

Читая жёсткую книгу Астафьева, просто физически ощущаешь, как происходит выгорание ценностей жизни, как действует на человека расслабляющий, убивающий нигилизм. Но социальный нигилизм (так ярко и сильно воплощённый Астафьевым), конечно же, имел природу и духовную. Астафьев всё отчётливее осознаёт, что социальный бог в виде «кодекса» для коммуниста совсем не способен стать на пути атомизации жизни, её раздробленности-разложения. «Нам, — пишет Виктор Петрович, — противоречиво жившим и путано мыслящим, и вовсе не по плечу справиться со стихией цинизма, и равнодушия, и растления человеческой души. Только теперь я, например, по-настоящему понял, к чему приводит безверие и что даже насильственная вера лучше, чем вовсе ничего. Церковку-то скovyрнули рановато, без Бога ни до порога и тем более ни до коммунизма...» (1980 г.) Астафьев понял и назвал главную дилемму человека, стоявшего перед сломом всей старой жизни: Бог или физиология? Резко? Да. Но на

самом-то деле только такая крайняя постановка вопроса и имела смысл. Идейная починка человека была уже невозможна.

В «Печальном детективе» (в «Людочке», «Русском алмазе») Астафьев показал: человек теряет веру в свою ценность, если через него (человека) больше не действует бесконечно целое. Но ведь никакая социальная идея не была и не будет этим «бесконечно целым». Им может быть только Бог. Конечно, в романе и рассказах писатель не говорит об этом так прямо, но всё же в «Печальном детективе» по всему роману разлита не только «жалкость времени», времени, в котором «газета заменила ежедневные молитвы» (слова Ницше, о котором в романе вспоминает писатель), но и христианская по своему вечному происхождению человеческая честность, сострадательность, отзывчивость и тепло, производимое невидимой, но движущей жизнью бессмертной силой — душой.

Очень важно, что героем писателя стал оперуполномоченный Леонид Сошнин. И не только потому, что здесь, в этой области жизни, больше всего знают о её печальной изнанке. «Мент», милиционер, работник органов был в советское время объектом бесконечных анекдотов и насмешек. Вспомним поэта-постмодерниста Пригова, посвятившего Милиционеру в это же самое время, когда Астафьев писал свой «Печальный детектив», целый цикл стихов. Приговский *Милицанер* (так у него пишется, как слышится.— К. К.) выше поэта, он принадлежит к власти, он представляет «высшую реальность».

Милицанер же отвечал, как власть
Имущий: ты убить меня не можешь,
Плоть порaziшь, порвёшь мундир и кожу,
Но образ мой мощней, чем твоя страсть.

Астафьев видел в «милиционере», «оперативнике» не поверхностную приговскую социальную маску. Астафьевский Сошнин, стоящий *на границе жизни*, между законом и беззаконием, стоящий в том месте, где многие соблазнялись и соблазняются, остаётся тем человеком, в котором не растрчены силы жизни и силы души. Он — страж при человеческом страдании, беде, горе. Но ни свои, ни чужие страдания не убивают в нём воли. Именно он собирает в романе лучшие качества народа (и мы можем предполагать, что о них он и написал свою первую книжку), именно он помнит и заставляет видеть нас в своей тётке Лере, бабке Тутышихе, тётке Гране, Лавре-казаке, тесте Чашине те силы, которые поддерживали жизнь, не давали ей пасть, сплошь стать хламом.

Финал романа — это размышления Сошнина о «муже и жене», «мужчине и женщине». Тут не только «мысль семейная», с её спасительностью от личностного падения и оскудения, о выходе в равной степени из одиночества и социальной темницы, но и мысль библейская, вечная о крепкой опоре в соединении мужчины и женщины



в одно, в родню; о хлебе, питающем эту жизнь, о чадолюбии. Ведь сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Именно любовь противостоит нигилизму — любовь к детям, женщине, земле, отечеству. Не случайно Сошнин читает католический роман в письмах: монашка пишет в самых несовременных, самых возвышенно-страдательных выражениях о своей любви к ветреному французику. Он читал и перечитывал эту книгу, «как Библию», обнаруживая способность к бесконечному сопереживанию любви неведомой, запертой в тихую келью монашки: ведь «по сравнению» с любовью «всё остальное в мире — пыль, хлам, дешёвка».

Нигилизм, то есть отрицание, появляется не вдруг, но, как всякая болезнь, имеет свои этапы. Нигилизм и начинается с неправильного представления о достоинстве человека, и заканчивается тем, что пищей души становится зло. Астафьев показал результат — страшную суть нигилизма. Но он же, выводя своего героя в мир писательский, в радость творчества, свободного мышления, чётко сказал и о другом: *пришла пора понять Россию*. Не в её сиюминутности, не в её грехах, но и в тех остатках любви, что, несмотря ни на что, сохранялись в жизни.

P. S. Мы помним, как критики возмущались резкой речью Астафьева, его «чернухой». А теперь? Отвязный инстинкт человека рыночной эпохи построил целую индустрию чувственности — бессовестную этику и некультурную эстетику.

Михаил Тарковский Речной писатель

Так случилось, что в двадцатом веке именно исконные, почвенные писатели взяли на себя ношу великой русской литературы и, поразив своими книгами самых щепетильных читателей, стали настоящими классиками. Литература наша, всегда жившая живым, настоящим, корневым, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь — край, где русское ещё сохранилось нетронутыми очагами, как клочками местами оставался соболь после убийственного перепромысла в начале двадцатого века.

Сто раз говорено, что город, пусть самый красивый и значимый, — человеچه детище и наследует все человечьи грехи. В отличие от него природа — творение Божие, именно поэтому такая мощь и исходит от неё, и, питая художника, она заставляет соответствовать, равняться, а иногда и выстраивать себя заново. Эта нечеловечья мощь ярче всего проявляется в сибирских реках, не только могучих на вид, но и важнейших по сути, поскольку от них напрямую зависит жизнь в этих суровых краях: это реки-дороги, реки-кормилицы, реки-учителя...

Нежная и разнообразная разливи́стая Ангара с протоками и островами и Енисей — норовистый мужик с прямым и крепким характером. Но везде река — как мера, как основа, а природа — как учитель, как стержень, ведь именно её годовой круговорот и руководит человеком, требуя лишь одного — быть её достойным. Это касается любого дела — и рыбацкого, и охотничьего, и плотничьего. И писательского тоже! И как прекрасно выравнивается жизнь каждого человека Енисеем или Ангарой! Как почётно и писателю быть таким же учеником, как простой ангарец или сельдюк, как герой «Царь-рыбы» Акимка, для которого главный сюжет его жизни — Енисей.

Поперечник России в районе Красноярья, то есть расстояние от юга Тувы до Диксона на Таймыре, — примерно четыре тысячи километров. Да разве кому-нибудь на западе придёт в голову, что Смоленск и Мурманск, стоящие на одной долготе, — части единого и строгого целого? А на родине Астафьева так оно и есть: Енисей — это один мир, одна территория, объединённая одной рекой-дорогой, огромной, крепкой, мужественной.

И писатель — под стать Енисею: такой же кряжистый, крепкий, мужицкий и в своих книгах насквозь речной — пароходский, лодочный,

рыбный. Описанию различных рыб и рыбалок посвящены многие строки его произведений. Сами названия за себя говорят: «Карасиная погибель», «Уха на Боганиде», да и «Царь-рыба». Детство писателя прошло на берегах Енисея — от Овсянки на юге до приполярной Игарки: неплохим плечом длиной в тысячу семьсот вёрст пролегла человеческая судьба! Крепко, пуповинно перевязана она с великой рекой. Так крепко, что крепче не бывает: матушку писателя навечно забрали суровые воды.

Пересказывать писателя бесполезно, хочется дать главную ноту, отзвук, с каким прозвучал Виктор Петрович в лучших своих книгах: «Последний поклон» и «Царь-рыба». Нота эта так же разнообразна, как батюшка сам Енисей в разные времена года, в разную погоду. Но она всегда исповедальна, летописна, житийна. Она жива по законам лирики, и всё происходящее сугубо субъективно и пропущено через «я» автора. Она пронзительно поэтична и стихийна — а ведь было у кого учиться этой стихийной мощи, когда «батюшка-Анисей» под боком!

Виктор Петрович не делил литературу на жанры и всегда в едином напряжении силы и честности писал о своём главном и в повестях, и в «Затесях», и в предисловиях. И так же звучал его голос в выступлениях. И как чередуется на Енисее сизый штормовой вал с зеркальной безмятежной гладью, так мешается в его произведениях то погибельная интонация довоенных рыбалок, то звонкая, как росистое таёжное утро, симфония жизни, то тихое, как белая ночь, откровение. И всегда его голос остаётся пронзительным, как возвращение молодого Витьки с войны к стремительно постаревшей бабушке.

До чего сибирские реки огромны и, что ли, линейны! С парохода и особенно с вертолётки планетарно бескрайними выглядят плёсы, береговые линии, как по линейке выровненные непомерной работой воды и льдов. С галечниками, поймами, островами... Кажется, огромные ножи лежат, металлически поблёскивают на солнце, наждачно синеют. Как побороть пером это величие, как подобраться к гладкой алюминиевой шкуре, не соскользнуть с алмазного лезвия плёса, как всверлиться, прокопаться, каким надфильком? Каким буром забуриться в двухметровый лёд, чтоб заговорила речная громада, живым бугром пробилось слово, заходило по кругу, забирая душу? Никто особо и не пробовал — и вот Виктор Петрович впервые в истории взялся за батюшку-Енисея. Только догадываться можно, как трудно ему было первому... И вот сделал он шаг, ступил из стальной параллельности в этот бурелом, чапыжник, «шарагу, вертепник или попросту дурнину».

С какой любовью Виктор Петрович разгребает эти приречные завалы, роется в тальниках, черёмушниках, копается в самой мелочёвке, пытается разговорить «батюшку-Анисея» через какого-нибудь ручейничка или другого бикарасика. А дальше пошло-потянулось, и раскручивается, как верёвочка, великая круговая порука всего живого,

великий Божий круговорот: харюз съел ручейничка, харюзка — таймешек, таймешка человек поймал — голодных ребятишек накормил... А глаза поднимешь — над всеми ними стоит приполярное небо вечной тишиной и учит художника вечной тишине и высоте, любви и смирению, умению каждой красочке-веточке дать место.

Всё-то у него сильное, говорящее: если речка — то угорело петляющая, если пелядка (рыба такая сиговая) — то аж вся жиром истекает... Всё делается с порывом, с размахом, повально: если уж рыба, то валит валом, если жрёт, то жрёт, комар если задавной, то задавной,— и в этой одушевлённости природных сил небывалым образом енисейская душа и выражается. Есть целые породы здешних мужиков, которые именно так и говорят, и чувствуют, одушевляя всё вокруг, и в первую очередь батюшку-Енисея. «Анисей воду взвёл», «теперь обират с берегов...» — то есть обирает с берегов лёд. Обязательно надо наделить природу волей, представить как некое огромное существо с огромными своими желаниями, хозяйственными заботами, по сравнению с которым человек мелочь, вроде ручейника.

Любимые герои Астафьева — дети батюшки-Енисея, принявшие его правила, живущие по его законам. Такое верное и святое дитя — Акимка, весь искорёженный жизнью, с брюхом, присохшим к хребту ещё с голодного тундряного детства, весь побитый морозами, кручёный, как полярная листовка из юности Виктора Петровича, и такой же негнижимый, неказистый, тщедушный, но с огромной душой нарастопашку.

С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким Божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями. И не терпит обуянных гордыней, возомнивших себя сильней и независимей Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тёртый и совсем не горожанин-белоручка. Он и с «тозовки» лупит отлично, и топорище у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича, поэтому и наказывает Гогу, этого персонажа-идею, даже не автор, а батюшка-Енисей через одну из своих подопечниц-речек.

К слову: удивительно слабым и бесцветным выглядел фильм по одной из глав «Царь-рыбы» по имени «Сон о белых горах». Эта несколько приключенческая история, в которой многие не желали узнавать Виктора Петровича, на самом деле тоже вполне его. Енисейские охотники были особенно тронуты и взбудоражены ею. Помнится, ещё во времена, когда население по-настоящему жило книгами, один из них с жаром говорил: «Не, ну ты представляешь, приходит мужик в зимовьё, а там баба!» Этот момент, жизненный и острый, уловил своим чутьём Виктор Петрович: каждый охотник мечтал о таком приключении. А фильм получился и вправду слабый: больше всего убило, что съёмщики даже поленились на Енисей слетать. Только в титрах идут осенние виды тайги, снятые с вертолёта, похоже, где-то под Красноярском, может быть, на любимой киношниками Мане.

Остальное снято, скорее всего, в Карелии: европейская природа и совсем не похожий на тайгу елово-сосновый лесок и бараньи лбы. Да и малоубедителен главный герой, крепыш Кононов, если я, конечно, не путаю. Никак он не вяжется с тщедушным Акимкой. Не спасает даже суконная куртка-азям, к которой зачем-то пришли какие-то прямо газыри для патронов — никто в жизни на Енисее таких газырьков не видывал. Ладно...

Не принявшие правила справедливости и добра — не обязательно пришлые на Енисее. Почти так же жестоко наказан ещё один герой «Царь-рыбы», вроде бы уважаемый енисейский мужик Игнатъич, который оказался вовсе и не таким образцовым, как думалось, а при ближайшем рассмотрении и вовсе гнилым. Это рассказ о грехе и возмездии. И человек здесь не победитель, как в «Старике и море», — а побеждённый, посягнувший на неподвластное, наказанный за эгоизм и жадность...

А для тех, кто не знает, — крючки самоловные штука действительно опасная, потому без ножа никто и не ездит на рыбалку: если вдруг подцепился в горячке — отмахнул коленце, и спасён. Тема эта старинная промысловая, да и, если смотреть шире, жизненная: поставил ловушки — гляди сам не влети.

Самолов ставит на течении, крючки привязаны капроновыми поводками к хребтине — верёвке с грузами, лежащей на дне. К крючку на симочке крепится пробочка, заставляющая крючок стоять, вибрируя на течении. На него и набрасывает струёй стерлядку или осетра. Всё дело в движущейся, скользкой водной стихии: чтобы понять работу самолова, надо представить, будто не вода со стерлядками несётся сквозь ловушку, а наоборот — неподвижную воду, полную рыбин, тралят крючки. Никакая стерлядка, конечно, не «играется» с крючками — это для красного словца говорилось стариками, хотя в старину даже красные тряпочки привязывали к крючкам — чтоб интересней было рыбе «играться».

Рыба протыкается крючком за тело и болтается на течении, рвя шкуру, пока её не снимет рыбак. На самолов в основном ловятся рыбы бесчешуйные — шкура легче протыкается крючком.

Памятник Царь-рыбе по дороге в Дивногорск изображает осетра и раскрытую гранитную книгу Виктора Петровича. Только осётр почему-то попал *в сеть*, а не в самолов. Вряд ли скульптор не знал тонкости... А может, кто-то остерёг от изображения самолова: дескать, запрещённая снасть, лучше не лезть в эту болевую тему. Вдруг инспекция недовольна будет? А может, всё проще? И чисто художественно, архитектурно сеть для скульптора оказалась живописней, традиционней, фактурней.

В прежние времена верёвка была не капрон, а обычная, гниющая, крючки — ржавейка, и пробочки из бересты, самокрученные, а главное — ставили и смотрели ловушку на гребях, а не на моторе.

Всё это было нелегко и требовало большого труда. Да и аппетиты другие были: рыбой никто не торговал, как сейчас, а добывали «по-ись». Нынче борьба совсем уж неравная — о неравенстве её и писал Виктор Петрович.

Снулых (то есть неживых, погибших) рыб выкидывают — ими можно отравиться; был случай, когда один командир «Ми-восьмого», поев в гостях такой осетрины, начал слепнуть в полёте и еле посадил машину. Ему повезло — зрение вернулось: отравление оказалось не сильным. Обычно рыба на самолёте гибнет оттого, что ловушку редко проверяют, — если вовремя смотреть, ничего подобного не будет. Висмотру самолёта могут мешать две вещи: сильный вал на Енисее или подошедшая рыбинспекция. Тогда рыба и пропадает. Мужики бухтели на Виктора Петровича, что сгустил краски, описывая самолётовщиков. Долго обсуждалось, как «прописал неправильно», «во скоко выкинул снулой стерлядки», «так не бывает», «да и вообще нас, браконьеров, не понял» и так далее. Рыбаки-охотники любят, когда их жизнь описывают с дотошностью пособия по промыслу, да ещё и с одобрением и восхищением их трудом и образом жизни. Не на того напорились. Астафьева с его обнажённой, всеотзывчивой душой по сердцу резала жестокость этой ловушки, то, что рыба мучается часами, рвя шкуру, срывается, калечится. И писателем руководила не жажда создать фотографической точности документ, а боль за Божью тварь и ненависть к хапужничеству.

Но ещё сильнее болел он, задавая главный вопрос: да почему на такой богатой земле так нескладно всё выходит, как в этой Шуши, где всего несколько машин, которые дают народ, и почему в посёлке Бор, который стоит в таком прекрасном месте (это уже из «Затесей»), такая осталась помойка от экспедиций? Восхищение Божьим миром и горечь за нерадивость людскую — вот главные ноты его творчества.

У Астафьева — обострённо-кровное чувство «нашего»: по-другому и быть не может, если чувствуешь свою землю так, что сколько книг ни пиши, а всё равно будто и не сказал ничего... Всё в начале пути — оттого-то и написано так много.

Мой любимый рассказ Астафьева — «Капля». Прочитайте его отдельно. День на него выделите. Отрешитесь от всего. Вот сейчас только перечитал в который раз — и снова накатило, когда подобрался к этой великой таёжной ночи на речке Опарихе; несколько раз останавливался, откладывал книгу... Когда читаешь подобное про Сибирь, душа такого трепета достигает, что кажется: нет уже авторства у этих слов — а есть нечто необъятное, наше общее с писателем, и что испоконно эти огромные слова существовали... И в который раз ты вместе с Астафьевым встречал это пронзительное утро, подкравшееся так незаметно за размышлениями о главном.

Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причём обязательно как единого целого, как круговорот взаимоотношений.

За версту слышно неловко севшую в дерево капалуху (глухарину мамку). Крохали, сплавляющиеся по речке, озадачены костром и настроенно перекликаются. В тайге бывает издали слышно, как капалуха или глухарь садится в дерево,— этот звук жизненно значим для охотника: когда собака осенью на охоте поднимает глухаря, необыкновенно важно, улетел он или всё-таки сел.

Крохали — есть на таёжных речках такие рыбацкие утки с клювом как пилка, только мягоньким, — почуяв-увидев костёр, будто их скравший, начинают беспокоиться, переговариваться: подмечено это необыкновенно тонко. А сова! Которая уменьшилась, оплыла, прижав перо к телу! В каждой такой строчке — целый огромный мир, целая картинка, и одна жалость: что полностью дооценить может лишь тот, кто всё это сам пережил. Жаль этих людей, тех, кому не повезло, но зато у них есть возможность с чистого листа представить себе картину так, как подскажет им воображение.

И снова читаешь, со светлой завистью отмечая слово «сеево»:

«Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за остриё высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звёзд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли».

И дальше: «Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжёлую воду, батюшка Енисей принимал в себя ещё одну речушку, сплетал её в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи вёрст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтоб капля по капле наполнять силой вечное движение».

Длилась, нарастала эта светлая таёжная ночь, и всё шли на подъём переживания души, и так работало сердце, что, наконец, почувствовал человек «вершину тишины!» Как сказано и как описано это чувство — чувство вершины, чувство перелома, когда и сам человек не в силах долго оставаться на острие переживания и должен знать меру, посильность и цену великого!

И вот огромное с маленьким смыкается и достигает предела, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить... Потому что она, как символ великой Божьей гармонии и красоты, сияет и держит этот мир в сохранности. Хрупкая, как добро. Но как сказал замечательный батюшка из Новосибирска отец Феодосий: «Если бы не было добра и Бога, зло давно бы победило». Не случайно разговор с каплей происходит, когда спят ребята, за которых Виктор Петрович в ответе, спит Земля, и Виктор Петрович будто бдит этой белой таёжной ночью, охраняет сон планеты, всех её ребят, глухарят, харюзят...

И дальше он говорит о том, что человек нарушил гармонию — это «моя душа» посеяла тревогу, а в природе всё покойно и мудро...

И дальше следует потрясающее описание капалухи — это именно она тогда шумно садилась в кедрину. Она не просто полетела, а размять крылья, ведь она на гнезде сидела. И тут целая симфония круговой поруки начинается — и про птенцов, и про то, как трогательно присела птица на пол поклевать прошлогоднюю кислую помятую брусничку. И сразу кажется, будто сам маленький голодный Витька предвоенной весной эту брусничку в игарской лесотундре клевал, как та капалушка. И вот она снова на яйцах: «Горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза её истомно смежились — птица выпаривала цыпущек — глухарят».

И незаметно за душевной работой подошло утро — и засветились тысячи капель торжествующим сиянием жизни, и спустя четверть века поражённый этим сиянием автор благодарит Бога, что его не убили на войне, что дожил до этого утра.

Тем тайга и сильна, что именно здесь и происходят такие открытия. И везде исполняется великим круговоротом Божий замысел, везде извечные тайны: забота взрослых о маленьких, кормёжка, тепло. И незримо присутствует бабушка писателя — кажется, и с загробной её заботой о маленьких Витьках, Ваньках, Петьках, не по по-детски угруженных жизнью, брошенностью, голодом, ревматизмом... Это книга «Последний поклон». Её тема — великая круговая порука всего сущего, справедливость и благодарность. А гениальный рассказ «Конь с розовой гривой» является потрясающим образцом православного повествования. О том, как добром зло побеждают. Специально не буду пересказывать этот рассказ о прощении и покаянии. Его читать надо.

Чувство земли родной — это единственное, что может двигать настоящим русским писателем. Через окружающий Божий мир познаётся эта земля, через природу и почему-то обязательно через мир растений — по-моему, никто с большей любовью и вниманием не писал о них, чем Виктор Петрович. А его чувство осеннего огорода, кровное и глубинно крестьянское, земляное и предковое... Оно у него врождённое. И доведены до священнодействия осенние приготовления к зиме: подчищение жизни, приборка и заготовка. Здесь и подведение итогов, и успокоение, и волнение от надвигающейся долгой зимы, которую ещё и пережить надо. «Долгая и стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь», — какой ритм потрясающий — и по звуку, и по смыслу. А года голодные были — капуста за лакомство токо уходила. Мелочи часто говорят больше, чем лобовые слова, — именно в способности писателя подмечать подробности любимого мира и является нам его щедрость, его способность дать место любой травинке. И вот корова в огороде осеннем стоит и недоумевает, что же произошло: ещё вчера её в три шеи гнали отсюда, орали, хозяйка носилась с прутом. А сейчас успокоились... Действительно, вот и осень. И бык на Енисее запенился белым подбоем, и гуси пролетели мимо, потому

что негде им присесть в скалистых местах астафьевской родины. С ноткой извинения сказал-позаботился писатель об усталых гусях, что из таймырской тундры летят за тысячи вёрст на зимовку, чтобы весной снова вернуться.

И в рассказе «Пир после победы» навсегда остался Астафьев мальчишкой, очарованным мирозданием. Как, пронзённый войной, вернулся домой и идёт по левому берегу Енисея, чтоб потом переправиться в Овсянку... И у речки Караулки забредает в бакенскую избушку к двоюродному своему братишке Мише. Радость, встреча, разговоры, а потом они ловят в сеть тайменя.

Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы. Открывает, как дитя, поражённый его мощью, красотой, и его смертью, и его угасанием. Увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей...

Смерть рыбыны он, сам насмотревшийся смерти на войне, уже видит по-другому — не как убийство, а как добычу. И в том находит великое облегчение.

А дальше следует «Последний поклон» — завершающий рассказ, который так и стоит в конце книги эталоном прекрасного, нравственного, непреходящего. И когда добираться до его встречи-прощания с бабушкой, дождавшейся внука с войны, это читать почти невозможно — настолько сердце разрывается от простых этих слов. Вот какой строгости и силы набрал Виктор Петрович в лучшей своей книге!

Своей главной ноте Астафьев верен во всех произведениях и в потрясающем завещании-обращении к молодёжи: «Верю и надеюсь, что вы будете достойны и нашей памяти, и той прекрасной планеты, на которой выпало нам жить, а вам продолжать эту жизнь».

Астафьев — писатель-поэт, писатель-летописец. И тема летописи — постоянная боль о жизненных изменениях, потому что как даден ребёнку изначальный мир детства, так и кажется, что должен он быть незыблемым. Этой очарованностью детством и болью за рушащуюся жизнь пронизаны все книги Астафьева. Они и нас, читателей, наполняют извечным светом — и через бабушку, и через маленького Витьку, который красоту и горечь жизни так трудно и самоотверженно пронёс через свою долгую судьбу. И не зря бабушка читает молитву Оптинских старцев — в конце рассказа «Пеструха», посвящённого Валентину Распутину.

Трагедия попрания векового уклада, неспособность руководства видеть главное и полное небрежение к судьбам своих трудовых граждан — это одна из непреходящих тем нашей последней литературы. Когда вышла книга В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой», когда вся страна смотрела фильм с тем же названием — было ощущение великой силы искусства, силы писателя, способного прокричать об ужасающей несправедливости, о преступлении против Отечества.

О том, когда ради чего-то сиюминутного и имеющего весьма условную выгоду ломается самое главное для любого народа — традиция. (А возможный ущерб от ГЭС и ту опасность, которую они представляют в случае чрезвычайной ситуации, вряд ли кто-то из их сторонников просчитывал.) И в те далёкие годы, когда страна внимала этому крику писателя о беде, всем казалось, что в этом и есть задача искусства — повлиять на существующую действительность и если не остановить происходящее, то хотя бы предупредить, предостеречь людей от грядущих ошибок.

Это оказалось величайшим заблуждением. То, что сейчас произошло с Ангарой, — возобновление строительства Богучанской ГЭС — тому свидетельство. То, о чём прокричал Распутин, происходит годы спустя с фатальной настойчивостью. Так же людей готовят к переселению, так же сжигаются деревни, так же плачут жители Кежмы и многочисленных посёлков и деревень Ангары.

С горечью хочется подвести черту и сказать: ничему не учится человек, никакая самая гениальная литература не может остановить разрушительную энергию человека, и это ставит перед каждым русским писателем вопрос: а зачем тогда нужна литература, если она ничего не в силах изменить?

И одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смирение перед своей долей — задачей русского художника, который во все лихолетья чувствовал ответственность и обязанность быть летописцем, плакальщиком и защитником родной земли и всегда учился силе у простых русских людей. И у своих героев, таких, как распутинские старухи Анна и Дарья, таких, как Витькина бабушка из «Последнего поклона» Катерина Петровна.

Юрий Беликов

Дуэль длиною в жизнь

...Это один из самых неприметных домов на улочках окраинного Чусового. Если бы не витиеватая, установленная уже в новейшие дни металлическая оградка, немножко нелепая, как гасгук-бабочка на подвыпившем сталеваре, никто бы и внимания не обратил: дом, каких на Партизанской и прилегающей к ней Нагорной — каждый второй. Здесь и по нынешним «фасадным» временам особых изменений не углядишь — всё как полвека назад, когда этот домик построил собственными руками никому тогда не ведомый, а ныне всемирно известный писатель Виктор Петрович Астафьев.

Так получилось, что ваш покорный слуга стал первым посетителем этого дома с той поры, как он обрёл имя государственного литературного музея. Меня встречал его директор Владимир Маслянка, «странно» совмещающий в себе ремесло главного врача Чусовского железнодорожного госэпиднадзора, страсть фотохудожника и скрупулёзность исследователя творческого пути автора «Царь-рыбы», «Пастуха и пастушки», «Последнего поклона», «Весёлого солдата», да и многих других памятных книг. Вторым был Галимулла Харифулин, сторож и дворник музея. Он известен не только тем, что хаживал на рыбалку с Виктором Петровичем, но и как человек, каждое утро и вечер исправно выносивший на своей тощей спине подальше от тутошних варнаков репродукцию портрета писателя кисти Евгения Широкова: утром — через дорогу к воротам музея, вечером — снова через дорогу к себе домой. Если учесть, что подлинник этого холста (Астафьев — в грубой вязки свитере, и вьётся вверх струйка дыма от папиросы, зажатой меж пальцев) — в Третьяковской галерее, то и дом Галимуллы — своего рода галерея одного портрета, а он — её хранитель).

Чусовляне — народец ушлый, могут и в глаз из рогатки портрету стрелнуть, а то и пырнуть в холст ножичком, как пырнули здесь в пятидесятых годах прошлого века самого Астафьева, когда он, подавшись в «литрабы» газеты «Чусовской рабочий», напечатал в ней фельетон. Но одновременно неистребим в чусовлянах и художнический дар: на дверях мемориального домика кто-то написал-нарисовал: «Письмо к Татьяне. Пишу тебе с душою и разбитым сердцем. *Витя*». Домик от этой произвольной надписи словно оживает. — Астафьев постарался? — прищурившись, полюбопытничал я у почтенного Галимуллы.

— Да где?! Углы... — не включился в мою игру он.

Низкий потолок, заставляющий высокого директора чуть ли не пригнуться, русская печь, как в стихотворении Ксении Некрасовой, медведем заполонившая пол-избы, за печкой — узенькая (разве что спать на боку) лежанка няни, с другой стороны печи — кровать для детей, тут же — на расстоянии протянутой руки — металлическая с панцирной сеткой койка, на которой умещались родители — Виктор Петрович и Мария Семёновна.

Печь делила шестнадцать квадратов астафьевского домика на кухню, спальню и гостиную, хотя слово «гостиная» приклеивается тут как косметические блёстки к чугунку.

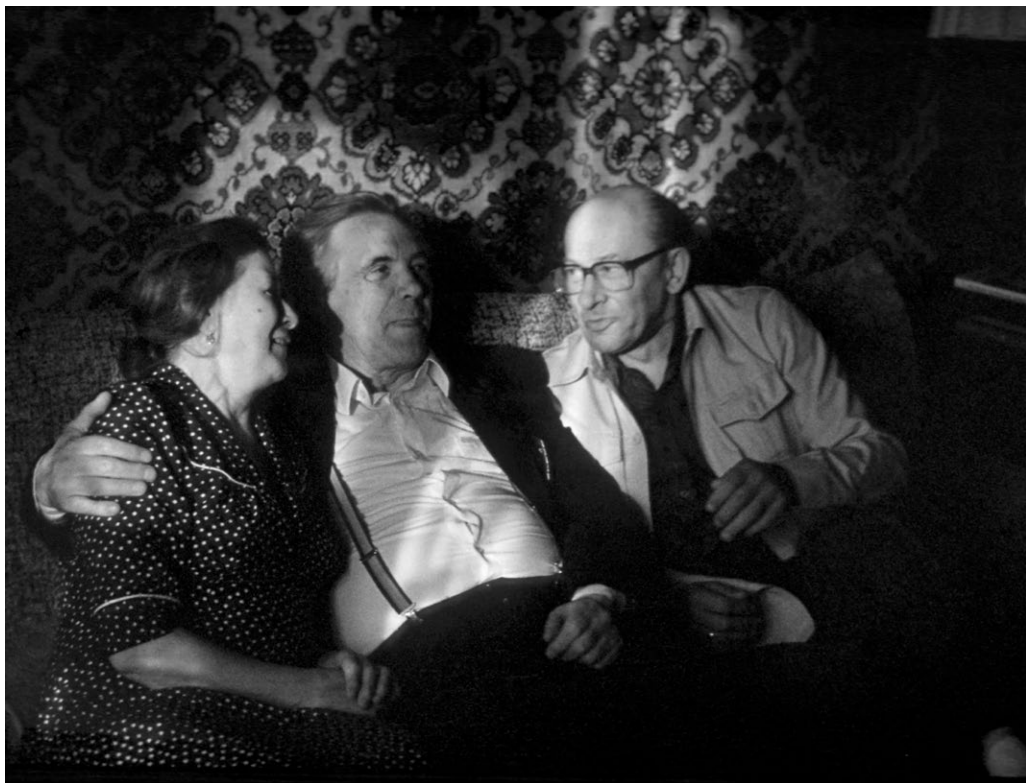
Но именно здесь, где, кажется, и не приткнёшься в самозабвении с тетрадкой, были написаны Виктором Петровичем первые произведения. Это при том, что дорога, съезжающая с крутой горы вместе с самосвалами, едва ли не врезалась в рёбра домика, а по весне-осени в ограду текла жижа распутицы. Мимо окошек же, поелику и по сей день это единственный путь на кладбище, или, как говорят чувовляне, на Красный посёлок, регулярно тянулись похоронные процессии с духовым оркестром металлургов, исполняющим марш Шопена. Когда сегодня в этот домик попадают залётные посетители, в особенности пишущие москвичи-великомученики, они просто-напросто теряют дар речи, а иным дамочкам становится плохо, потому что экскурсанты не могут себе представить, как в подобных условиях можно было что-то сотворить...

— Да здесь и нынче люди так живут, — пожимаю плечами я.

Астафьевская затесь «Самые тяжкие минуты жизни» наглядно повествует о том, как жила в Чусовом их молодая семья: «Овраг мы засыпали до половины мусором, собранным с нашего участка, который отвели нам на свалке «по благу» за то, что мы поставили на последние деньги лагуху браги и выпоили её каким-то горисполкомовским ярыжкам. Я их не помню, да и не надо их помнить, тошнее на сердце станет, а там и без того...» Лук-батун, первым «просекающий из земли» весной — вот что вспоминает из тех лет писатель. И замечает: «Какая это была радость!»

С тех времён семья Астафьевых переменяла немало жилья, в том числе и весьма приличного, совершила не один, не два переезда через всю Россию — от Вологды до Красноярска, «а вот дом, который Виктор Петрович самолично строил, — признаётся в своей искромётной книге «Знаки жизни» Мария Семёновна, — вспоминают, любят, жалеют». Мало того: если взять «Крест бесконечный» — том переписки Виктора Астафьева и критика Валентина Курбатова, то там, с самых первых посланий вплоть до последних, постоянно, как точки-тире в эфире, звучат кодовые слова «Чусовой» и «Урал». Отчего?

Оттого, что именно здесь, в Чусовом, куда после Великой Отечественной привезла контуженого солдатика его боевая спутница и жена



Мария Корякина, был разбужен его писательский дар. Подчёркиваю, разбужен, потому что он мог пребывать в вулканической спячке и дальше. Что же произошло?

Городок этот и сейчас поражает воображение вновь прибывших «лисьим хвостом» густых выхлопов над трубами металлургического завода, постепенно оседающих в ямине Старого города. А ежели погрузиться в атмосферу послевоенных лет, прибавьте к этим «хвостам» голод и... далеко не триумфальную встречу фронтовиков. «Это лишь кажется, что нас ожидали распростёртые объятия, — скажет мне офицер и поэт той войны, бравший Берлин, Василий Субботин. — На самом деле мы столкнулись с сопротивлением чиновников, и нам приходилось буквально ухватываться за мирную жизнь, как хватались за лодки и плоты форсировавшие Днепр...»

Кем только не приходилось в тот чудовской период работать Астафьеву: грузил, сторожил-вахтёрил, мыл туши на колбасном заводе, был дежурным по станции. И всё-таки послевоенный голод не позволил им с женой уберечь первенца — дочь Лидочку. Вот и судите насчёт привилегий у бывших фронтовиков!..

Однажды искавшая выхода вскипающая душа привела его на первое заседание литературного кружка при газете «Чусовской рабочий». И вот тут-то случилось то, что и послужило толчком к рождению

рассказа «Гражданский человек». Астафьев услышал читаемый автором-политотдельцем Иваном Реутовым другой рассказ — «Встреча» (вот она, встреча, искрой высекая писательский дар!..). Как позднее вспоминал Виктор Петрович, герой рассказа, вороном летавший в небесах Отчизны, сбивал самолёты фрицев направо и налево, за что получил орден, вернулся к невесте, и его встречала вся деревня. У Астафьева же всё было по-другому: «А мы вон, два орла-молодожёна, спорхнули в жизнь с продовольственными талончиками на полмесяца. Я вдобавок ко всему в летнем обмундировании, в сапогах и пилотке, на дворе — ноябрь...» Забегая вперёд, заметим, что это уже было артподготовкой к будущей романной панораме «Прокляты и убиты».

Словом, такой войны Астафьев не знал, и душа его вскипела в очередной раз.

«Вот и напиши, ежели ты такой умный, как должно быть!» — молвил ему ответсек редакции Александр Толстиков, сам начинающий писатель. «И напишу!» — заупрямился Астафьев.

Он пришёл в подсобку колбасного завода и, что называется, в один присест, прямо в вахтенном журнале, накатал своего «Гражданского человека». В отличие от сочинения Реутова, там всё было подлинным — вплоть до имени-фамилии персонажа Моти Савинцева, количества его детей и названий фронтовых-тыловых деревень. И — выведенные на холст повествования первые убедительные краски: «И вдруг его, как пилой, резануло по животу. Он, громко охнув, упал. Яркие круги мелькнули в глазах, зазвенело в голове множеством тонких колокольчиков...»

Таким образом, Реутов разбудил Астафьева, а Виктор Петрович развернул... ну, сами знаете что. Не услышь он этого глянцево-пафосного сочинения — кто ведаёт, когда и при каких обстоятельствах аукнулся бы в нём код «Гражданского человека», и аукнулся бы с такой счастливой силой?..

Уже через две недели, вырвав листы из вахтенного журнала, исписанные размашистым почерком, контуженный человеческой неправдой и Божьим промыслом солдатик читал их на том же литкружке. Бабы заохали-заохали, редактор Григорий Пепеляев принял решение публиковать рассказ в «Чусовском рабочем», а Толстиков (и здесь велика его та самая историческая подначка!) отдал рассказ машинистке, попросив расставить знаки препинания. Тут — всё истина, даже со знаками.

В этом смысле почти гомерически звучит воспоминание преподававшей Астафьеву в 1951–52 годах в ШРМ — школе рабочей молодёжи — русский язык и литературу Людмилы Афонинной: «И пусть по русскому языку у него была твёрдая единица, тем не менее, я рада, что среди моих учеников была такая яркая личность по литературе, как Астафьев. А сама работа была красная из-за исправленных ошибок.

Когда Астафьев брал после проверки своё сочинение, то всегда с какой-то злобой, недовольством восклицал: «Так я и знал», — и устремлял на меня непроницаемый, даже угрожающий взгляд своих цвета стали глаз. Угрожающую силу этому взгляду придавал солидный шрам на лице».

«Гражданского человека» печатали в «Чусовском рабочем» с продолжением. И вдруг прекратили где-то на середине. Крамола! Горкомовским функционерам не понравилось, что молодой автор посмел «наших советских женщин назвать бабами. Делаются к тому же грязные намёки на их неразборчивую похотливость». Но на дворе ещё стояли времена, когда писательское слово работало. Посыпались письма встревоженных читателей, требующих продолжения рассказа. Ну-ка, прикиньте: возможно ли такое сегодня — на тусклой рыночной заре нового тысячелетия?

— Таким образом, — как бы подытоживает директор дома-музея Владимир Маслянка, — свершилось событие не только в судьбе Виктора Петровича и Чусового, но и в судьбе русской литературы двадцатого века: астафьевский «Гражданский человек» увидел свет в полном своём масштабе!

Название — как семафор для вчерашнего железнодорожника. В нём — будущая поступь и азарт: гражданственность, не в дурном, а в высоком понимании этого слова, — вот что стало стержневым для писателя Астафьева. А он и создавал произведения-поступки: светлую ли «Царь-рыбу», где воспевал и отстаивал богоданность природы, «тёмную» ли «Людочку», героиня которой заканчивает жизнь в петле, «Ловлю пескарей в Грузии», кажется, опустошившую в автора газыри всего кавказского хребта, рисковую ли переписку с Натаном Эйдельманом, на фоне которой все «подмётные письма» нынешних Захаров Прилепиных выглядят камуфляжем, и, наконец, «Прокляты и убиты» — роман, ставший своего рода операцией по пересадке хрусталика у замыленно-патетических взглядов на Великую Отечественную войну. Думаю, что кипящий астафьевский разум был одновременно и возмущённым, и восхищённым. С одной стороны, аввакумство, проповедь, а с другой — щемяще-нежнейшая, трогательная исповедь.

Помню, как в 1991-м, когда я гостил в Овсянке, и мы сидели-беседовали с Виктором Петровичем на кухне, и речь зашла о Ельцине, мой диктофон сохранил слиток звуков, посрамляющий возможные характеристики сего персонажа. «Да и этот!..» — вдруг воскликнул Астафьев. Далее следовал тяжёлый шлепок звонкого плевка в раковину металлического раковины. После чего писатель отправился на огород и долго поливал из лейки цветы, которые словно перебежали из его ранней материковой прозы. Вот она, «ода русскому огороду»! Или, как сказано в его давней повести «Стародуб», единственном творении, которое, по признанию Виктора Петровича, он целиком

придумал: «Приходи, добрый человек, занимай всегда открытую охотничью избушку. И уловишь ты неслыханный запах цветов...»

Мне повезло. Не только потому, что я знал Астафьева лично, записал несколько аудиокассет его бирюзовой речи, но и общался с теми стариками, кто именовал писателя с мировым именем даже не Петровичем, как череда красноярских подпетровичей, а не иначе как Витькой.

«Витька-то — жопой берёт!» — делился со мной распивавшим его секретом Александр Максимович Толстиков, эрудит и по прошлым, и по теперешним меркам, только что рассказывавший мне прямо на улице о роли Натальи Николаевны в жизни Пушкина. Толстиков исправно подтрунивал то над «авангардным» отсутствием в «астафьевской писанине» пунктуации, то над чрезмерным его усердием, когда за письменным столом человек может сидеть сутками. Вспоминается почти анекдотический случай: приехавшие в тот самый домик на Партизанской пермские писатели ждали-переминались (поскольку на пороге надёжным часовым стояла верная Марья), пока будущий классик не закончит корпеть над рассказом. И только когда он поставил точку, были допущены в дом.

«Городом непризнанных гениев» нарёк Виктор Петрович в одной из своих затесей Чусовой. Это здесь он услышал из уст всё того же Толстикова, получившего кличку Злопыхатель, только подхлестнувшие его, Астафьева, слова: «Виктор, писателя из тебя не выйдет, хоть тебе и помогает Марья!»

Не ловили себя на мысли, почему на Руси некоторых художников слова кличут по имени-отчеству? Вроде бы люди-то молодые, но — Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич. А там уж — Фёдор Михайлович и Лев Николаевич. Не величают же, к примеру, Венедикта Ерофеева и Эдуарда Лимонова соответственно Венедиктом Васильевичем и Эдуардом Вениаминовичем. Нет — Веничка и Эдичка, или, в лучшем случае, Эдик, ну пусть Эдуард. Это тоже определённая форма народной любви, но чувствуете разницу? Так и с Астафьевым. Не Витька, не Виктор, а Виктор Петрович.

Но, уже живя в Красноярске, он будет не единожды приезжать в город своей литературной юности. Чусовой сидел в нём и ныл удалённой занозой. Это действительно был город, где писательством баловались не только Реутов и Толстиков, а и весь «Чусовской рабочий», вся рыбацко-охотничья среда, включая верхушку станции юных техников, не считавшая Астафьева первым. Пожалуй, тогда, в начале пятидесятых, он первым-то и не был. И это доказывают сохранившиеся тексты того же Злопыхателя-Толстикова (не хуже, чем у Аркадия Гайдара!) или другого астафьевского знакомого-друга — Виктора Семёновича Хорошавцева (прямо-таки Астафьев периода ВЛК, в чём, собственно, почти признался сам Виктор Петрович в письме к своему тёзке).

Казалось, всей последующей своей жизнью Астафьев доказывал обратное: что писатель из него получится! Он уже был всенародно признанным, увенчанным, с ним советовался Горбачёв, к нему приезжали Ельцин и Солженицын, а всё равно продолжал оглядываться на одёргивающий голос «города непризнанных гениев».

Толстикова, под конец жизни принявшийся писать «Правду об Астафьеве», назвал его в одной из местных публикаций «подкулачником». Эта заметка дошла какими-то путями до Овсянки. Адресуя своё письмо давнему напарнику по рыбалке Хорошавцеву, вставшему «на защиту Астафьева», Виктор Петрович словно отчитывался: «Заголовок твоей статьи в полемике с оппонентом точен — «Наплевать и растереть». Не любил он и не любит людей-трудяг. Ведь мы вместе начинали и почти одновременно выпустили свои первые книги, но он скоро понял, что литература — это надсадный труд и стремление к постоянному самоусовершенствованию... Злобность, в которой он меня упрекает, — качество его прирождённое, а «скрытность» — это тоже для него. Писатель, да ещё прозаик, не может нигде и ни в чём скрыться. В его книгах «всё видно». А на книги мои существуют десятки тысяч писем, печатных отзывов, написаны книги и монографии, тексты мои включены в хрестоматии, в программы вузов. Я давно уже являюсь членом Академии творчества, лауреатом премий всех журналов, в которых печатался, трижды удостоен Государственных премий и стал третьим лауреатом премии «Триумф»...»

Особенно меня умиляет вот это: «третьим лауреатом». Согласитесь, Астафьев к тому времени достиг уже таких величин, такого уровня признания, схлёстывался с такими остепенёнными полемистами, что его «отчёт» перед Хорошавцевым, выглядящий, конечно же, «отчётом перед Толстиком», напоминает доклад человека, давно ставшего национальной гордостью, перед первым в своей жизни начальником, которого по привычке, хотя они сверстники, он вынужден называть на «вы».

Хорошо помню эту историю. Закончилась она трагикомически — в духе «Весёлого солдата»: защищая Астафьева, Хорошавцев решил вызвать Толстикова на дуэль. Она должна была состояться не где-нибудь, а у памятника Ленину на заводской площади. Чтобы у всех чувствлян на виду. Дуэлянт даже предложил Злопыхателю выбор: «На ружьях или на кулаках?» По его словам, Злопыхатель от дуэли уклонился.

Сейчас уж нет на белом свете никого — в физическом воплощении. Первым ушёл Толстикова, харюзятник и эрудит, последний, кто называл русского классика Витькой: соседи почуяли зловонный запах, исходящий из-за закрытых дверей. Вторым — Астафьев: его уход оплакивала страна. Третьим — Хорошавцев, дуэлянт и заступник. И не было уже «Гражданского человека» Астафьева, чтобы осадить Толстиковых и оплакать Хорошавцевых.

Чусовой — Пермь

Ольга Блинова

Виктор Астафьев:

«...Радуйтесь этой жизни:
другой на земле нету!»

Пресс-конференция в Томске в 1999 году

В этот раз Виктор Петрович приехал в Томск по моему приглашению с целью встретиться с диалектологами ТГУ, работу которых о серии среднеобских словарей, выдвинутую на Государственную премию РФ, он активно поддержал, и посетить Томский государственный университет, к которому он относился с особым трепетом.

На встрече со студентами и сотрудниками ТГУ он сказал: «Мне очень хотелось побывать в университете. Университет для меня — явление непостижимое, и я всегда завидовал и сейчас завидую тем, кто чему-то учится. <...> ...у вас, в Томске, культура проникла в глубь земли на три метра, и сколько «экскаваторы» ни выкапывали — не смогли выкопать и уничтожить вашу культуру». Обращаясь к присутствующим, высказал пожелание: «Пусть в вашей жизни всегда будет святое место — Томский университет».

Пресс-конференция, которую провёл Виктор Петрович, стала событием в культурной жизни города.

Были заняты даже все «стоячие» места, не говоря уже о сидячих, а особо сообразительные принесли из соседнего актового зала тумбы для хора и взобрались на них. Среди присутствующих были студенты, преподаватели, томские писатели и художники... Удивительно, как быстро разнеслась весть о приезде Астафьева. Более двух часов стояла абсолютная тишина, нарушаемая аплодисментами и смехом.

Я выбрала только часть заданных вопросов и ответов.

— *Какие у вас были трудности?*

— Ну что, какие трудности переживал народ, те переживал и я. Масса людей, которым было очень трудно, которые сидели ни за что, всё потеряли, детей. . . Ну, я потерял детей, двоих уже потерял. Если бы мне Господь предложил, я бы выбрал ту же самую, очень интересную жизнь, насыщенную. А что мне пустая жизнь, гладкая дорога? Она меня совершенно не привлекает никогда. Вот. И, как я писал, чтоб обязательно у судьбы попросил, чтобы мама осталась. Мне было шесть лет, когда мама погибла. Она утонула в Енисее. А ей было двадцать девять лет. Здесь много, я смотрю, моложе есть, они хорошо понимают, что такое в двадцать девять лет погибнуть, что такое мальчишке

потерять маму. Вот, вероятно, чтобы свято относиться к слову «мать» и вообще к матери, её надо ненадолго потерять, понимаете? Вот я, потерявший мать, если б она была живая, я бы, её, наверное, на руках носил. *(Пауза. Тишина в зале.)* Вот поэтому никогда матерям не хамите, любите их и не бросайте. А они вас ни куском хлеба не обойдут, ни молитвой своей и, за пределами будучи, всё будут вас охранять от бед. *(Аплодисменты.)*

— *Что вам давало силы жить?*

— Да сама жизнь. Сама жизнь, умение, наверное, понять, что мою жизнь никто не повторит за меня. Каждая ваша жизнь в отдельности — как отпечатки пальцев: она никогда ни на чью не похожа и ни в ком не повторится больше, даже в ваших детях, к сожалению, не повторится. Само умение благодарить за то, что день наступил, — для этого надо несколько раз помирать. Это очень полезно для человека. Побывши без сознания на фронте, повалявшись в госпиталях, я понимаю, что значит выжить на войне. Остаться жить — это каждый день... видеть солнце, цветы, деревья, видеть прекрасных женщин (я всё-таки всё ещё ощущаю себя мужчиной иногда) на улице, это чудный дар от Бога, от природы, и им надо дорожить. *(Аплодисменты.)*

— *Вы часто говорите о Боге. Что это понятие означает для вас?*

— Мимоходом, всеу имя Бога я стараюсь не употреблять. <...> Я думаю, что Бог, раз Он Дух, присутствует в каждом, и каждый бог похож на того, в котором он присутствует. Есть большой бог, есть маленький, есть очень хороший, светлый, есть какой-то сердитый, есть указующий. <...> Какой-то присутствует и во мне. Он меня удерживал от дурных поступков, от крайних. <...> Тот самый Бог, который во мне присутствует, которого втолкала в меня бабушка, лупила по затылку, заставляла молиться. Никакой ненависти у меня к ней не осталось. Наоборот, огромная любовь. Прекрасный человек. Вот какой словесный памятник я ей сделал в «Последнем поклоне» — и радуюсь этому. Так что Бог — это ты, ты сам есть. В тебе присутствует. Ему и молись, тому лучшему, что в тебе есть, это и есть Бог. Пусть он научит тебя только хорошему. *(Аплодисменты.)*

— *Ваше отношение к смерти в прошлом и сейчас?*

— Ничего себе вопросик! Если говорить о личном отношении к смерти, я отношусь к этому спокойно. Вероятно, идёт это и от крестьянства. Я знаю, что все умрут и я умру, и поэтому не должен бояться этого, впадать в истерику. Был я в Японии, там такой садок стоит в Токио, где оставляют записки. <...> Это старики просят о лёгкой смерти. А девушки молодые просят богатого и хорошего жениха. Часть студентов просит, чтоб сдали экзамены. *(Смех в зале.)* И был вот такой вопросище. Это моё личное отношение к смерти. <...> Есть тайны,

до которых мы, извините меня, не доросли. Мы не можем этого понять. Нашему разуму, даже самому разумному, а вы поверьте мне, я встречал очень благоразумных высоколбых людей, нынешнему человеческому разуму невозможно пока объяснить, что такое смерть...

— *Почему существует суицид?*

— Вы знаете, что суицид, это самоубийство самое, он свойственен молодым людям по недоумию своему. Старики редко кончают жизнь самоубийством. Или с ума сходят, или загнаны так в угол, что... Прежде чем поступить так, надо очень хорошо подумать. Я только что написал затеси о том, как в Сараево, будучи в шестьдесят девятом году, попал в очень странное заведение... со стеклянными стенами, крыша... И внизу дежурят две скорые помощи. Вот эта гора, с которой самоубийцы бросаются вниз. И там построили кафе смертникам. Там дежурят два психиатра. *(Смех в зале.)* На деле они могут попробовать, если что, удержать этого человека... от этого поступка. Я жил в страшном городе — Чусовом, по которому так вот, по всему, проходит линия железнодорожная; там все самоубийства — под поезд броситься. Страшно! И люди существуют для того, чтобы хоть как-то отговорить. Повлиять. Я спрашиваю: «Удаётся?» Мне сказали: «Очень редко». Потому что человек, приговоривший себя к смерти, преступает какую-то такую черту, возврат за которую обратно стоит больших усилий. Вот не хочу, чтоб такое свершилось. А вот милосердие — чтоб сохранялось и обречённому, и живущему. *(Аплодисменты.)*

— *Как вы относитесь к судьбе?*

— Каждый человек является творцом своей жизни. В университете вас учат уметь распоряжаться своей жизнью. Те, кто талантливее вас, умеет к экзамену подготовиться скорее, чем вы. Старайтесь быть похожими на них. Природа же распоряжается тоже по-разному. Башка у человека большого размера, чего он там ходит, как... Грязь в свою душу не пускайте и дурные мысли в голову не берите. И не любите слишком рано. *(Смех в зале. Аплодисменты.)* От этого потом начинаются детишки. А детишки, как и своё жильё, как и своя одежда, и своя оболочка, должны быть вовремя. А в двенадцать лет рожать, в пятнадцать лет — это не ко времени. Это говорит о пороках общества и того человека, который это делает. Не надо быть порочным. Это, вот это сделать возможно, это в силах ваших.

— *Как вы относитесь к молодому поколению?*

— К хорошим молодым людям отношусь хорошо, к плохим — плохо. *(Аплодисменты.)*

— *Поддерживаете ли вы отношения с писателями?*

— Поддерживать с писателями отношения непросто. Я поддерживаю отношения с художниками, музыкантами, певцами. Среди них у меня много друзей.

— *Как вы относитесь к творчеству Набокова и Солженицына?*

— Очень хорошо к Солженицыну: он не давит, не подавляет. Что касается Набокова — две книги прочитал, когда их не разрешали. Одна мне понравилась — «Гамбит», другая не понравилась.

— *Ваши взаимоотношения с редакторами журналов?*

— Иногда тяжёлые. «Пастух и пастушка» имеет подзаголовок «Современная пастораль». Мне пришлось отстаивать этот подзаголовок. Мне объясняли, что такое пастораль. Я смиренно отвечал: «Спасибо, спасибо». То же повторилось с заголовком «Ода русскому огороду». Мне вновь разъясняли, что такое ода: ода может быть паве, женщине, Фелице, но не огороду... Я горячился, говорил: «Я вам докажу, что ода может быть и огороду, земле, грядкам. Иначе я лучше брошу в печку эту вещь!» — «Сделайте подзаголовок». Но я настоял на своём: заголовок оставили.

— *У вас многие книги переведены на другие языки. Были трудности?*

— Да, конечно. Главный редактор пражского журнала «Иностранная литература» Владимир Михна, талантливый переводчик русской прозы, трудился над переводом «Царь-рыбы» на русский язык более четырёх лет. Кстати, об этом писала Шлёнская. Название романа «Последний поклон» было переведено как «Кивок головы».

— *Что вы вынесли из войны?*

— Вынес из войны полное её неприятие, ненависть к войне. Я потерял половину памяти, половину здоровья.

— *Что вы думаете о крестьянстве?*

— Ничего мы не добились урбанизацией. Мы разрушили крестьянскую культуру.

— *Почему хорошим людям живётся плохо?*

— Я не сидел в тюрьме, не привлекался, быстро попал на передовую, там полная свобода слова. <...> Я живу с одной женой пятьдесят три года. Хорошая женщина. Вырастил детей... Так что Бог — это ты сам. В тебе присутствует. Ему и молись, тому лучшему, что в тебе есть. Пусть он научит тебя только хорошему. *(Аплодисменты.)*

— *Отношение к ненормативной лексике?*

— Отрицательное. Самое страшное, когда матерятся дети и женщины.

— В чём вы видите путь дальнейшего развития России? Ваши литературные планы?

— Путь России — это там, это я не определяю. Я там ничего не определяю. А планы мои такие: написать книгу затесей новых и написать обязательно повесть для детей. А то я тут что-то так серьёзно занимался всякой серьёзной литературой, а по призванию я рассказчик детский. Мне, ещё дочь была живая, она всё говорила: «Папа, папа, вот был бы детским писателем, как бы тебе хорошо жилось, и нам бы спокойнее было». *(Смех в зале.)* И если сумею я это сделать, там, дальше как-нибудь, может быть, напишу куски, которые у меня созрели, чтоб завершить хотя бы характеры какие-нибудь. Может быть. Но если хватит сил. Понимаете, мне семьдесят пять лет первого мая стукнет. Тут уж особенно греметь о планах своих не приходится. Хотя я надеюсь что-то ещё сделать, пожить. *(Аплодисменты.)* Только так. Очень много в Сибири красивых женщин. Мужики, которые здесь есть, передайте другим мужикам: дорожите нашими красивыми женщинами. *(Смех в зале.)* Не ухудшайте их красоту, так сказать. А самое главное — будьте все счастливы, здоровы. Будем вместе надеяться, что жизнь в России наладится. Спасибо. *(Бурные, продолжительные аплодисменты.)*

После общего фотографирования к Виктору Петровичу установилась длинная очередь, бесконечная, и как я ни просила студентов завершить эту процедуру, они делали вид, что меня не слышат. А Виктор Петрович, очень уставший, наносил автографы на блокноты, записные книжки, даже на зачётки...

После короткого отдыха мы отправились на загородную прогулку в сосново-пихтовый лес, а за нами двигалась машина с журналистами Томского радио, ожидавшими желанное интервью...

Вечером Виктор Петрович присутствовал на концерте университетской хоровой капеллы, от которой был в восторге.

Виктор Петрович оставил нам много пожеланий. Одно из них: «Живите долго, печальтесь коротко, радуйтесь этой жизни: другой на земле нету!»

Тамара Колесник

Две страсти Алексея Бондаренко

*«...И никто не сможет упрекнуть меня в том, что Астафьев
«за уши притянул» меня в писатели: не тот он человек,
чтобы своим авторитетом ручаться за кого попало!»*

Алексея Бондаренко приняли в Красноярскую организацию Союза писателей России. Событие для Енисейска нерядовое, но особых торжеств по этому поводу не было: поздравили писателя коллеги-журналисты из «Енисейской правды», работники городской библиотеки, друзья да близкие люди... Но наш земляк-прозаик — человек простой, незаносчивый, привычный к любому человеческому отношению — воспринял это событие как праздник души, отметив его в дружеском кругу (кстати, приезжал поздравить своего младшего друга писатель Виктор Петрович Астафьев), и... собрался в тайгу на промысел.

Эти несколько дней, пока Алексей ждал вертолёт, чтобы улететь в своё зимовье, мы часто общались, он охотно отвечал на все мои вопросы, некоторые предугадывал сам. Счастливым блеск в его глазах не заметить было невозможно.

И ответы его были честными и откровенными: «Мне кажется, я всю жизнь шёл именно к этому. Писать, как ты знаешь, начал рано, но кто к этому увлечению серьёзно относился, кроме меня самого да мамы? Только она одна поддерживала меня (как терпеливы и мудры наши матери, при всей их слепой любви к чадам!) — похвалой за каждую опубликованную в газете зарисовку о природе или рассказ, нередко критикой — простой, безыскусной, но зато какой честной, от сердца идущей. А нынешний, тысяча девятьсот девяносто четвёртый год для меня — особый: в июле вышла первая книжка «Мужская трава», в неё я собрал рассказы, отредактированные тобой и опубликованные в «Енисейской правде». Прошло всего три месяца, и теперь я — член Союза писателей...»

«Извини, Алексей, — прервала я собеседника, — можно подумать: раз — и «в дамки»! Ведь не всё так было быстро и просто? До «Мужской травы» ты более двадцати лет публиковался в нашей районной газете, в краевой прессе, в дальневосточной, когда учился профессии журналиста в Хабаровске. Но нынешний год оказался самым насыщенным событиями. Не особо верю гороскопам, а ведь тысяча девятьсот девяносто четвёртый год — Год Собаки, твой год: планеты, как на параде, дружно выстроились и стали тебе покровительствовать.

Хотя, честно говоря, в нашем небольшом городке многие знают: активное участие в твоём становлении как писателя принял Виктор Петрович Астафьев».

И мне очень понравился ответ Алексея Марковича: «Да, я горжусь этим, и никто не сможет упрекнуть меня в том, что Астафьев «за уши притянул» меня в писатели: не тот он человек, чтобы своим авторитетом ручаться за кого попало! Я несколько лет был с ним знаком (по охоте, в основном, и рыбалке), бывал у него в Овсянке и на красноярской квартире. И лишь позже признался, что пописываю рассказы. Виктор Петрович был немало удивлён, что я — тот самый А. Бондаренко, охотничьи рассказы которого он читал и в альманахе «Енисей», и в журнале «Сибирские просторы». А жена писателя Мария Семёновна Карякина до нынешней весны и фамилии моей не знала: в списке приглашённых на семидесятилетие Виктора Петровича я, оказывается, был записан ею как «Алёша из Енисейска». Мне даже кажется, что после моего «разоблачения» они ко мне относиться стали по-другому. Виктор Петрович сам предложил написать предисловие к моей первой книжке «Мужская трава». И с удовольствием остался с женой на презентацию этой книги, которая состоялась в городской библиотеке на следующий день после празднования трёхсотсемидесятипятилетия города Енисейска. И говорил такие слова, которые забыть невозможно: ведь это слова Великого Мастера, Великого Писателя!»

...Я хорошо помню тот день презентации книги Алексея Бондаренко в читальном зале городской библиотеки, помню смущённого виновника торжества и то, как Виктор Петрович, единственный из всех выступавших, тепло и сердечно говоривших о творчестве Алексея Бондаренко, сказал, что Енисейску надо беречь и поддерживать такой талант.

И я знаю, что в городе есть люди, которые действительно поддерживают этого самобытного автора: во-первых, коллеги-журналисты, помогавшие готовить к изданию «Мужскую траву», и, конечно, сотрудники городской и районной библиотек. Тогда финансовую помощь оказала администрация города Енисейска. И была надежда на помощь районной администрации в издании второй книжки — «Птица с железным клювом», над которой мы с Алексеем работали. На самом же деле финансировал издание «Птицы...» начальник дорожного ремонтно-строительного управления Виктор Степанович Рожкин — замечательный человек, знаток литературы, поклонник таланта местного прозаика, к сожалению, рано ушедший из жизни.

...Алексей Маркович не мог сдержать радости: предисловие к новой книге снова предложил написать Виктор Петрович Астафьев. В книгу вошли рассказы, написанные, в основном, в течение последнего года, две «свежие» повести — «Вынужденная посадка» и интереснейшая, с захватывающим сюжетом «Урочище Глухое» — и ещё одна, заново мною отредактированная, — «Милицейская фуражка».

В этот период мой давний друг и коллега работал неистово, вдохновенно, засиживаясь над рукописями до поздней ночи, ровным чётким почерком исписывая листы. Солидный жизненный опыт и, как Алексею казалось, ещё не востребованный материал словно подгоняли: пиши, пиши. И он писал — для своего читателя, настоящего и будущего.

А вот как он отважился на такой серьёзный шаг — на вступление в Союз писателей? Кто надоумил этого застенчивого человека на сей подвиг и придал уверенности в своих силах — это был вопрос!

Ответ мною был ожидаем, и я в который раз убедилась в открытости своего собеседника: «Опять же Виктор Петрович. Нынче летом, пока ты в отпуске была, я по твоей просьбе замещал тебя на должности ответственного секретаря редакции. А тут приезжает Астафьев со съёмочной группой краевого телевидения: какие-то кадры документальные планировалось отснять на Енисее, и им нужен был бывалый таёжник. Выбор пал на меня, а я в это время поехать никак не могу — работаю над газетой с утра до вечера... Виктор Петрович буквально взорвался: „Тебе на простор надо, в тайгу, на реку, а ты в конторе сидишь, газетной рутинной занимаешься. Пора, Лёша, серьёзно за писательский труд приниматься, о членстве в Союзе думать!“»

Тогда, после «взбучки», Алексей и отправил заявление и несколько экземпляров «Мужской травы» в Красноярск, в Союз писателей, на имя Николая Волокитина, как это уже не раз советовал его наставник. Общение с великим писателем перевернуло всю жизнь енисейского прозаика, именно с этого времени он стал заниматься литературой серьёзно.

Вызов пришёл через месяц, хотя Бондаренко был готов ждать сколько угодно: кто он для истинных писателей — мало кому известный графоман из Енисейска? Только потом, на собрании, с удивлением узнал, что его рассказы, оказывается, читают, и не только читатели, но и писатели. Разрядку в серьёзное мероприятие внёс один из мастеров слова, когда то ли в шутку, то ли всерьёз поинтересовался: какая же всё-таки эта «мужская трава»?..

Рекомендации в Союз писателей Алексею Бондаренко дали известные литераторы — Эдуард Русаков, Алитет Немтушкин, Сергей Задереев. Вместо обязательных трёх оказалось четыре рекомендации. Приведу слова четвёртого — члена Союза писателей России Владимира Шанина: «Вот лежит передо мною книжка в тонкой бумажной обложке, изданная в Енисейской типографии, с рисунком из вчерашне-сегодняшней жизни: покосившиеся ворота, сорванная с петель полусгнившая калитка, задёрнутое дурнопахнущим крестьянское подворье. Умерла деревня, но жива трава. «Мужская трава» — так и называется эта книжка, и автор её — охотник из Енисейска Алексей Бондаренко. В предисловии к ней Виктор Астафьев прямо сказал: «Читать её — всё равно что по лесным тропинкам и просекам бродить,

слушая неутомимого ходока, негромкого, но доброжелательного и душевного рассказчика». Ну что тут скажешь! Всё в точку. Словом, книга получилась, автор вполне состоялся как писатель, и было бы великим грехом для нас держать за порогом интересного, самобытного, со своим несколько непривычным голосом певца енисейской тайги. . .»

В то время это был первый шаг, который успешно преодолел Алексей Бондаренко. Вскоре за «Мужской травой» и «Птицей с железным клювом» из-под пера писателя выходят одна за другой новые книги, более солидные, глубокие по содержанию. Это «Закон-тайга», «Лесная бьль», «Позови меня снова», первая книга исторической трилогии «Государева вотчина». Вместе с прозой писатель обращается к поэзии. Его лирические напевные стихи легко ложатся на музыку.

Спустя три года Алексея Бондаренко приняли в члены Союза писателей России. Отзыв о литературном мастерстве писателя дал московский писатель и критик Дмитрий Жуков. В своей рецензии он написал:

«Творчество Бондаренко, уже сложившегося писателя, можно разделить на две части. Первая — это преимущественно охотничьи вещи (о природе, таёжниках, животных), вторая — историческая.

В первой части я не нашёл каких-либо погрешностей. Автор — превосходный рассказчик. Уже первая повесть «Шатун» увлекла так, что до самой её концовки я не мог оторваться, вспоминая Сетона-Томпсона, у которого, правда, не встретишь такого большого заключительного абзаца: «Куда податься? Куда пойти? В любой стороне родного большого края пустынно, одиноко и голодно. . .» Это якобы мысли медведя-шатуна, приключения которого излагаются в повести. Но это и заключение автора, который в предисловии к одной из своих книг сказал, что люди стали насторожённые, пугливые и жадные, не живут общиной, закрывают двери на замки.

Автор, родившийся в таёжном селе, имеет право так сказать. После Высшей партшколы в Хабаровске он работал в газете «Енисейская правда», несколько лет был на руководящей работе (эти связи и дали ему возможность издать сразу четыре толстенных тома). Потом всё оставил, ушёл в тайгу и стал охотником, набирая материал для повестей «Шатун», «Урочище Глухое», «Милицейская фуражка», множества рассказов с прекрасными сюжетами, достоверными и нескучными описаниями природы, психологически точными портретами людей, отличным знанием повадок зверей и безупречным русским языком, в котором автор не старается щеголять знанием местного диалекта, хотя я по собственному опыту знаю, что мог бы: бывая в тех краях, я не всегда понимал скороговорку и словечки местных жителей.

Моё мнение — мы имеем дело с талантливым русским писателем. Две книги с охотничьим уклоном вполне могут вписать Бондаренко в ряд писателей-классиков, что бродили с ружьишкой по полям и весям и оставили свой след в русской литературе, начиная с девятнадцатого

века. О том, чтобы пребывать Алексею Бондаренко в лоне Союза писателей или не пребывать, не стоит даже спорить. Он писатель крупный».

И Алексей продолжал плодотворно работать. Главное то, что он не пошёл по лёгкому пути — не поддавался моде, не стал сочинять дешёвые боевики и бестселлеры. Он остался верен своей теме — это жизнь современной деревни, простого труженика. Ведь он сам от земли. Рождённый в селе Маковском, в семье сельской труженицы Елизаветы Васильевны, он с детства познал тяжёлый крестьянский труд. Ещё пацаном страстно хотел учиться, но условия бедной семьи не позволяли — экзамены за среднюю школу сдал экстерном. Настойчивость и целеустремлённость дали возможность получить высшее журналистское образование. И все эти годы, как говорит сам Алексей, занимался сочинительством. И в литературу пришёл благодаря самообразованию: много читал, анализировал, общался с профессиональными писателями, журналистами.

Первыми молодое дарование заметили в «Енисейской правде»: его немудрёные зарисовки о природе, жизни обитателей тайги печатались охотно и находили своих читателей и почитателей. И именно коллектив газеты рекомендовал Алексея Бондаренко на факультет журналистики Хабаровской Высшей партийной школы. Годы обучения Алексей Маркович считает главными в своей жизни, в становлении себя как литератора. В Хабаровске он трижды участвовал в семинарах молодых писателей, именно там, в солидном по тем временам журнале «Дальний Восток», был опубликован его рассказ «Подарок». Это позже произведения молодого автора стали охотно брать газеты, журналы, альманахи.

Две страсти Алексея Бондаренко — охота и писательство — многие годы мирно уживаются рядом, вдохновляя и обогащая одна другую. Конечно, в последние годы он предпочёл бы стол, и не потому, что физических сил для промысла не хватает — к этой тяжёлой работе он привык с юности.

Он чувствует острую необходимость писать — накопилось и знаний, и опыта, наболело много. Писателю близка не только тема тайги и деревни. Он с головой ушёл в историю родной земли. Одна за другой вышли три книги исторического романа «Государева вотчина». Теперь Алексей и сам удивляется, откуда к нему пришёл тот самобытный язык семнадцатого века. Его герои говорят именно этим языком. Ярко, образно показано далёкое от нас время, когда русские служивые люди осваивали Восточную Сибирь, шли «встречь солнцу», ставили первые остроги на «неведомой земле», воевали нехристей.

По трилогии «Государева вотчина» режиссёр Енисейского народного театра Алла Анатольевна Васильева поставила спектакль «Стрела шамана», он в течение пяти лет успешно шёл на сценах городов Красноярского края. А первыми пробами талантливого режиссёра

были инсценировки по рассказам Алексея Бондаренко «Полосатик» и «Шатун». Затем, по просьбе режиссёра, писатель «переквалифицировался» в драматурга и написал пьесу «Ерохина тальянка» — о безродном человеке, мудром и добром, бывшем фронтовике, поселившемся после войны в глухой сибирской деревне. Спектакль был тепло встречен енисейским зрителем, местные газеты писали об очередной удаче театра и автора пьесы Алексея Бондаренко. Шестидесятипятилетию Великой Победы он посвятил новую пьесу «Орден Славы», постановку её осуществил коллектив Енисейского народного театра.

А впереди у писателя, поэта, драматурга работы — непочатый край. С ним живут и не дают покоя новые рассказы, повести, пьесы. И конечно, всегда рядом с ним его отрада — тайга.

...В одной из рекомендаций, данных Алексею Бондаренко в Союз писателей, были такие слова: «Жизнь усадила нынешних писателей за чиновничьи столы и дала им в руки по «метле»: мол, зарабатывай на жизнь «полезным» трудом. А уж коли в одном месте зудит, пиши ночью, а заработанные метлой деньги складывай рубль к рублику — глядишь, наберётся сумма на издание того, что, недосыпая, сумел-таки написать...» Ну а у Бондаренко вместо метлы — тайга, ружьё, собаки и охотничьи лыжи...

Михаил Тарковский

Русский язык на берегах Енисея

Известно, что в языке заложен духовный код нации. Наш русский язык подвергся нескольким реформам, а особенно большие потери понёс он после преступного упрощения его в 1917 году. До коммунистической реформы в нашем языке было тридцать шесть букв, а в «классической» старославянской кириллице — и вовсе сорок три. Уничтожение каждой буквы — это потеря языкового оттенка. Прimitивный язык приводит к примитивному мышлению. Упрощение языка — путь к национальной деградации, хотя именно упрощение и объявлялось главной целью данной реформы.

Введение алфавита вместо азбуки — это посягательство на сакральную сущность языка. Вспомним, что за каждой буквой азбуки стояли важнейшие смыслы: *аз* — я, *буки* — буквы (Боги), *веди* — ведать, — а дальше и объяснять не надо: *добро, есть, жизнь...*

И если взглянуть в древнерусскую, старославянскую и церковно-славянскую языковую глубь, то так и замрёшь, замороженный огромными возможностями, которые упускались при каждом упрощении. И сегодняшним «специалистам» по русскому языку не даёт покоя его измученное тело, и законодатели то и дела норовят изменить нормы.

Язык нужно любить и хранить, язык нужно защищать, в языке нужно видеть прошлое, дорожить им. Давайте говорить о нём, учиться ему, вдумываться в его смысл. Не могу не напомнить об особенно больном: давайте, наконец, вспомним о необходимости введения гражданского обращения *сударь* и *сударыня* как наиболее приемлемого, да и просто замечательного по звучанию, теплу и уважительности. Безобразные «мужчина, который час?», «женщина, не толкайтесь!» — неужто не режут ухо?!

По поводу *господ* скажу, что робкая попытка продвижения *господина* и *госпожи* ничего, кроме недоумения и раздражения, у народа не вызвало, так как со словом *господа* у большинства населения ассоциируется нечто антинародное и паразитическое — из области господства одних над другими.

Непостижим и животворен наш язык, и каждый уголок русской земли вносит в него своеобразие. Давайте взглянем с любовью на говоры красноярской земли, нанесём на карту своей души их многообразие, их причудливое звучание и таящийся в них смысл.

Язык, на котором говорят жители Енисея в Туруханском районе, имеет несколько истоков. В нём самое малое четыре ноты: северорусская (поморская), сибирско-енисейская, тюркская и самоедская (кетская и эвенкийская). Русская поморская нота пришла во время освоения Сибири через морской Север. На Енисее, так же как и в Архангельской, Вологодской областях, проглатывают-подрубают окончания глаголов: *бывает, заедат, токо громоток делат*. Здесь называют ветра кратко: *север, запад*, причём обязательно по-старинному: *сивер*. *Угором* зовут высокий берег по-над рекой. На угорах стоят деревни на Енисее.

Тюркские слова вроде бы тоже есть: *туздук* (рассол для рыбы), *ястык* (пласт икры), — а как возьмёшься считать — не так и много их в обиходе. Так же как кетских и эвенкийских слов. Таких, как, к примеру, *голомуха* — от эвенкийского *голомо* (род таёжного, на скорую руку, жилища). *Пуцальня* (точного происхождения не могу сказать) — ставная сеть. Слово это точно связано с северными народами. В одной из ссылок обозначено долганское происхождение. Указано оно и в словаре сборника кетских сказок.

Теперь о сибирско-енисейском замесе...

Вообще, в Туруханском районе на берегах Енисея как основное население, так и говор традиционно русский. Его можно подразделить на чисто енисейский и... назовём так, общесибирский. На общесибирском говорит целое пространство, городская и южная Сибирь на разных широтах, население Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Сибирский говор — это обязательно вместо *чего* — *ково*. «Ково ревьёшь?» (*реветь* — кричать, звать: «Поревви меня по рации»). *Знатьё* — *знать бы заранее* («кабы знатьё — дак...»). Вместо *жёлтый* сибиряк скажет — *сжелта́*, вместо *вроде* — *подвид* («Блесна на подвид битюря» — В. М. Шукшин).

Шаить — означает *медленно гореть, тлеть*. Шаить всегда сырые дрова. Какая звукопись! Так и слышится шипенье капель на торце мокрого полена. Вместо *повесить* сибиряк обязательно скажет — *повешать*. «*Язви тя!*» — крикнет в сердцах заполошная хозяйка, опрокинув ящик с рассадой. На Енисее ещё говорят: «*От яскорь тебя!*» Что это значит, не могу сказать.

Есть ещё характернейшее *чо моя?* — производное от «чо, моя хорошая?». Так обращались к близким, к доченьке, к матушке, а потом выражение перенеслось на любого собеседника. И бывает, маленькая усохшая старушка скажет здоровенному мужику: «*Чо моя?*» Мол, что у тебя? Какие трудности-заботы, болезни-печали?

Таёжная избушка называется *зимовьём*. С отменой буквы «ё» (попала под приговор необязательности) многие образованные люди, усвоив из литературы зимовье как нечто «сибирское», произносили его с ударением на «о», и это ударение вошло даже в песни, написанные горожанами (у Визбора: «В чахлоу тайге замает зимовье»).

Очень типично общесибирское слово *уросить* — значит *капризничать*. Так говорят про ребёнка.

А вот удивительное выражение, которое я слышал только на Енисее: *грезить*. Оно вовсе не из высокого штиля — грёзы и мечты здесь ни при чём. *Грезить* — это *безобразничать, разорять (зорить), бедокурить*. «Росомага (росомаха) нагрезила», — значит, росомаха набедокурила, разорила ловушки, сняла приваду и сожрала попавшихся соболей. «От (вот) греза», — так могут ласково сказать про нашкодившего ребёнка.

Ещё несколько штрихов к речи енисейцев. Замечательно слово *быстерь*, означающее быстрину на реке... Хариуса здесь зовут *хайрюз*... Вместо *им, ими* говорят — *имя*. Вместо *две* или *одну* скажут — *двуё* или *однуё*. «Просторечье», — скажет лингвист. «Богатство и гибкость», — скажет поэт.

Шаглы — это жабры. Невразумительного человека могут прозвать Бесшаглым. *Корга* — каменистая гряда, вдающаяся в реку (не путать с беломорскими коргами). *Курья* — заводь.

Особо произносятся слова, заканчивающиеся на «*ьи*», «*ью*»: *ночью* звучит как *ночю*, *свиньи* — как *свинни*. Звучит с каким-то замечательным оттягом. (Сталкивался кто-то из читателей с таким выговором? Только ли на Енисее такое? Друзья говорили, что и в Иркутской области встречали это произношение.)

Кутит — это закручивает (в сани) ветер и снег. *Быгать* — так говорят про мясо, которое выветривается, вымораживается на воздухе: «Выбыгала привада». Слово *дивно* означает *порядочно, довольно, много*. *Вередить* — *повредить*: «Вередила палец». *Изнахратить* — *испортить, изуродовать*. Необыкновенно звучное выразительное словцо! Что такое *нюховитый*, думаю, объяснять не надо. По этому же лекалу сработано *воровитый*. В городской речи из этого края выжило, например, *деловитый*.

По-особому произносится множество слов: *отдал* — *ондал*, *опять* — *опеть*, *разве* — *разле*, *мимо* — *нимо*, *порознь* — *порозь*, *по отдельности* — *нарозно*.

Провьянтом моя соседка называла боеприпасы: порох, гильзы, капсулы, пыжи. Удивительно старинным духом веет от этого оборота!

За словом *оборот* потянулось словечко *оборотный*: «оборотная стерлядка» — стерлядка, которая уже прошла вверх, а теперь «катится» обратно. А вот *закупать продукты* почему-то называется *снабжаться*. В этом «снабжении» — большая капитальная закупка, деревянная лодка, полная мешков с мукой, всякого товара. Снабжаются на промысловую охоту, на долгую зиму.

Виска — это протока (между озером и рекой). *Ручей* произносится как *ручей*. Переехать на ту сторону Енисея называется коротко — *через*: «Поехал через». У рукавицы большой палец — *напалок*. Голенища у бродней (енисейской обуви) — *ноговицы* (скроено по выкройке *рукавицы*). *Пальник* — тетерев-косач (от слова *чёрный, палёный*).

На Енисее есть целая, так сказать... поднародность — *сельдюки*. О них Виктор Петрович Астафьев писал в «Царь-рыбе». Считается, что *сельдюк* происходит от названия туруханской селёдки — ряпушки, которую так любят промыслять по осени жители енисейского Севера. Сельдюки — потомки русских переселенцев, к которым, возможно, подмешалась кровь коренных жителей — кетов и эвенков. Вообще же они абсолютно русские и по облику, и по фамилиям (Хохловы, Поповы, Никифоровы, Плотниковы). Сельдюки — главные носители енисейского говора. Всё это «ихнее» — и *сивер*, и *быват*, и *здравствуй-ка*, но главная особенность, что шипящие они произносят по-своему: вместо «ш» — «с», вместо «ж» — «з». «Сто ты, парень?» «Зырный». «Последний санс». Ещё они говорят вместо «л» — «в»: «На вызах убезала» (на лыжах). Мягко произносят «л»: *бутыука*.

У Валентина Григорьевича Распутина в книге «Живи и помни» описывается говор одной из ангарских деревень: там, к примеру, слово *сучка* произносилось как *щуцка*. Что-то родственное с сельдючим выговором есть в этом переворачивании шипящих на Ангаре, сестре Енисея.

Масса слов связана на Енисее с мастеровой культурой. С предметами быта, охотничьего промысла, рыбной ловли. *Шарга* — расслоённые на плоские волокна стволы черёмухи, которые использовались для плетения и скрепления различных частей снаряжения. *Гартъё* — кедровая щепка, из которой делали морды (ловушки на животь — мелкую рыбёшку, используемую в качестве живца). Очень енисейским показалось мне когда-то слово *кляч* — верёвка из черёмуховой коры, снятой в виде лент. Перед рыбалкой *кляч* замачивали в Енисее. Каково было моё удивление, когда у Гоголя во второй части «Мёртвых душ» я натолкнулся на этот самый *кляч* — герои использовали его для рыбалки.

Долблёные лодки, которые на Енисее называются *ветками* и вовсю в ходу здесь, были в старину широко распространены по всей Руси и назывались *обласами*. Всё это ещё раз подтверждает, что Сибирь — это действующий запасник русской традиции.

Самое главное и удивительное, что почти у каждого здешнего человека была своя система, свой неповторимый речевой строй, которым он (и каждый на свой лад) прокладывал дороги внутри языка. Примечательно, что взаимоотношения с грамотностью могли быть обратными: чем слабей грамотность, тем поразительней языковое творчество. Несомненно, одно с другим связано прочно и парадоксально. Выходит, что грамотность в некоторых случаях блокирует творческое речевое начало.

Вспоминаю моего соседа дядю Гришу, царствие ему небесное. Григорий Трофимович Попов был одним из самых ископнейших и по судьбе, и по духу енисейских жителей. Без тайги и особенно реки, батюшки-Анисея, он себя не мыслил. Единственная поездка в город стала для него страшным испытанием. Он жил рекой: вслушивался, всматривался, вчувствовался в Енисей, каждое его дыхание

ловил-переживал. Был ему Енисей как огромный термометр-барометр всей жизни, да оно и понятно: рыбак есть рыбак... Вечная зависимость от погоды у огромной воды. «Запад ли верховка (юг) задует?» — «Что вода делает — прибывает или падает?» — «То на прибылую воду сети плесенью забьёт, то сивер так закаты, что *через* не перейти».

Как-то он сказал (речь зашла про Красноярск): «Город-то ране в Енисейска был». Город для него был с большой буквы — образ центра, енисейской столицы — независимо от названия.

Есть такое понятие — *крень*. Это особо плотная и смолистая древесина с одного бока дерева. Её избегают при выборе лесины на изделие. Дядя Гриша высказал по этому поводу собственное мнение: что раньше делали из крёновой стороны ствола полозья для нарт, что к такому полозу не *подлипат* снег, что он катится отлично, и вообще настолько кристаллически-крепкая эта самая крень — что «дас топором — как соль отлетат!».

Есть ещё один мой односельчанин — единственный ныне здравствующий ветеран войны — Анатолий Семёнович Хохлов. Разговорились с ним про берёзовые заготовки для нарти (для полозьев). Дядя Толя сказал, что вообще берёза «каты имет хорошую», если только не «вертлявая». *Кать* — он произвёл от слова *катиться*. А витую (свилеватую) берёзу назвал вертлявой, будто она вертится (под топором, допустим). С глаголом *катиться* связан ещё один термин: *не-кать* — пора или, скорее, состояние снега с шершавой поверхностью, который не даёт катиться полозам и лыжам. Некасть бывает в сильный мороз. Образовано по тому же принципу, что и *небыль*, *нетель*, *нерусь*. Ещё хорошее слово есть, обозначающее род верховой воды: *поводь*.

В русском языке окраску однокоренным словам придают многочисленные суффиксы, приставки и окончания. И оказывается, у одного слова они остались, а у другого незаслуженно забылись, стёрлись. Множественное число от слова *дерево* — *деревья* — звучит привычно, а вот от слова *колесо* — *колёсья* — уже по-старинному. На Енисее такое словообразование в порядке вещей. Старики говорят: «Поднял *капканья*», — то есть насторожился. Точно так же брат Григория Трофимовича дядя Петя пожаловался, что на «Красноярска нету-ка *билетьев* нисколь». Соседка Серафима Ильинична Никифорова однажды сказала, что в магазин «привезли *спагетья*». Насколько сильны у этих людей правила жизни языка! Они и новые слова гнут по-старинному!

И вот слово уже видится со всеми связями, жилами. Так енисейские старики учат нас помнить старинные языковые скрепы, что, будто черёмуховой шаргой, сшивают понятия, людей, эпохи. И стыдно перед этими носителями национального духа за современное состояние языка.

Слово, по нашей вине порвавшее связи с миром, — как озеро, потерявшее сообщение с рекой, его породившей. Не так ли зарастает тиной и ряской *виски*, связывающие душу с родным и кровным?

Татьяна Эйснер

Чуткая тишина

Глухая пора Кутарамакана

Конец января в Путоранах. Одинокий кордон на берегу озера Кутарамакан. Ночь. Стою, запрокинув голову к мерцающему иглами звёзд небу. На лицо, слегка покалывая его, опускаются крупинками звёздной пыли лёгкие кристаллы изморози. Небо завораживает меня, как, вероятно, завораживало тысячи лет назад древних пастухов или земледельцев, ночевавших в поле... Вечная магия небесных сфер...

Если долго-долго смотреть в ночную вышину, то в какое-то мгновение вдруг начинаешь ощущать себя стремительно летящей туда, в бесконечно глубокую, бездонную, сверкающую звёздами чашу. От мощного всплеска вселенского холода захватывает дыхание.

Мурашки бегут вдоль спины, и жутковатый восторг веселящим вином ударяет в голову... Но лишь мгновение длится этот полёт — и вот я опять на земле, в реальном мире, и только лёгкое головокружение напоминает о прекрасной иллюзии.

Ох уж этот «реальный мир»! Если бы не он, уши так не замёрзли бы. Холодно. Да и неудивительно: январь в Путоранах — самый холодный месяц года. Минимальные температуры воздуха в это время нередко опускаются ниже минус пятидесяти градусов. Постепенно начинаю коченеть, а уходить не хочется. Интересно, почему это так бывает: стоишь, смотришь на это ночное небо, замёрзшее озеро, неподвижный лес, мрачноватые горы — и не можешь наглядеться, хочется запомнить всё-всё, как перед дальней дорогой, хотя прекрасно знаешь, что всё это увидишь завтра снова и ещё много дней подряд? Впрочем, нет — я знаю почему: просто каждый день узнаёшь что-то новое, необычное, удивительное и прекрасное.

А мороз всё-таки сильный! Выходящий изо рта пар мгновенно превращается в шуршащие иглы изморози, снег громко скрипит под ногами; слышно, как долго стонут в лесу разрываемые морозом деревья. В такие лютые ночи выходят на лёд и гулко лопаются, застывая, голубоватые наледи; клубятся густые туманы над незамерзающими речными перекатами, оседая искрящимся инеем на ветках деревьев и кустов. Кажется, что всё замерло, замёрзло, застыло... Ну, всё не всё, а я-то уж точно скоро в сосульку превращусь. Пора и домой. Вот он, рядом — белый рубленый дом под островерхой синей крышей. Густой дым ровным столбом поднимается к небу, манит в тепло-жёлтый квадрат окна. В избе жарко натоплена печь, переливчато свистит

на плите закопчённый бывалый чайник; негромко похрипывая, сообщает последние новости старенький «Океан». День завершён. Осталось занести в журнал метеонаблюдения — и можно провести остаток ночи в волшебном царстве Морфея, повелителя грёз. . . Утром, высовывая нос из-под одеяла, пытаюсь определить по температуре в доме температуру на улице. Изба за ночь выстыла не очень сильно: на термометре возле окна — минимум плюс четырнадцать градусов, значит, и на дворе не холодно. Выскакиваю из нагретого гнезда постели — босиком к печке.

Минута — и сухие дрова с треском занимаются. Пока прогревается изба и закипает чайник, забираюсь под одеяло — понежиться в утренней полудрёме. Несколько минут утреннего блаженства: в ещё густом сумраке размеренно тикает будильник; по бревенчатым, в блестящих каплях и потёках смолы, стенам мечутся блики огня; яростно трещат дрова в печи; набирает силу ворчливый голос чайника. Ровное сухое тепло — тепло прогретого дома — плывёт по комнате. После немудрящего завтрака и обычных утренних хлопот выхожу на улицу.

Погода — как на заказ: тихо, ясно, температура всего около минус тридцати. Нет никакого резона тратить такой день на бесконечные хлопоты по хозяйству. После непродолжительных сборов я уже иду по местами переметённой лыжне моего привычного маршрута вдоль северо-восточного берега озера — мимо вертолётной площадки и почти невидимых под сугробами снега лодок. Справа — поросшие кривыми лиственницами и кустарником береговые склоны, слева — ледяной панцирь озера. Кажется, что размеренный шорох снега под лыжами только усиливает царящую вокруг тишину. Огромное пространство, накрытое сверху белёсым куполом неба, замерло вокруг маленькой точки шагающего куда-то человека. От подобных мыслей даже жутко становится, но размеренный ритм движения постепенно успокаивает разыгравшееся воображение. Вообще-то вот так, в пути, легко думается, мечтается. . . Хрустит ломающаяся в такт шагам и наливающаяся синевой на изломах снежная корка; сухой мелкий снег узкими змейками скользит по гладкой поверхности лыж. Снег. Мы видим его вокруг себя большую часть года, привыкли к нему и замечаем его только тогда, когда вместе с ветром он сечёт нам лицо или когда застреваем в сугробе. А что такое снег? И почему он белый?

Не задумываемся. . . Оказывается, снег — это как бы эмульсия или пена, образованная снежными кристаллами и воздухом. Именно эта структура определяет его цвет и малую теплопроводность, которая играет огромную роль в предохранении земли и растений от промерзания и имеет важное значение в жизни животных. Все знают, что снег состоит из снежинок, но мало кто догадывается, сколь велико разнообразие форм снежных кристаллов: учёные насчитывают их около двухсот пятидесяти. А ещё бывают град, изморозь, крупа, иней. . . Всё о снеге знает, наверное, только Снежная королева. Лексикон

народов русского Севера и Сибири, в течение веков имевших дело со снежным покровом, удивительно богат обилием терминов, характеризующих особенности снегопада и снежного покрова. Вот некоторые слова, применяемые для обозначения снегопадов с сильным ветром или для переноса уже выпавшего снега: «вьюга», «метель», «кура» (от слова «куриться»), «поносуха» (от «нести»), «буран», «позёмка» (верховая и низовая).

Уплотнённая корка на поверхности снегового покрова — наст — имеет ряд синонимов: «чарым», «чир»; тонкий льдистый наст, с шумом ломающийся при движении человека, — «сковорода» или «шорох». Ледяная корка, образовавшаяся из-под снега, смоченного замерзающим дождём, названа удивительно красиво и точно: «оже-ледь». Что-то среднее между льдом и ожерельем. Сразу вспоминаются звенящие на ветру обледеневшие ветки берёз, ножами торчащие из-под снега остекленевшие пучки травы, скользкая крепкая корка на поверхности снега. Сколько бед приносит эта «красота» лесным обитателям! Затрудняется добывание корма из-под снега; об острые ледяные края звери ранят ноги, слабеют, становятся лёгкой добычей хищников. Голод и смерть приходят в лес.

Когда выпадает глубокий и мягкий снег, идти по нему становится трудно, «бродно» — говорят в Сибири, в Саянах скажут: «плохой взъём». Сегодня «взъём» хороший, снег плотный, прибитый сильными ветрами — идти легко, и, вероятно, поэтому удалось так быстро добраться до самого узкого места на озере Кутарамакан — мы называем его «перешеек». Он образовался в результате нарастания конуса выноса дельты реки Иркинды, впадающей в озеро с юга. Осторожно перехожу через него: здесь довольно сильное течение (Кутарамакан — проточный водоём), могут встретиться припорошённые снегом промоины и продушины. Перешеек — кратчайший путь с северного берега озера в дельту реки, густо заросшую ивами, ольхой и мелкими кривыми берёзками. Зимой эти непролазные заросли обилием доступных кормов привлекают к себе многих лесных зверей.

Иду вдоль небольшой протоки. Заслышав шум моих шагов, с глухим треском срывается стайка кормившихся в кустах куропаток. Сделав широкий полукруг, птицы опускаются на опушке леса. Снег вокруг испещрён множеством следов: здесь и куропачьи наброды, и тропы зайцев, а вот и глубокая двойная борозда лосиного следа. Здесь же, в зарослях, несколько лёжек этого крупного и красивого зверя — истинного украшения сибирских лесов. Всегда поражаюсь силе и изяществу этого животного, вес которого достигает полтонны. На первый взгляд он кажется нескладным и неуклюжим: несоразмерно короткое туловище и длинные ноги, тяжёлая голова...

Но вы видели когда-нибудь, как бежит лось? Это нельзя назвать бегом — это мощный, стремительный и плавный, удивительно грациозный полёт.

Зимой лоси, как и многие животные, спускаются в дельты рек — поближе к богатым кормовым угодьям. Северного лося нетрудно определить по характерным «заломам» — сломанным крупным ветвям, а также по наискось, как острым ножом, срезанным зубами зверя ивовым прутьям. Здесь же, в зарослях ивняка, обедали зайцы: ветки пригнутых снегом к земле кустов обглоданы дочи́ста. Следы заячьих зубов образовали на тоненьких белых стволиках неповторимый муаровый рисунок. С трудом выбираюсь из переплетения протоков, заросших непроходимым кустарником, на основное русло реки. Ходить по дельте — мука. Не протоки — так кусты и завалы, скалистые берега да торчащие камни и коряги. Вдоль реки с верховья тянет несильный, но пронизывающий ветер. Он дует здесь практически всегда, поэтому в долине реки снега гораздо меньше, чем в лесу.

Выше по течению река стиснута обрывистыми берегами — «щечками», над которыми стоит облако свинцового тумана, — это место постоянного наличия наледей. Ещё выше по течению, километрах в десяти отсюда, один из крупнейших водопадов плато Путорана — Иркиндинский. Высота его около тридцати метров, а шум — огромной лавины. Но сейчас водопад под толстым слоем зеленоватого льда, который растает только к концу июня. Сворачиваю в лес. Здесь тихо, и поэтому кажется теплее. Округлые сугробы, снежные шапки на пнях и валежинах, кухта на ветках деревьев.

Гораздо меньше следов зайцев и куропаток, но зато вижу петляющую среди стволов деревьев и полузасыпанных снегом кустов двухлетку-соболя. След довольно старый: под пологом леса он сохраняется гораздо дольше, чем на продуваемых местах. Вверху, в кронах лиственниц, суетятся крошечные чечётки, невесомо перепархивают с ветки на ветку; слетает сбитая неугомонными пичугами снежная пыль. Эта маленькая птичка, весом всего несколько граммов, не страшась сибирских морозов, остаётся зимовать и, похоже, чувствует себя здесь неплохо. По лесу невозможно ходить быстро: снег здесь мягкий и глубокий; во второй половине зимы толщина снегового покрова достигает ста двадцати — ста пятидесяти сантиметров. Лыжи проваливаются в пустоты между камнями и корягами, цепляются за ветки кустов. Медленно начинаю пробираться к берегу озера, успокаивая себя мыслью о том, что летом здесь ходить ещё хуже — спасают только пробитые вдоль берега олени тропы.

Выхожу на небольшой холм, отсюда уже просматривается замёрзшая равнина озера, но идти до неё ещё далековато. Отдыхаю, озираюсь, прислушиваюсь. В вершинах деревьев ровный низкий гул — вероятно, поднялся ветер; изредка, глухо ударяясь о мягкие подушки сугробов, падает сорвавшаяся с ветвей кухта, вслед за ней медленно оседает снежное облако. Начинаю медленно спускаться с холма, озеро исчезает из виду, и опять перед глазами путаница стволов, кустов, камней, сугробов... Берег озера. Опять следы куропаток,

зайцев; а вот изящная цепочка следов неутомимого хищника — горноста, охотившегося в кустах на кормящихся птиц. Выхожу на озеро. Действительно, дует довольно сильный северо-восточный ветер, над ледяной равниной клубятся снежные протуберанцы, верховья озера скрыты сероватой мглой. Идти в такую погоду два километра через открытое место — перспектива малопривлекательная, но другого пути нет. Голубоватым квадратиком маячит на том берегу крыша дома, зовёт к себе, в тепло...

Отворачиваясь от пронизывающего ветра, иду вперёд. Быстро коченеет лицо, замерзают руки. Ветер забирается под одежду, холодит спину; кажется, что стужа пробирается до самого сердца. Как бы хотелось на миг зажмурить глаза и оказаться дома, у топящейся печки, с кружкой чая и горбушкой хлеба в руках! Оказывается, как мало надо продрогшему на зловредном хиусе человеку. А вот согреется он, чаю напьётся — и начнёт мечтать о песчаных пляжах, золотистом загаре, янтарных виноградных гроздьях... Стоп! Стоп! Я ведь ещё и чаю не попила!

Гроздь — потом... Ну вот, наконец-то подхожу к берегу, возле лунки, из которой берём воду, снимаю надоевшие за день лыжи и медленно поднимаюсь на бугор, к дому. Провожу варежкой по лыжам — нужно смахнуть прилипший к скользящей поверхности снег, ставлю их торчком к стене тамбура, отряхиваю одежду от снежной пыли и только тогда захожу в блаженное тепло.

Всё здесь так, как и должно быть: и печка, и чайник, и горбушка... Горит иссечённое ветром лицо, согреваются руки, тепло размаривает — тянет в сон. Но спать ещё рано: нужно занести дров на утро, приготовить ужин, и за водой сходить не мешало бы. А на улице уже сумерки, и ветер не на шутку разыгрался; за водой, пожалуй, не пойду — отложу это мероприятие на завтра. В обыденных заботах проходит остаток короткого зимнего дня, и вот уже опять вечер. Мороз ослабел. Снова стою, несмотря на пронизывающий ветер, во дворе и смотрю, как постепенно, будто бы на проявляемой фотографии, появляются на небе звёзды. Привычным взглядом нахожу на северо-востоке бриллиант Капеллы, и почему-то сразу на душе становится хорошо и спокойно. Раз звёзды на месте, значит, Земля ещё кружит, и живут на ней птицы и звери, растут деревья и травы, а вместе с ними живём и мы — не всегда разумные люди.

И дай Бог, чтоб было так всегда.

Первый шаг весны

Уже несколько дней валит снег. Сплошная белёсая стена медленно падающих хлопьев наглухо отделила кордон от всего мира. Кажется, что больше нет ничего во всей Вселенной, кроме этого маленького рубленого дома в окружении нескольких низкорослых лиственниц да кривых берёз... Деревья согнулись под пухлыми белыми шапками.

Вокруг только два цвета: серовато-белый да серый. Тишина абсолютная. Словно сидишь в мешке с ватой. Ещё денёк такой погоды — и я точно уверюсь в том, что снегопад этот никогда не кончится, привыкну к серости и ватной тишине. Дни скучны и бесконечны. Домашние дела противны, и настроение под стать погоде — паршивое. Идти куда-нибудь нет смысла — потонешь в пухлом и влажном снегу. Сейчас только ненормальный может куда-нибудь отправиться; даже зверьё в лесу, как говорят охотники, «лежит крепко» — переживает непогодь.

А снег всё идёт и идёт... Лес уже по пояс в липучих сугробах. Под многотонной массой снега на озере лопаются лёд, и выходят наледи. Одно только утешает: что такая оттепель с обильными снегопадами — одна из первых примет приближающейся весны.

Весна. Как мы, северяне, ждём её. Как радуемся первому лучу ещё холодного багрового солнца, тяжело висящего над горизонтом; с каким восторгом ловим порыв влажного весеннего ветра, пахнувшего чем-то невообразимо свежим, непонятым, будоражащим... Но не очень-то она к нам, нетерпеливым, спешит. Вот снегом всё вокруг завалило. После такого снегопада обязательно поднимется ветер — будет раскидывать пухляк по берегам, набивать на озере жёсткие заструги, срывать с деревьев белые шапки. Заревёт в ночи пурга, загремит железом крыши, засвистит тоскливо в голых ветках берёз. И уже не поверишь, что ещё только вчера было тихо и падал медленный, как в рождественских сказках, снег... Но всему на свете приходит конец, снегопадам и пургам — тоже. Однажды утром я просыпаюсь и, ещё не успев открыть глаза, понимаю: что-то случилось. Что-то потрясающее и великолепное, отчего захватывает дух и пьянит, как от быстрой езды. Ещё боясь поверить в чудо, приоткрываю глаза, и всплеск солнечного света, залившего избушку, заставляет на мгновение зажмуриться.

Она пришла! Пусть пока она как бы смотрит на нас со стороны, но она здесь, её нельзя не почувствовать в этом слепящем свете, в ещё крошечных сосульках, появившихся на краю карниза, в ярком голубом, с лёгкой поволокой облаков, небе. Как изменилось всё вокруг! Как будто и не было тоскливых дней ожидания хорошей погоды. Морозный воздух прозрачен — даже самые дальние горы видны отчётливо. Резкие голубые тени падают вдоль озера. Тихо, но вверху по горам гуляет ветер, сдувает с их плоских вершин и превращает в огромные прозрачные развевающиеся полотнища свежевывающий снег.

Искрящиеся кристаллы крошечными пёрышками снежной перины медленно кружатся над долиной и неслышно ложатся на лес и озеро. Глубокое синее небо, чёткие грани белоснежных гор, радужный столб в поднятой ветром снежной пыли — всё кажется нереальным, словно в кино. Цвета насыщенные и яркие, как на картинах Рериха. И нет уже больше сомнений: это пришла весна, пришивинская весна света. Это она стронула где-то в тайге стада оленей, направила их по длинным

теньям деревьев в долгий путь, на север, в тундру. Она оживила жизнь лесных обитателей: стали активнее зайцы, соболи, россомахи; подкочевали куропатки, повеселели мелкие пичуги — чечётки, клесты. Это её солнце уже начинает пригревать деревья, вокруг их тёмных и тёплых стволов появляются лунки первого притая. Снег становится рассыпчатым, похожим на стеклянную крупу. Это она раскрыла чешуйки на шишках ели и лиственницы и выпустила на волю их крылатые семена...

И уже не пугают морозы и метели — пусть лютуют, чёрт с ними!

Ведь впереди — полгода солнца, полгода света, полгода бурной жизни северной природы.

Осень

Хмурый осенний вечер, вернее, уже ночь. Ветер рвёт пламя костра, искры сверкающим веером срываются с горящих веток и гаснут в плотной мгле. Темнота осенней ночи непроглядно густа: кажется, что её можно потрогать руками. Порыв ветра взметнул седой пепел, смешал его с первыми робкими снежинками, исчезающими в пламени костра...

Осень, осень... Она вспыхнет, как мой ночной костёр, отгорит огнём берёз и рябин и погаснет в октябрьских снегопадах под погребальную песню ветра в голых ветвях... Уснёт уставший лес, замёрзнут мелкие лужицы, но озеро ещё долго не смирится с наступившими холодами — будет качать свинцовые волны, перемешивать прогретую за лето воду, бросать её на обледеневший берег, разбивать на звенящие брызги. В клубящихся над озером туманах будут висеть сочные радуги и кружиться маленькие смерчи... Но однажды, в одну из тихих позднеоктябрьских ночей, мороз победит упрямую воду, и косые лучи утреннего солнца отразятся в тонкой ледяной плёнке.

Это ещё впереди, а пока осень занята своей печальной работой: раздевает принарядившиеся было деревья, отправляет птиц в далёкие странствия, пугает зверей первыми морозами — заставляет их менять летние кафтаны на зимние шубы; временами примеряет и на землю новый наряд из тонкого снежного полотна.

Я люблю осень. Люблю её яркие, пусть даже болезненные краски (помните, у Пушкина: «чахоточная дева?»), люблю чуткую тишину прозрачного леса и тугой холодный ветер, сминаящий тяжёлую озёрную гладь в белолобые волны. Люблю бродить по осеннему лесу, вдыхать чистейший, с тонким ароматом увядших трав, воздух; люблю собирать налившиеся ягоды брусники, высматривать в зарослях вдоль ручьёв розовый жемчуг смородины... А потом долго сидеть на седом от лишайника пригорке, смотреть на просвечивающее сквозь поредевшие кроны низкорослых берёз блёклое небо, слушать ленивый плеск волн, негромкий шёпот леса, думать...

Говорят, что города тоже красивы. Наверное, это так. Только мне это трудно заметить. Я привыкла к другой красоте — дикой и первозданной красоте Путоран, чарующей в любое время года.

Соболёк

Соболёк был сыт. Ещё в предутренних серых сумерках в припорошённом снегом кочкарнике ему удалось поймать пару полёвок. Полёвки, несмотря на выпавший снег, всё ещё хлопотали — набивали семенами трав и ягодами и без того полные кладовки.

Теперь он лежал под корягой, прислушиваясь к шуму ветра в кронах, глухому плеску всё ещё не замёрзшего озера. Всё знакомо и привычно в лесу. Он пришёл сюда около двух лет назад, в конце августа. Соболёк был совсем юным, только что покинувшим гнездо, неопытным и слабым. За два года он окреп, набрался сил и опыта, прочно утвердился на своём богатом охотничьем участке.

Впрочем, соседи его мало донимали — не так уж много здесь соболей, лишь выше по реке, на малодоступной террасе, живёт рыжая самочка. Нынче летом он встречался с ней. Соболюшка недоверчива и осторожна: держится в захламлённых крепях, ходит нешироко. Это оправдано: она должна дожить до весны, до рождения потомства...

Соболёк привстал, выглянул из-под коряги. День давно разгулялся: в разрывы облаков выглянуло бледное октябрьское солнце, ровный ветер качал голые ветки деревьев, сбивая с них остатки вчерашнего снегопада. Соболёк приняхивался к сырому ветру, приподняв изящную остромордую голову на подвижной шее. Переливался красивый тёмно-коричневый царский мех соболька, редкие снежинки блестели на нём мелкими бриллиантами. Хвост вот только подвёл: перелинять перелинял, а волосы на нём подрасти не успели. Не хвост, а толстая, почти чёрная колючая «морковка».

Слабый шорох заставил соболька насторожиться: из полузасыпанных снегом кустов голубики вынырнул горноста́й, увидел соболя, сердито цвиркнул и мгновенно исчез.

Горноста́й уже полностью белый — тоже перелинял, только на морде и кое-где на спине остались ещё редкие коричневые волоски. Соболёк вышел из убежища и не спеша направился вниз по берегу реки в сторону озера. Снег выпал совсем недавно, и зверёк ещё не видел всего своего маленького королевства в новом белом наряде. В прибрежных зарослях ольхи и ивы белое снежное покрытие было исписано строчками мелких полёвочьих следов, редкими пока следами куропаток — птицы подкочуют на юг Путоран только поздней зимой и пробудут здесь до весны. Соболёк бежал уже по берегу озера. Ветер, разгулявшийся над водной равниной, дул сильнее, ерошил стальную тяжёлую воду. Волны разбивались об обледеневшие береговые валуны, перемешивали воду с шугой. В затишке, за мысом, поплаватками качалась на пологой волне стайка

турпанов — крупных ослепительно-чёрных уток. Готовятся к отлёту на зимовку. Многие птицы уже улетели. Только обжоры серебристые чайки, именуемые в просторечье бакланами, задержатся на озере почти до ледостава...

Соболёк повёл чуткими ноздрями. С той стороны озера ветер донёс слабый запах дыма. Там живёт человек с большой серой собакой, похожей на волка. Соболёк летом часто встречал в лесу их следы. Однажды даже пёс погнал его, и очумевший от ужаса соболёк едва успел соскользнуть в первую попавшуюся, пропахшую пищевухами, каменистую россыпь. Пёс остервенело лаял, скрёб тупыми когтями замшелые камни, а соболёк сидел в сырой темноте и глухо урчал, задыхаясь от бессильной злобы и противного псиного запаха... Сейчас поздняя осень, и человек с собакой уже не появляется в лесу. Лишь изредка с той стороны озера доносятся знакомые, хотя и непонятные собольку пронзительные и трескучие звуки пилы или лодочного мотора... На берегу, на кустах шиповника, треплет ветер бурые клочки медвежьей шерсти: бродил здесь по осени косопалый, жировал на ягодниках. Подвижными мягкими губами, как пылесосом, собирал бруснику и шикшу, тут же, неподалёку, отдыхал — и снова ел, ел... Спит уже сейчас, устроив берлогу где-нибудь под выворотнем.

Соболёк пересёк оленью тропу, больше напоминающую неглубокую извилистую канавку — олени никогда не меняют своих маршрутов. Сейчас у них разгар гона. Но собольку нет дела ни до медведей, ни до оленей — не по зубам добыча. Вот полёвка — другое дело. Под вечер соболёк задавил ещё одну. Хлопотунья тащила веточку промёрзшей брусники в кладовку, устроенную в глубокой складке коры старого дерева, — там уже лежало десятка два ягод... Ягоды соболёк тоже съел.

Незаметно кончился этот день — обычный день соболиной жизни. Сколько их будет впереди? Кто знает... Ведь порой жизнь лесных обитателей, с человеческой точки зрения, зависит от пустяков. Например, оттепель в начале зимы. Подумаешь, снег выпал — растаял... Снова выпадет. Но за этот короткий промозглый день погибает от сырости и переохлаждения — мокрая шерсть не греет — множество мелких животных: полёвок, леммингов, горностаев, да и соболей тоже, особенно из числа молодняка. А погибнут полёвки — голодно будет зверью зимой...

А пока — убежал мой соболёк. Пожелаю ему хорошей осени, удачной, сытой зимовки. До встречи в весеннем лесу, соболёк!

Я люблю...

Я люблю, когда идёт снег. Люблю в белёсый вечер стоять, запрокинув голову к бесцветному небу, и смотреть, как летят навстречу мне огромные хлопья, и тонуть, тонуть, тонуть в их неслышном завораживающем хороводе... Я люблю слушать вой пурги за бревенчатыми

стенами избушки, хлёсткие удары снежных зарядов в чёрное ночное стекло, люблю думать под песню ветра в печной трубе... Люблю запах только что выпавшего октябрьского снега, его ровную белизну, без той синевы на изломах снежной корки, которая бывает в апреле, хотя и её тоже люблю...

Я люблю слушать шорох прорывающихся сквозь прошлогоднюю листву трав, опьяняющий, изысканный запах раскрывающихся клейких ольховых листьев, свежий запах весеннего, насквозь пропитанного водой леса, запах, который хочется пить...

...Я люблю, когда идёт дождь. Люблю слушать размеренный шорох капель по крыше; люблю, сидя под навесом, вдыхать свежий, влажный, полный запахов чистых листьев, трав и цветов воздух; люблю смотреть на дождевую рябь на поверхности озера и лягушками плывущие по воде пузыри; люблю сквозь серую завесу дождя улавливать знакомые очертания окрестных гор и люблю ловить пронзительно-яркий луч солнца в неожиданно появившемся в толще серых туч разрыве...

Я люблю грибной аромат полыхающей огнём осенних листьев тундры; люблю пить чистейшую воду горных ручьёв, прижатых первыми морозцами и сверкающих в обрамлении тончайших кружев первого льда; люблю собирать в сумраке прибрежных зарослей ольхи тяжёлые прозрачно-красные гроздья смородины и высматривать на сфагновых кочках комариного болота огонёк морозики...

Люблю тишину прозрачного холодного октябрьского леса, замершего в ожидании зимы...

...А ещё я люблю тебя...

Покорение Чаякита

Озеро Кутарамакан, кордон заповедника «Путоранский», восьмое июня 1990 года. Начало. Пасмурный весенний день, мокрый снег, резкий запах ивовых почек, тишина... Сидим на куче груза, в беспорядке выброшенного из улетевшего только что вертолёта.

Рядом — покосившаяся, чёрная от дождей и ветров рыбацкая изба, наш приют на несколько дней. Берег озера, серые лбы вытаявших уже валунов, старые пни, редкие кривые берёзки, хлипкие листовенники... Вздыхаю и берусь за первый попавшийся под руку мешок — надо убрать груз под крышу, того и гляди дождь пойдёт... И вдруг — грохот, гулкий, раскатистый, похожий на далёкий гром грохот сходящей с горы лавины. Вскидываю глаза и замираю: в поволоке жиденького облака — чёткий абрис горы. Как такое не заметить, ума не приложу! Снова сажусь на мешки и смотрю.

Облако медленно наискосок сползает с горы, обнажает обрывистые крутые склоны, почти лишённые снега; в узких, отвесных распадках клубятся клочья серого тумана, под распадками — рыжие следы лавин. Форштевень горы вспарывает белёсую мглу — гора плывёт, плывёт в тумане и скрывается в грязной вате облака...

Вот это да! Минут через пять закрываю рот и начинаю таскать груз, временами поглядывая через озеро в сторону горы: не появится ли? К вечеру похолодало, облака растаяли, небо заголубело — и вот она, гора, стоит во всей красе! Пытаюсь отыскать её на карте, второпях путаю у карты верх и низ, наконец нахожу: Чаякит, тысяча сто шестьдесят три метра над уровнем океана. Сидим на пеньках около дома, дышим, смотрим. Молодые собаки, пьяные от воли, свежего воздуха и весенних запахов, спят, вытянув натоптанные за день горячие лапы. Тихо. Заглохли прижатые морозцем ручьи. В безветрии замер лес. Горы молчат. Мы молчим...

К концу трудного, не по-северному знойного и сухого лета на песчаном ягельном береговом бугре появился небольшой дом, сложенный из непокорных топорю лиственничных брёвен, неподалёку — подведён под стропила ещё один. К середине августа работа застопорилась из-за начавшихся тягучих холодных дождей. За лето мы привыкли к соседству горделивой горы; привыкли к шуму её ручьёв, привыкли к зелёному туману редкого лиственничного леса у её подножия. Вряд ли Чаякит сможет нас сейчас чем-нибудь удивить... Однажды ночью ветер разогнал облака, висевшие почти до земли, но небо всё ещё хмурилось — всё вокруг казалось серым.

Долгий дождь смысл, казалось, все краски лета. Осень была уже где-то рядом... Чаякит почувствовал это первым: он стоял, окутанный серебряной паутиной первого снега, — элегантный, строгий и великолепный, как седовласый джентльмен.

Прошла зима, вновь наступила весна. За год Чаякит показал нам все свои наряды: мы видели его в зеленовато-сером — летнем, в серебристом с жёлтой оторочкой — осеннем, в белоснежном с чёрной отделкой — зимнем. Он был красив всегда — и закутанный в осенние облака, и закованный жгучим морозом в снежно-ледяной панцирь; белый, ослепительно сверкающий на фоне голубого и чёрный на фоне звёздного зимнего неба. Осталось только дожидаться лета, чтобы посмотреть на него вблизи.

Маршрут был выбран давно, гора досконально рассмотрена и на карте, и в бинокль: решили взбираться по острому выступающему гребню Чаякита. Путь казался настолько простым и лёгким, что решили не брать с собой какого-либо снаряжения. Сказано — сделано: полезли, но уже первые береговые террасы с «живыми» курумниками несколько охладили пыл покорителей.

Впрочем, пока на склонах были деревья и кусты, взбираться было не так уж трудно; сложнее стало, когда начались вертикальные «стенки», перемежающиеся ползущими осыпями, где не за что ухватиться руками и где можно было только ползти или передвигаться на «четырёх костях». Прошло часа три. Вершина была уже где-то недалеко,

когда на нашем пути выросла вертикальная многометровая стена, под которой — круто уходящая вниз осыпь, на стыке стены и осыпи — баранья тропа, шириной около десяти сантиметров. Попытка пройти по тропе в надежде отыскать подъём оказалась неудачной. Видать, лазить по таким горам могут только бараны. Опустошённые неудачей, долго сидели под стенкой, смотрели на озеро, по которому ходили волны, казавшиеся с высоты мелкой рябью; смотрели на открывшуюся горную панораму, на крошечный домик внизу...

Спускаться было ещё труднее: приходилось вспоминать каждый свой шаг во время подъёма, чтобы вернуться уже разведанной дорогой. Руки и ноги дрожали от усталости и напряжения, на голову и за шиворот сыпались мелкие камешки и песок, было жарко и хотелось пить. Да ещё и досадно: так ведь и не удалось добраться до вершины какой-то вшивенькой километровой горки...

И прошло ещё три года. Мы смотрели снизу на так и не покорённый и высокомерный Чаякит, смотрели, как меняет он свои одежды, как плачет он по весне слезами талых вод, как в гневе бросает камни, как в печали кутается в пелену облаков... Смотрели и думали о том, как ничтожно должно быть наше желание покорить этого гордого красавца, равнодушного до нашего тщеславия и самоутверждения. Нельзя его покорять и нельзя покорить, потому что ему безразличны наши помыслы и стремления, мы — всего лишь суетящиеся у его подошвы букашки. Сколько их было и сколько ещё будет...

А всё-таки очень хотелось побывать там, наверху. Какой, наверное, вид открывается с горы! Однажды тёплой ясной июльской ночью, звенящей комарами, мы вновь пришли к Чаякиту. В этот раз Чаякит был добрее к нам — это мы сразу поняли, когда увидели зайца на травянистом склоне. Заяц поскакал вверх — а мы пошли за ним. Косой «проводник» появлялся перед нами ещё пару раз и всякий раз убегал вверх, как бы приглашая нас за собой. И мы шли, пока не упёрлись в ту самую стену, которая преградила нам путь три года назад. Опять посидели под ней и стали искать подъём. В конце концов, удалось-таки вскарабкаться на эту чёртову стенку. Вершина рядом, ещё несколько минут — и мы наверху.

Озираемся. Вершина — относительно плоская поверхность, усеянная каменными глыбами, покрытыми изморозью лишайников. Между камнями — пятна коричневого сырого мелкозёма, на котором хорошо видны следы горных баранов, оленей, а теперь ещё и людей. В складке небольшой каменистой гряды — сочащийся влагой снежник. На его поверхности множество оленьих следов — здесь животные спасаются от надоевших комаров. А вокруг красота! Горы просматриваются далеко-далеко и кажутся бесконечными, матово светится изумрудное озеро, сверкает серебристыми блёстками кажущаяся узеньким ручейком своенравная Иркинда.

И всё это — в четыре часа утра. На горе. На восходе солнца. Распираемая тщеславием, сооружаю из камней небольшой гурий: мне кажется, что всё-таки мы первые, кто побывал на Чайките.

Это было в прошлом году. Вряд ли я забуду это. Весь этот год мне казалось, что всё-таки Чайкит мы покорили. А теперь я поняла, что ошибалась. Это он покорил нас, покорил навсегда.

Пармина охота

Прорубь за ночь почти не замёрзла — только тоненькая ледяная сантиметровая корочка прикрывает тяжёлую чёрную воду. Разбиваю её краем ведёрного дна и ставлю на обледенелый снег маленькое озерцо в мятых алюминиевых берегах. Тихо. Над озером тянет сырой весенний ветер, рыхлые серые облака стекают в распадки и сливаются там с неопрятными клочьями тумана. Пахнет свежей водой, подтаявшим снегом, весной...

Собаки бешеным лаем взрывают утреннюю тишину, рвутся на привязи: по противоположному берегу медленно движется маленькое оленьё стадо. Прищуриваюсь и считаю: десять, четырнадцать... Вот ещё один — пятнадцать. Идут тяжело: наст уже не держит вес животных, с каждым шагом олень проваливается по брюхо...

Что ж, надо идти домой... Беру ведро — и едва успеваю увернуться от летящей галопом Пармы: опять, тварь, из ошейника вывернулась. Вот наказание, а не собака — вылезает из любого ошейника! Ну, олени, теперь берегитесь: Парма будет гонять до тех пор, пока сама из сил не выбьется и лапы в кровь не собьёт...

Придётся идти за ней — попробовать отозвать, хотя предприятие это почти безнадежное. Быстро отношу ведро домой и иду за Пармой, прихватив с собой обрывок верёвки и ошейник. Через озеро — наезженная за зиму «бурановская» дорога, выступающая бугром над промокшим чёрным снегом. Стоит сделать шаг в сторону — сразу можно провалиться сантиметров на двадцать в снежно-водяную кашу. Но по дороге идти легко — до противоположного берега дохожу быстро и слышу уже из-за прибрежных бугров хриплый истошный Пармин лай: видимо, держит оленя.

Нужно свернуть с дороги в залив: ступаю на снег и проваливаюсь почти по колено — возле берегов воды на льду больше. Сапоги-то зря короткие надела... Завернула за мыс — и в дальнем конце залива вижу Парму, прыгающую с истошными воплями вокруг какого-то тёмного предмета.

«Предмет» пошевелился — и я различаю два больших уха: олень! Собака загнала его в глубокий снежный надув, глубина снега тут метра полтора-два, олень, видимо, не достаёт ногами земли — завис на брюхе. Кричу, зову Парму, но чувствую, что это бесполезно: азартная собака, оглушённая всплеском эмоций, не слышит...

Нужно увести её оттуда, дать возможность оленю уйти: бегу, вернее, пытаюсь бежать, но чем дальше в залив, тем глубже снег — тяжёлый, тягучий, липкий, как пластилин. Скоро не только бежать, но и идти становится невозможно; ползу на четвереньках, но начинают проваливаться руки, и приходится ползти уже чуть ли не по-пластунски.

Мокрая насквозь, несколько раз сажусь и выбиваю обжигающий снег из сапог. Перевожу дыхание и пытаюсь снова отозвать собаку, но чувствую, что делать это уже поздно, клочья оленьей шерсти летят по ветру, и олень всё реже и реже поднимает голову...

Доползаю, наконец, и вижу — мама дорогая — жуткую картину: бок увязшей «по уши» оленухи ободран от головы до хвоста, красные влажные рёбра дрожат от сбитого дыхания, по трепету тонкой межрёберной плёнки угадывается биение сердца; через длинный разрыв брюшной стенки вывалились на грязный снег парящие голубоватые извивы кишок. Важенка всё ещё пытается выбраться из снежного капкана: видно, как судорожно сокращаются обнажённые мышцы, беспомощно дёргается шея...

Парма скачет вокруг, рвёт горячие живые мускулы, кусает важенку за обмусоленную кровавую морду и уже не лает, а сипло хрипит. Розовая пена капает из её пасти на утопанный снег, густо запорошённый серой оленьей шерстью... В растерянности стою несколько секунд, затем пинками отгоняю прочь невменяемую собаку и иду к оленухе. Захожу со стороны спины и вынимаю нож.

Захватив одной рукой горячее замшевое ухо, второй завожу нож под пульсирующую розовую трахею, так хорошо видимую на ободранной подчистую шею. Короткое резкое движение — хрип, лёгкая судорога окровавленного тела — и тишина, слышен лишь только влажный шорох весеннего леса под ровным ветром да крик ворона где-то вдаль. Парма стоит в сторонке и дышит, раскрыв жаркую пасть и вывалив язык; вдруг неожиданно протяжно зевает, топчется, кружится на месте и ложится.

Звучно чмокая, начинает сосредоточенно вылизывать розовые от крови лапы. Всего несколько минут потребовалось, чтобы этот зверь с горящими дикими глазами и окровавленной мордой вновь стал послушной домашней собакой...

Снимая остатки шкуры, нахожу на крестце оленя застарелый шрам с огромным, с кулак величиной, зловонным нарывом: видно, оставила след чья-то когтистая лапа. Ну что ж, Парма лишь завершила начатую волком или росомахой охоту. Разделяваю оленя и постепенно успокаиваюсь: ничего нельзя изменить и исправить. Вытаскиваю мясо на лёд залива и прикрываю его клочьями шкуры — пара воронов уже сидит на корявых береговых лиственницах. Им сверху видно всё... Надо идти домой за ручной волокушкой, да переодеться не мешает — на мне сухой нитки нет.

Вновь иду по бугристой «бурановской» дороге, по серому снегу, под серым небом; послушная собака трусит рядом без поводка и ошейника. Под ногами чавкает раскисшая к обеду дорога, хлюпает вода в сапогах, противно шуршит мокрая брезентовая роба... И вдруг слышу ещё какой-то звук, новый, переливчатый... Останавливаюсь, задираю голову и вижу: под краем плотного облака, постоянно перестраиваясь и перекликаясь, летят гуси. Пересчитываю (вот привычка маниакальная!): семьдесят восемь. На лицо паутиной ложится мельчайшая дождевая пыль, глохнет вдали песня гусиной стаи, надо идти...

Мужики не поймут...

Солнечные майские деньки — самое подходящее время для покраски крыш. Это точно: тепло, но не жарко, легчайший ветерок сдувает запах краски, крепкий весенний загар намертво пристаёт к бледному после длинной зимы телу... Красота.

Незаметно текут минуты, складываясь в долгие часы весеннего дня, постепенно становится шире и шире ярко-зелёная блестящая полоса свежей краски на железной крыше бани, солнце взбирается всё выше и выше, и я вслед за солнцем переползаю на другой скат. Печёт плечи: нужно, пожалуй, что-нибудь накинуть — как бы не облупиться сгоряча, да и передохнуть не мешало бы...

Сажусь на перекладину грубо сколоченной лестницы, вытираю зелёные от краски руки не менее зелёной тряпичкой и надеваю футболку, завязанную вокруг лакированного стволика молоденькой берёзки. Сажусь на лестнице, дышу, смотрю по сторонам. Хорошо! Денёк как на заказ: обалденно синее небо, невыносимо ярко сверкающий снег, чёрные, рёбрами выступающие грани гор. Без полутонов. Солнце в зените — почти без теней. Ветер едва ощутим — тишина. Без движения. Стоп: а это что? Чёрное пятнышко горошиной выкатилось из реденького криволесья на противоположном берегу озера. Абсолютная, слепящая белизна снега не даёт сразу определить, что за зверюга появился: россомаха или медведь? Далековато — полтора километра...

Животина довольно резво двигается по твёрдой, уезженной за зиму «бурановской» дороге, и через пару минут становится ясно, что это медведь. Идёт по следу оленьего стада — их голов двадцать с утра прошло, тоже по дороге шлёпали, свернули в сторону почти рядом с домом. Интересно, учует он человеческое жильё, свернёт? А собаки? Молчат... Разморило их на солнышке, спят без задних ног.

Пусть спят пока. На всякий случай иду к дому: там Юлька — пятилетнее существо — шлёпает по первой весенней луже, лепит кулички из ледяной грязи, выкладывая их перед сидящими в рядок на завалянке куклами, и поёт какую-то свою варварскую песню.

Золотые нечёсанные кудряшки нимбом светятся над бледным личиком. И глазищи — огромные, янтарные, медовые — на пол-лица.

Ангел в замызганной курточке и резиновых сапожках. Показываю Юльке медведя — она в свои малые годы уже матёрая тундровичка, знает много чего: в следах разбирается, куропаток петельками ловит, оленей помогает разделявать, а вот живём лесного хозяина она ещё не видела. А он приближается, и довольно быстро: напрасно медведей называют косолапыми и неуклюжими — это стремительный, очень ловкий и проворный зверь.

... Парма учуяла медведя, когда он был на середине озера, вернее, услышала — хрипло, с привизгом, залаяла, завопила. Кобель, как всегда, проспал — забухал секундой позже. Ну всё, сейчас медведь развернётся, уйдёт — собаки такую какофонию устроили... Но зверь даже не замедлил шага: оглох, что ли? Чёрт... Отвожу Юльку домой, беру карабин и снова выбегаю на улицу.

Медведь уже совсем близко: видно, как рассыпается, переливается в такт тяжёлой размеренной медвежьей рыси почти чёрная блестящая шерсть на загривке. Здоровый, гад! Ух и шкура у него!

Азарт горячей волной плеснул в голову: убью на зависть всем! Убью «хозяина» — вот мужики застонут... До него метров сто пятьдесят — двести. Кладу карабин на перекладину забора, становлюсь покрепче, раздвинув ноги. Не промажу! Стреляю — Бог дай так каждому... Не промажу... Ещё поближе... Прёт удача прямо к дому... Медведь дошёл до того места, где свернули олени, замедлил шаг, поднял голову, лоя струю воздуха, повёл носом... Свернёт, пойдёт за оленями? Или учуял собак? Стрелять? Нет, подождём... Идёт хорошо: не прямо на меня, а вполоборота, подставив под выстрел правое плечо. Прошёл бы ещё немного, чтобы угол стрельбы был не такой острый. Медведь понюхал воздух, поводит чёрными подвижными ноздрями, потом опустил голову к дороге и снова пошёл вперёд. Не свернул, идёт к дому.

Сейчас! Сейчас! Карабин не пристрелянный, чёрт бы его побрал, — пули бросает направо и налево. Дерьмо, а не оружие. А что, если раню? Раненый медведь в ста метрах, бросится — ведь и пикнуть не успею. Перед домом горка, кусты, берёзки — прицельно уже не выстрелить. Мгновенно представилась жуткая картина: меня рвёт раненый медведь, кровь, месиво кишок и грязного снега. А Юлька?! Быстро оборачиваюсь: на стекле маленького окна белёсое пятно её расплющенного носа. И глазищи... Глазищи...

Медведь... Сначала меня, потом её... Стреляю. Стреляю под брюхо. Снег от удара пули взлетает фонтанчиком. Медведь мгновенно, не останавливаясь, взвивается в воздух, разворачивается в прыжке и убегает — нет, уносится обратно, своим следом. Всё. Живи, мишка. И мы будем жить. Юлька в восторге выскакивает из дома. Убираю карабин, успокаиваю осипших от лая собак. Долго сижу на скамейке под навесом. Мужики не поймут. Да и объяснять ничего не буду. Скажу, что промазала, — пусть смеются...

Урок любви

На озере Кета провозились долго — не так-то просто поставить зимой палатку. Сначала надо выбрать на берегу площадку поровнее, убрать снег до земли, вырубить кусты. На морозе в тридцать градусов ползать в рассыпчатом полутораметровом крупитчатом снегу — удовольствие сомнительное. Но — надо.

И не просто надо, а побыстрее: в избе на кордоне Юлька одна. Хотя она и грамотный человек, самостоятельный: когда надо — и дрова в печь подбросит, и чайник подогреет, и фитиль в лампе подкрутит. Однако ж лет-то этому самостоятельному человеку всего пять — шестой. Мало ли что?

Как ни торопились, а управились уже по темноте — в декабре светлого времени с гулькин нос. Едем домой уже звонкой морозной ночью, хотя времени было часов семь, не больше. От Кеты до Кутарамакана через перевал — двенадцать километров. «Буран» медленно взбирается по заросшему корявым лесом склону. Я сижу на нартах спиной к направлению движения — так теплее, ветер меньше пробирается под одежду. Выхлоп — и снежная пыль забивает глаза; до остального ей не добраться — всё лицо завязано шарфом. Похоже, мороз крепчает.

Продрогла быстро, хотя и одета была основательно. Похлопывая то одной рукой о нарты, то другой — для профилактики, чтоб не замёрзли, смотрю сквозь выхлоп на ползущие медленно мимо деревья и кусты, на цепляющуюся за их ветки громадную полную луну. Она почти белая и висит так близко, что, кажется, нужно только привстать, чтобы сорвать её с ветки, как яблоко.

До перевала пилили почти полчаса. Поворот, ещё один — и «Буран» вылетел на лёд перевального озерца. Ну, сейчас — по газам, потом вниз — и мы дома... Минут десять всего: под гору снегоход летит — успевай от ёлок уворачиваться! Только вдруг Олег сначала поехал медленно, затем остановился, сошёл с «Бурана», наклонился к дороге и стал что-то там рассматривать, потом замахал мне рукой: мол, подожди. Чтобы не провалиться в снег рядом с дорогой, ползу по саням, потом по «бурановской» подножке, а потом всё равно два шага по снегу, ухнув в сугроб по пояс.

Наконец, выползаю на наш утренний след — он подмёрз и довольно твёрдый, можно ходить. Олег снова наклоняется к дороге и машет варежкой.

Смотрю. В свете фары на рубчатом следе «Бурана» хорошо видны округлые выемки отпечатков маленьких валенок. Два следа: туда, в сторону Кеты, и обратно.

Сердце упало куда-то в живот и гулко там забухало. Мороз за тридцать, до дома три километра. Юлька! Когда она ушла? Как оделась?

Вдруг устала, села в сугроб... Вдруг...

Медленно тронулись, внимательно смотря по обеим сторонам, поехали. Метров через двести — стоит. В руке лыжная палка. Одета кое-как: пальто на ситцевое платишко, шарфа нет.

Слёзы в глазах.

Что случилось? А вдруг — упала лампа, пожар, дом сгорел? Что? Оказывается, устала ждать, стало скучно. Решила идти встречать маму и папу. Ну даёт! Ночью, в мороз одна пошла в лес.

Соскучилась.

Господи, какие же мы дураки! Что же мы делаем сами с собой? Кому нужны эти чёртовы «Бураны», палатки, лодки, моторы?.. В суете, в мелочах нашего быта забываем о самом главном в жизни. Забываем о великом Божьем даре. Забываем о том, что нас любят. Что нас любит этот ребёнок, любит просто так, просто потому, что мы есть. Ребёнок, который и ничего хорошего-то от нас не видел: изба, тусклая керосиновая лампа, холод, снег. Достойны ли мы, дураки, этой любви? Вряд ли... Вряд ли...

Беру Юльку на колени, завязываю её своим шарфом, надеваю поверх её варежек свои меховые, прикрываю от ветра собой: замёрзну — так мне и надо, дубине! Поехали! Скоро были дома. Всё нормально. В печке сипят три полешка, почти выкипевший чайник плюётся остатками пара, тепло, тихо...

Раздеваемся... Замёрзшая и уставшая Юлька тыкается красным лицом в подушку и мгновенно засыпает. Мы молчим. Сидим за столом, чай стынет в кружках. Молчим долго. Оба думаем об одном.

Потом Олег роняет одно лишь слово: «Доездимся...»

Елена Жарикова

«И на прозрачных крыльях сна летело детство»

Автобиографические заметки

...Калачиком сворачивалось тело

И на прозрачных крыльях сна летело,

Дрожа за жизнь.

И это было детство.

Ю. Мориц

У ручья Шатуна, у горы Горячей...

В уходящем свете зимнего дня, в сухонькой потрескивающей тишине, в потоке внутренней музыки пишешь без боязни, что кто-то окликнет, упрекнёт, усомнится... Просто — по воле мелодических волн, неведомого голоса, по канве прихотливого узора сознания — плывёшь в неиссякаемом времени.

Сомкну веки — вижу: Настин лог, зелен луг, огоньки купавы... В окне — гора Горячая. Её цвет меняется от времени года: белая, желтовато-зелёная, ну совсем зелёная, рыже-бурая... Подробностей на ней не вижу — и не надо, потому что облазили мы эту гору и знаем её кочки-дрючки-закоулочки. У подножия течёт ни шатко ни валко речка нашего детства — её мы тоже вымериваем вброд, упрямо идём вперёд, потому что ищем исток. Рядом — железная дорога, полузаброшенная, с какими-то пёстрыми упругими поганками между шпал и корявыми берёзками, дорога, по которой мы ходим за грибами.

Чернила, которыми пишу, издают сладковатый аромат. Сочетаюсь с мелодией какого-то безвестного, но обаятельного Пола Венса, этот запах тянет за собой сквознячок: кто это приоткрыл створку старого белого буфета? Да, так пахнет крошечный граммофончик медуницы, если его разжевать; так пахнет старый посылочный ящик, в котором уснули мои игрушки (на дне его с прошлого Нового года завалились карамельки); такой запах живёт в белом посудном буфете соседки. Сколько раз мы тайно открывали его и находили меж сказочных жестянок что-нибудь заманчиво вкусное! О, в шкафчике заветном пахло пленительно: ванилью, и корицей, и лимоном, и сухой черёмухой...

И всё-таки мы убегаем от волшебных буфетов — рано, пока взрослые чего-то там досматривают в своих чёрно-белых снах, убегаем, по-бояски нацепив что попало, — ведь лето и дорога не ждут! Летняя, обжигающе-пыльная, вязко-сухая дорога... ну да наши ноги попирают

песок и щебень не первый день, и мы демонстративно небрежно шагаем по всему, чего там под ногу попадает.

Пусто. Знойно. Приличный народ на покосе, неприличный, то есть мы, дни прожигает в деловитом безделии: ловим краснопёрок в дальнем пруду у станции; роём красную глину на откосе и лепим потом из неё пучеглазых кособоких кошек; дрессируем Чернушку; найдя неизвестный цветок, ликуем. А ещё летом как-то особенно дурманят голову книжки; их мало, у них скучные неяркие обложки, которые быстро обтрёпываются по краям, но куда, куда они уносят тебя под стрёкот кузнечиков, когда валяешься на старой железной койке, выставленной в огород по старости! Ох уж этот Робинзон в своей козьей страшной шапке! Зачем только соседский мальчик, братьев ровесник, срочно вырос и раздарил свои книжки ребяташкам помладше? Это было расчудесное чудо: в мои вождедеющие книжных сокровищ руки попали «Робинзон» и «Моби Дик»! А потом была куплена «Пепси», давно знаемая, мечтаемая — и, наконец, вкусно поедаемая — на огороде, под запах цветущей картошки!

И чем дальше уходит оно, детство моё, от меня — тропками незрячими, к истокам Базыра, в глушь Долгого лога — тем чаще думаю: детство — такая кладовая тайных смыслов, такой родник в тени овражей, такой заброшенный колодец! Приеду — пойду зачерпнуть водицы. В детстве боялась колодца — он мне казался бездонным, ледяным, склизким, а ещё обнаружилось, что там живут гадкие пиявки! А надо было ходить к нему по шатким мосткам, как-то набирать полные вёдра, от одного прикосновения к которым (морозная оцинкованная поверхность!) бегали мурашки, и потом волочить эту сладкую пиявкину водицу, дрожа жилками в слабосильных руках.

... Совсем недавно я побывала там, где деревья когда-то были большие. Въезжаешь в посёлок — в зелёные воды памяти погружаешься: там так всё сонно замерло, словно остановилась, полегла в бессилии — или усталости — суета человеческая, только одинокое недоумение в коровьих глазах да пугливое прядание конских ушей... Пустоглазы дома, пустотелы печки... Ивняком красноталым всё поросло, дылдою крапивной, заборы покосившиеся запутались по-вителью кружевной дивной...

С огорода пошла на родник за водой знакомой тропой — через дорогу, по взгорку, вниз-вниз, по осыпи мелких камешков, через Поворотный ручей, совсем заросший какой-то, ряской подёрнутый в оконцах спящей воды. Зачерпну водицы — вкус её живо напомнит о той недавней поре, что смолкой листовенничной сочится, в крови растворяется, звенит мне издалека рано на заре...

Оно по воду идёт с коромыслом стареньким,
Оно пряники грызёт на солнечной завалинке.

В нашей квартире

Входите, в посёлке нашем сроду двери не запирали. Дома есть кто?

В полутёмном коридоре — старый холодильник вместо тумбочки-подзеркальника. Рядом — деревянный загончик для хранения картошки, что-то вроде ларя. Осенью родимую ссыпают туда, и весь год в доме царит запах картофельной земли, бледных ростков, гниющих глазков. Самодельный этот ларь (закрома) накрыт сверху досками и домотканым половичком допотопных времён. Такой же половичок на полу, а у двери, помнится, всё клеёнка лежала, раз в пятилетку её меняли, а обычно мыли сверху и жили дальше. У двери низкая деревянная скамейка для обувки, вечно на ней неразбериха, словно эти чирики-ичиги сами себя пинают, а потом валяются как попало. Над скамеечкой вешалка, задёрнутая ситцевой занавеской (помнится почему-то жёлтая). Словом, в нашем быту причудливо перемешивались приметы-привычки деревенского мира и ухватки-укладки (от слова уклад) советского полунинтеллигентского быта.

Зал-гостиная в два окна, занавешенных тюлем и какими-то неприятными шторками. У окон стол полированный, и местами столешница имеет повреждения. Это папаня патроны по осени делал, и когда пыжи вырезал — перестарался: на коричневой политуре вмятины. Стол этот, за которым сделано столько уроков, съедено столько новогодних яств, написано столько всяких корреспонденций в районную газетку, теперь переехал в Красноярск — за мной — и несёт службу на кухне.

А вот старенький диванчик, колченогий, с жёсткими подлокотниками, зелёный с коричневыми штрихами, покрытый вечным псевдобархатным покрывалом малинового цвета. Под Новый год, под балет «Лебединое озеро», под непреходящую «Иронию...» происходило особо любимое мною действо: на бархатную гладь дивана вытряхивались все новогодние подарки! Счастливый миг обладания горами разновсяких конфет, мандаринов из неведомого Марокко, шоколадных батончиков и медалек! Медальки-то помните в золотинках? Ирис «Кис-кис»? Шоколадки крохотные «Сказки Пушкина»? Батончики «Спортивные»? Все эти прелести потом висели на колючей, пахнущей лесной тишиной ёлке и втихушку съедались вечерком, так что, когда ёлку раздевали, на ней оставались одни несъедобные стекляшки-блестяшки. Ну и ладно, до другого праздника! Что касается сладостей, то в будни мы грызли «Дунькину радость» или покупали кулёчек ирисок «Золотой ключик», а больше ни на что рассчитывать не приходилось. Какими заморскими дивностями мне казались присланные соседке из Прибалтики конфеты! А ладно! Зато пироги со щавелем были слаще всяких там жвачек. Щавель рос в тени огородной под полуупавшим заборчиком, вылезал едва ли не первым, топорщился пупырчатыми зелёными ладошками, радовал кислятинкой. Соберёшь охапку и идёшь себе в лес. Нет, мы не говорили «в лес», просто «на гору», как,

например, «в огород». Дом, огород, гора — всего-то три объекта, из них первые два — крепость, где чувствуешь себя вполне защищённым. Мир детский мой оказался географически ограниченным, очерченным полукружьем невысоких гор. Так и я жила на своей планетке, «всего-то величиной с дом».

Мой маленький мир, мои покои

Вернёмся в нашу казённую квартирку на улице Гагарина. Теперь пройдем в спальню; когда я стану строптивой отроковицей, я таки добьюсь себе этой комнаты в полное и безраздельное владение. Стучите деликатно, если хотите войти! Дверь, между прочим, я сама красила! Проходите. Говорите: «О!» Это мой личный уютный мирок, мышья норка, мои покои красные, тайные. У стены железная кровать, над ней нитяной коврик советского пошиба, пёстренький такой, дешёвый, с геометрическим рисунком. Сагу о ковриках вы ещё услышите! Это сейчас мне решительно всё равно, висит что-то на стене или нет. А во времена досюльные ковёр на стене был не просто знаком престижа, нет, это была большая часть благополучия и красоты убогого мещанского жилища.

В красном углу — радиола, здоровенный ящик с панелью чёрных клавиш. А сверху крышка. Открываем! Что там за пластинка стоит? Дунем на иголку, аккуратно её на голубую полупрозрачную поверхность (это не винил, а гибкая пластинка!). «Маленький принц поднялся на вершину самой высокой горы...» Папа покупал мне всё детство журнал «Колобок», между страницами которого лежали крылышки голубых гибких пластинок! Они стали одной из немногих радостей моего детства (и, кстати, неплохим воспитательным и образовательным средством). На этих голубых крыльицах прилетели ко мне и «Маленький принц», и «Принцесса на горошине», и «Айболит», и фрагменты из «Детского альбома» Чайковского, и сладкие кусочки новогоднего «Щелкунчика»... Песенки с пластинок выучивались сами собой, сказки разыгрывались перед куклами, зайцами, медведями. Целые рассказы Драгунского потом с успехом рассказывались публике или просто себе. Рисунок интонаций впечатался навсегда. Хотите, изображу «Не хуже вас, цирковых!» или «Профессор кислых щей»? Словом, эти недолговечные, криво вырезанные невесомые кружочки были неподдельными сокровищами, настоящим неразменным рублём моего детства. Журнал я, конечно, любила тоже, но он прочитывался так быстро, картинок было много, а текста мало... А вот пластинка говорила сама, ей можно было вторить, под неё можно было танцевать! Песни, выученные с пластинок, были с упоением распеваемы на огороде, под взлёт качелей, специально для моего вестибулярного аппарата выстроенных. Можно было качаться хоть полдня! То гора летит на тебя, то ты от неё улетаешь, глотая ветер!

Мыть подъезд и читать почту — вот это занятия!

Мыть подъезд не так-то просто. Не всякому доверяют это ответственное дело. Но когда-то надо учиться, говорит мама, вытаскивая старое зелёное эмалированное ведро с водой на площадку нашего второго этажа. Наша очередь дежурить. На дворе непроходимая осень, непролазные грязи, а потому в коридоре есть чем заняться. Пол деревянный, крашенный, щелястый, когда-то красно-коричневый. Сначала, показывает мама, надо подмести, причём влажным веником, чтобы пыль не поднялась в воздух. Площадка становится пёстро-грязной, с весёлыми разводами там и сям. «А ты пока поди вытряхни половички!» Я собираю разномастные коврики, стараясь не дышать тучей недельной грязи, которая открывается под вязаными выцветшими и вытертыми кружочками. Когда-то, понятно, они были весёленькими и полосатыми наподобие радуги, эти самовязанные крючком домашние половички. Потом родимые перекочевали под дверь, под ноги гостей, немилосердно терзающих радугу сапожищами. Поблёлка радуга, и сейчас я пытаюсь вытрясти из неё въевшуюся пыль. Я стесняюсь трясти эти жалкие обрывки, я закрываю глаза, чихаю от пыли и бегом тащу этот ворох на второй этаж. Наш корявый половик пахнет Чернухиной шерстью.

«Теперь надо промочить щели», — продолжает мама, берёт изрядно намоченную тряпку — и плюх её прямо на эти самые щели. И так надо обшлёпать весь этаж и лестницу. Безобразие, да и только! Лужи по всей площадке! Попробуй пройди, пьяный сосед Оська! Просто какая-то морская палуба! А теперь мама начинает мыть: сначала очень мокрой тряпкой, потом выполаскивает её в том самом зелёном ведре, выжимает (у мамы кривоватые пальцы от артрита) и протирает почти сухой тряпкой. Вода очень быстро делается помойного вида, и я выношу её (если нет свидетелей, выливаю прямо на дорогу). Потом мама доверяет попробовать мне. Получается неважно: руки слабосильные, ни нажима, ни выжима, глаза полуслепые. «Не видишь, что ли, в углу немыто?» Не вижу. Скоро начинает ныть спина, и в глазах рябят какие-то тёмные точки. Стучит в висках. Лестницу мыть проще. Надо прихватывать по три ступеньки, но обязательно возвращаться и протирать насухо. А то начнёт капать на головы проходящим соседям. «А, помощница подросла», — говорит тётя Стюра, неся ведро пороссятам. В ведре плавают разваленные куски чёрного хлеба. Каждое утро Стюра идёт за хлебом с коричневой сеткой и возвращается, неся на горбу булок десять серого, по пятнадцать копеек (чушек кормить). Я домываю последнюю ступеньку и с чувством гордости выношу последнее ведро отработавшей своей воды. Возвращаясь, с удовольствием расстилаю отдохнувшие половички под каждую дверь — Анне Семёновне, тётя Тасе, Оське, нам. Кто это там уже идёт, топчет мой непосильный труд? Почтальонша! То-то! Я первая встречаю нашу почту! Маленькая тётя с востреньким

сморщенным личиком, смешной фамилией Колпакова и огромной почтовой сумкой вручает мне «Пионерскую правду», «Советский спорт», «Серп и молот» и — у меня сжимает горло, к самым глазам подступает знакомое ощущение — новый номер любимого журнала «Пионер»! Счастью моему сегодня не будет конца! Измерить его нельзя! Но, кажется, судьба вознаграждает меня за вымытые ступеньки: ещё не всё! Почтальонша лезет в боковой карман сумки и достаёт письмо — от Маринки! Горло связывает слёзная спазма, я бормочу «спасибо» и тащу ворох корреспонденции в хату. В зал, на диван! Никому не дам, первая читаю! Да возьмите свой «Спорт»! Всё, я не знаю, с чего начать, захлебнувшись радостным возбуждением. С письма, с письма! Конвертик, подписанный старательно, но ещё не очень твёрдо, пришёл из Красноярска, от Маринки (мы с ней этим летом твёрдо договорились писать друг другу). И вот уже третье письмецо! Ну-ка...

«Здравствуй, Лена! Мы живём хорошо. Я нашла у себя дома книжку. Помнишь: «Открываем сказочный лес, попадаем в страну чудес». Посылаю тебе на память две открытки: про юг, где была мама. И про Москву, где тоже была мама». «Как там наша баба? Напиши хоть про неё, как там она». Это Маринка спрашивает про Анну Семёновну, нашу соседку. И почти всё письмо — загадки и ответы. Это мы решили друг другу присылать разные загадочные вопросы, а то частенько содержания для письма не хватало. Например: «Зачем продавец в магазине работает?» (За прилавком, конечно!) Эх, письмо махонькое! А вот журнала хватит дня на три! Он отложен на сладкое. Сначала надо проштудировать «Пионерскую правду». От последней корки до первой странички. На последней обычно есть рубрика с головоломками, ребусами, загадками. «Ума палата» называется. Там ещё шибко умная сова нарисована! И непременно продолжение про Алису Селезнёву. Мама не зовёт ужинать, знает: бесполезно, если я упала в журнал. Сначала надо посмотреть, попробовать на вкус каждую страничку, не читая, но только любуясь заголовками, картинками, обнюхивая буковки. Вот оно, продолжение «Колыбельной для брата»! В героя этой крапивинской повести я влюбилась с первых строк. На секунду я отрываюсь от бесценных своих сокровищ (не смейте прикасаться, пока я не прочитала!) и бегу в кухню, хватаю пару чёрствых пряников из шкафа — и мигом обратно. Всё, порядок. Каменные мятные пряники, полвека провалявшиеся в сельмаге, грызутся долго, а повесть Крапивина всё не кончается...

Чердак

Когда нас первый раз потянуло на чердак, на эту шаткую лестницу, на эту тайную палубу? Скорее всего, начитались «Тимура и его команды», а может быть, мы полезли туда за своими любимыми кошками. Вообще-то Маринкина бабушка не позволяла трогать всяких бездомных

кошек, пугая непонятными, но жутковатыми словами: эхинококк, стрептококк, стафилококк. Выходило по пословице: страшнее кошки зверя нет! Но Светка, в которой дух вольницы перешагивал все запреты и страхи, находила кошек за каждым сараем, гаражом, на речке... Однажды где-то в лесу нашла кошку с тремя ноздрями, больную. И надо же было куда-то их потом девать! Мы устраивали наших найдёнышей в коробке на чердаке и таскали им туда молоко. Кошки вырастали и разбегались, мы находили новых подопечных и так паслись на чердаке всё лето. Пахло там совершенно по-своему: стекловатой, сладковатой дохлятинкой, кошжиной шерстью, старой одеждой, пылью... Ходили, крадучись, переступая по балкам осторожно, боялись, что взрослые прознают о наших поползновениях на чердак и прекратят это безобразие. Там валялись куски старого толя, какие-то ящики, клоки старых одежек, фуфаяк-обдергаек, опять же башмаки дырявые... Сокровища! На чердаке царил вековечный сквозняк, и в самый томительный зной там было прохладно, как на палубе средиземноморского лайнера. Стоя у чердачного окна, мы воображали себя капитанами лёгких парусников, бороздящих бескрайнюю лазурь небесных морей!.. До чего ж страшно было заглядывать в колодец двора, быть выше всех, выше ласточек на телеграфных проводах!

Позднее, в отрочестве, мои чердачные одиночные бдения были окрашены переживаниями сердечного свойства, обидами на родителей... Выплакавшись на чердачном сквозняке, я возвращалась домой, примирившись с жестокой действительностью.

Конечно, о нашей чердачной жизни (и кошачьем воспитательном доме) узнали, ужаснулись, заложили квадратный проём-лаз массивной деревянной крышккой — и одним чудесным местом на свете стало меньше. Но что там особенно горевать! Свободу передвижения нам особенно не стесняли: можно было идти на речку и на стадион, на железную дорогу и на водомерный пост — раздольное лето лежало перед нами, манило огненными жарками, и мы бежали вслед за волшебным колобком, за венериным башмачком, катились яблочком за кудрявым облачком...

Котятки

Мы канючили и кланчили, мы заводили сагу о кошке каждый день, надеясь на мягкосердечие взрослых. Поначалу нам разрешили взять котят, но не носить (ни в коем случае!) их домой. Как раз у соседки снизу (забыла её фамилию) кошка подрастила котят, их осталось двое. «Один чёрно-белый, другой бусенький», — сказала соседка. Что такое «бусенький», мы не знали. Маринкин Мурзик, щупленький, с вострой мордочкой, с тонюсеньким трогательным писком, дался в руки сразу, тёрся розовым носиком в ладошку... А бусенький? Когда бывшая хозяйка вынесла его в коридор отдавать нам, он от ужаса

стал метаться и дико прыгать на стены и двери! Мы с Маринкой вдвоём начали сужать круг, ловя испуганного зверёнка с огромными глазищами, которые от паники были ещё больше. Густую шерсть он взъерошил и сделался похож на шаровую молнию! Метнулся под лестницу и чуть не убёг в подпол. Поймали трусишку! Долго он ещё боялся и щемился. Но красивенький такой! Шерсть густая, длинная, настоящая сибирская, глаза круглые, в полморды, пятна на белом немыслимой расцветки — как будто какую-то леопардову шкурку сверху накиннули, с чёрными крапинами. Кончик шерстинки золотой. Вот что значит бусый! Хвост полосками, а чёрную кисть на конце, словно обмакнули в молоко.

Так мы сделались счастливыми обладателями своих котёночков: у Маринки Мурзик, своего бусенького красавчика и бояку я назвала Барсиком. Поселили детёнышей в коробке на чердаке. Там им было раздольно, что и говорить. Только вот Мурзик почему-то заболел. Однажды я зашла к Маринке, а она в слезах: Мурзик ничего не ест и с хрипом дышит. Что с ним было, мы не знали, но угасал он на глазах, маленький, жалобный, жалкий, таял и уже не мяукал, не плакал, а сипел; видно было, как с каждой минутой из него уходила жизнь... Слёзы лились сами собой, и помочь было нечем.

...Похоронили мы Мурзика на нашем маленьком кладбище под старой высокой лиственницей на заброшенном стадионе. Там по-маленьку стали появляться могилки: подобранные воробьи, птенец ласточки, выпавший из гнезда, невесть откуда появившийся у нашего ручья вальдшнеп с разорванной грудкой, новорождённые котятка Светкиной кошки, которых мамаша отказалась вскармливать...

А вот бусенький Барсик остался жить у нас. После смерти Мурзика, после наших безутешных слёз мне разрешили поселить Барсика сначала у нашей двери, а скоро пришёл день, когда пугливого пушистого котёнка впустили в квартиру. Он, прижимаясь к полу, пробежал до туалета. Там и жил первое время, потом перекочевал в мою комнату и, наконец, стал полноправным членом нашей семьи. Барс, Барсик, Барселон Иванович, мой ненаглядный бусенький котятко.

Николай Найдёнов

Капитон и Капитоныч

Обычно в это время подтаёжные поля-заплатки, отвоёванные у природы с помощью топора и лопаты нашими далёкими предками, серебрились заморозками, землю сковывало рано; но нынче осень затянулась, и потому старенький, до предела изношенный за войну тракторишка всё ещё копошился в поле. Окутываясь дымом и пылью, громыхая разболтанными узлами, то и дело останавливаясь для мелких ремонтов, он всё-таки тянул свою хлебоборбскую лямку. О нём можно сказать то же самое, что лётчики говорят о самолёте штурмовике ШГ: он вытянул на своём горбу всю войну.

Трактор работал километрах в трёх от деревни. За рулём машины — молодая женщина Клава Баранова. И лицо, и одежда у трактористки в пыли и мазуте. Такая же чумазая, если не больше, и прицепщица Поля Филатова. Обе они в замасленных ватных телогрейках, в холщовых юбках, натянутых поверх штанов. На голове трактористки — мужская кепка, повёрнутая козырьком назад, который хоть сколько-то прикрывал от пыли её роскошные золотистые косы, аккуратно уложенные на затылке. Прицепщица Поля — ещё совсем молоденькая девчонка, в платке шалашиком с куцым узлом на голой шее, в солдатских ботинках, зашнурованных сапожной дратвой.

Трактор работал в две смены. Ночью работал преимущественно мужской экипаж. Зато уж если Клаве удавалось добыть хоть сколько-нибудь муки, она обязательно утром, придя на смену, угощала мужчин горячими пирогами. Пересменки обычно проходили утром, сразу после восхода солнца, и вечером, перед заходом.

Сегодня тракторист Капитон Стародубенко и его помощник прицепщик Гоша пришли на смену раньше обычного: предстоял профилактический ремонт двигателя. Трактористу тридцать пять лет. Он тощий и бледный, с палкой, одет в защитный армейский бушлат. Прицепщик Гоша — курносый длинношей подросток в коричневой кепчонке с задранном козырьком, в тужурке, сшитой из английской шинели, в броднях домашнего покроя, перехваченных ниже колен сыромятными ремешками.

Притащился на пашню и шестилетний Мишка, сын тракториста. Мишка щеголял в отцовской пилотке с красной звездой. Имел свои отличительные черты и пёс Бухтя — а был он вислоухий и как смоль чёрный.

Увидев сменщиков, Клава выгнала трактор на межу и заглушила двигатель. Неторопливо выбралась из-за руля, спустилась на землю. На её пыльных щеках забороздились две дорожки, явно от слёз.

— Ты плакала ли, чо ли? — спросил Капитон.

— Может быть, и плакала, — тоскливо ответила Клава, отряхивая с себя пыль.

— Что так? Поди, нездоровится? — пристально всматриваясь в лицо напарницы, допытывался Капитон. — Или дома какая-нибудь неприятность?

Клава, махнув рукой, ничего не ответила. Вытащила из инструментального ящичка большой самокованный нож и начала очищать двигатель от грязи. Капитон и прицепщики тоже принялись очищать трактор от грязи, Мишка с трудом раздирал сбившиеся на отвалах плуга корневища. Потом Клава полезла под трактор, отвернула картерные болты, и вместе с трактористом они сняли картер. Капитон сделал подтяжку шатунным подшипникам. После этого поставили картер на место, залили масло, запустили двигатель. Прицепщики тем временем подлили в радиатор воды. Так между ними распределились обязанности уже давно, и это в какой-то степени делало их труд менее тягостным.

— Ну что, девчата, ещё попашете или домой пойдёте? — спросил Капитон.

— Ещё попашем, — ответила Клава и полезла за руль.

Прицепщица Поля вскочила на плуг. Трактор, набирая обороты, глухо заурчал и покатился в глубь поля, поплёскивая шпорами.

Пока трактористы делали подтяжку и другой кое-какой ремонт, ребята натаскали на межу соломы. Теперь все сели отдохнуть.

Погода ветреная, прохладная. Но когда показывалось из-за туч солнце, становилось теплее, к нему, как к костру, хотелось протянуть руки.

Неподалёку от того места, где сели сменщики, стояли две бочки, одна — с водой, другая — с керосином. Валялись по меже грязные изогнутые вёдра, воронка заправочная, на боку лежал полуразбитый ящик с солидом. Капитон послал Гошу посмотреть, много ли в бочке керосину. Прицепщик толкнул бочку ногой и крикнул:

— Пустая! А вон и дядя Вася плетётся.

Подъехал на повозке заправщик, одноглазый голобородый старик Василий Колупаев, в дублёном затёртом полушубке, в подвязанных, как и у прицепщика Гоши, броднях. Протёр рукавом слезящийся на ветру глаз, гнусаво завёл:

— Ну, икипаж машины боевой, на смену притопали?

— На сме-е-ену, — добродушно ответил тракторист, а мальчик, приплясывая, запел:

— Три танкиста, четыре тракториста — экипаж малины боевой!

— Ну и артист у тебя, Капитон, растёт! — заметил дед Василий и занёс было ногу, чтобы выбраться из телеги.

Но потянувшаяся за клочком травы лошадь дёрнула повозку, и старик с задранными ногами опрокинулся обратно на дно телеги.

— Стоять! — выпучив глаз, заревел Колупаев.

Ребята захохотали, а Капитон взял лошадь под уздцы. Выбравшись с великим кряхтением из телеги, дед шутейно потрепал Мишку за ухо:

— Тебя как звать-то, шельмец?

— Капитоныч, — ответил мальчик.

— Так навеличивают тебя, а я спрашиваю, как тебя звать!

— А ещё давно-давно звали меня Мишкой, — прищурившись, покрутил головой мальчик.

— Я так и подумал, что тебя Мишкой звать, — подмигнул дед Василий.

— А откуда ты узнал, что меня Мишкой звали?

— А оттуда, что ты косолапый, а всех косолапых зовут Мишками.

— Папка говорит, что израстёт, — озабоченно сдвинул бровки парень.

— Когда израстёт косолапость, тогда будем звать тебя Михаил Капитоныч, а пока — Мишка, да и только, — старик вынул из кармана складной ножичек и, подавая его Мишке, сказал: — Бежите с Гошей вот в тот сосняк, там рыжиков должно быть навалом.

Ребята отправились в лес, а Колупаев, присаживаясь к Капитону, спросил:

— Слышал новость?

— Нет, не слышал, — пожал плечами Капитон. — Да, собственно, и услышать негде было, я сегодня, считай, и со двора не выходил. Утром со смены пришёл, позавтракал, лёг отдохнуть. В обед почтальонка письмо от друзей принесла, обещают на днях в гости приехать. Топчан сбил из досок, а то вдруг и впрямь нагрянут, а у меня и положить их не на что. Матрасовку взял вот с собой, надо соломой набить.

— Набей да положи ко мне в телегу, вечером завезу.

— Это верно, дядя Вася, не забыть бы только приготовить, — забеспокоился Капитон. — Набитый матрац и тащить-то чертовски неудобно.

— Вчера Костя пришёл из армии, мужик твоей напарницы, — сообщил Колупаев.

— Хорошая новость. Но мне почему-то утром Клава ничего не сказала, я мог бы этот день поработать за неё.

— Значит, нужды такой не поимелось, — замысловато сощурился старик и, тронув Капитона черешком бича, добавил: — Муж-то, слышь-ка, мимо ворот пыхнул. Говорит, скурвилась Клашка.

— Оговорили, наверно, женщину, — поморщился Капитон. — Я уже второй сезон дорабатываю с Клавой и ничего худого за ней не замечал. Непутёвую бабёнку ведь сразу видно.

— К тебе её лепят. . .

Старик хотел ещё что-то сказать, но тракторист его перебил:

— Сейчас я, дядя Вася.

Капитон выкатил из травы чурку, поставил её на попа, сел.

— Не могу сидеть на земле, ноги немеют, и спина нудит.

Растирая рукой занемевшие ноги, Капитон вернулся к прежнему разговору:

— Ко мне, говоришь, прилепили Клаву?

— Бабёнки давно уж тарыхтят об этом,— не поднимая головы, ответил старик.

— Что ж, на каждый роток не накинешь платок,— вздохнул Капитон.

Прикрывшись ладонью, он посмотрел на солнце, нырявшее в осенних облаках, потом перевёл взгляд на работающий вдали трактор.

— До смены ещё далеко,— угадывая мысли тракториста, сказал Колупаев.— А мне надо, пожалуй, коня распрячь, пускай малость попасётся,— засуетился старик.

Пока горючезов возился с лошадьё, Капитон разжёл костёр, вытряхнул из полевой сумки с десяток запасных тракторных свечей, стал их очищать от нагара. Рядом с собой поставил котелок с картошкой. — Хочешь ужин сварганить? — усаживаясь обратно на солому, спросил старик.

— Да вот жду, пока зола нагорит,— подправляя костёр, ответил Капитон.— Ребята любят больше печёную картошку...

— Это верно,— подтвердил Колупаев.— А я всё вот о чём хочу спросить тебя, Капитон. Приехал ты к нам в колхоз Бог знает откуда, работаешь, стало быть, как ударник или, может, даже как стахановец, а мы ничегошеньки про тебя не знаем. Говорят, с женой из-за инвалидности брак развёл... Слухи ходят, как вроде бы по мужской нестоятельности. Али как?.. — любопытно выставил голый мясистый подбородок старик.

Капитон промолчал.

— Ты мальчонку-то сам вырастил до ентих летов?

— Совсем крохотным остался без матери,— ответил Капитон и снова замолчал.

Колупаев полез в карман за кисетом.

— А с фронта давно прибыл? — удерживая губами клочок газетной бумажки, спросил старик.

Тракторист опять не ответил.

— С фронта-то, говорю, давно пришёл? — громче обычного повторил, переспросил Колупаев.

— Я быстро отвоевался. В сорок первом взяли, а зимой сорок второго привезли обратно.

— Как то есть так привезли? — перестал слюнявить бумажку старик.

— А вот так,— качнул головой Капитон.— Две медсестры привезли, потому что недвижим был.

— В ту ирманскую я тоже кое-как до своего порогу довололся; обе ноги перебил собака немчура и глаза лишил,— помрачнел на минутку старик.

— Мне позвоночник осколком наджабило,— постукал себя по спине кулаком тракторист,— вот ноги-то у меня и отказались было служить.

Ещё в госпитале врач предупреждал: «Дела твои неважны, Стародубенко, на ноги ты скоро не станешь». — «Что же, — говорю, — тогда тут валяться понапрасну? Отправляйте меня домой». Думаю себе: дома у меня корова, Нюра отпоит молочком. Нюра — это жена моя. Так он и сделал, в тот же день заготовил все нужные документы, попрощался со мной об руку, а ночью меня уж в вагон заволокли санитары. Кое-как отвоевали девчата для меня нижнюю полку, сами присели в проходе на свои же вещички, тронулся поезд. Всю ночь в вагоне не стихает колготня, крики, давка, матерщина, а на станциях крыша у вагона так надсадно трещит железом, что, кажется, вот-вот провалится: там тоже идёт посадка пассажиров.

На третьи сутки перевалили мы через Урал. В Ишиме пробилась в наш вагон старуха с двумя мешками. Остановилась напротив меня и говорит: «Ты, служивый, ноги-то подобрал бы немного, старуха и сядет на уголок!» Я ей толмачу, значит: ты, мол, бабка, сама их передвинь ближе к стенке да и садись. Передвинула она мои неживые ноги, села на уголок и залилась слезами. Плачет и одновременно развязывает свой мешок, достаёт небольшую чашечку с картофельными оладьями, подаёт мне: «Поешь, сынок, должны быть ещё тёпленькие». Подаёт чашечку, а сама отворачивается: наверно, такой у меня видок был, что она не могла без слёз смотреть на меня. Не помню, чтобы я когда-нибудь что-нибудь ел с таким волчьим аппетитом. Проглотил несколько оладушек, подаю обратно чашечку. «Ешь всё, — говорит, — ешь, ешь», — машет рукой, а сама так и не смотрит на меня. «Так ведь ты, мамаша, кому-нибудь везёшь их, — говорю, — надо же человеку оставить». — «Угадал, сынок, старика у меня набилизовали, на заводе в Омске работает, вот и везу ему подкрепление. Эти-то ты ешь, я ему свеженьких состряпаю, картошка, слава Богу, есть».

На восьмой день пути привезли меня медсёстры домой. Подъехали на военкоматовских санях к моему жилью, а я и свой двор признать не могу: ограда сугробищами замечена, во дворе никакой живности не видно, прорезаны лопатой две узенькие тропинки: одна — на улицу, другая — к поленнице, вот и всё. Сразу же понял: коровки-то, оказывается, уж нет у нас. Невольно подумалось: до чего же захудалая жизнёнка наша — не успел я съехать со двора, как тут же всё и развалилось.

Прибежали соседи, помогли девчатам занести меня в избу. Обшарил я взглядом внутренность хаты и ужаснулся: шестилетняя дочка Маруся сидит на печке, как смерть бледная, полуголодная, и не подходит даже ко мне. Этот вот барахтается в зыбке (месяца за три до моего ухода в армию родился), ножки тоненькие, голова большая, а в глазах уже недетская тоска замерла, мне смотреть в них страшно было. И в дополнение ко всему этому — я пожаловал на носилках...

Вскоре прибегает и Нюра с работы. Обнимает меня, а сама всё плачет да говорит: «Миленькие вы мои, мне и покормить-то вас

нечем...» Согрела кипятку, заварила какой-то травкой, поставила на стол чашку с парёнками из брюквы и свёклы, несколько кукурузных лепёшек положила — вот и всё угощение. Мои сопровождающие попили чаю со своим пайком, девочку накормили, да с тем и уехали.

Остался я на хозяйстве бревном. Нюра от темна до темна на колхозной работе, ставят на бумаге ей палочки — трудодни, значит. А что за них получишь? Да ничего, просто дурачат человека... Тут-то я, дядя Вася, и потерял было равновесие в жизни. Хотя мне и пенсию назначили, да что за неё купишь, когда буханка хлеба на базаре сто рублей стоила? Зачем, думаю, семью объедать приехал? Надо было уж или в госпитале валяться, или в инвалидный дом идти. Нюра где что добудет — всё мне несёт, сама недоедает, детишки полуголодные. К весне, говорит, я всё равно поставлю тебя на ноги. Утром и вечером она мне их растирала и травами парила. Когда рана покрепче затянулась, так она и спину стала мне растирать.

И вот ведь, дядя Вася, какая штука получается, — отложив в сторону отвёртку, продолжал Капитон. — Правду говорят: одна беда не ходит, она всегда с хвостом, треклятая. Приносит мне как-то почтальонка пенсию, расписался я в ведомости, получил деньги и после её ухода говорю жене: «Позови ко мне, Нюра, колхозного председателя, мне поговорить с ним надо». Достал я из-под подушки свои документы, подаю ей. Развернула она книжечку, улыбается: «Стриженный-то какой ты смешной...»

Нюра уже оделась, чтобы отправиться в контору, когда вошёл её брат Ермола, в длинной чёрной шубе, в красной матерчатой опояске, в барашковой шапке. Суёт мне левую руку для приветствия (правую прострелил себе в самом начале войны). Поздоровался я с ним, приподнявшись на локте. Рука жёсткая. Помню, с раннего детства питал к нему неприязнь. Он тоже ненавидел меня и зашёл, скорее всего, подгоняемый людской молвой: ведь я был первый вернувшийся фронтовик и как-никак считался ему роднёй.

Отошел он от моей кровати, заткнул полу за опояску, сел, облокотившись одной рукой на стол. Нюра стоит у двери снаряжённая. «Ты далеко это, Нюраха, собралась?» — спрашивает он сестру. «Да вот Капитон за председателем посылает — может, чем поможет», — деловым таким тоном отвечает Нюра. «Милостыню просить?» — усмехаясь, спрашивает Ермолай. Воронёные брови сразу вроде бы кверху полезли, потом съехались к носу, лицо посуровело. «Фронтовику должны помочь», — отвечаю. «Всё равно этот вопрос мы будем решать». — «Кто это вы?» — удивился я. «Мы, парторганизация и я, как парторг». — «Ты уж в партию залез?» — вырвалось у меня. «Не залез, а поступил», — заходил туда-сюда по комнате Ермолай, остановился возле моей кровати, упёр в меня кровавые глаза, сопит быком, и до тошноты разит от него самогоном. «А если поступил, так и рвался бы туда, где труднее». — «Не тебе решать, куда мне рваться. Партия знает, кого куда направить». — «На оборону тёплого места возле

кормушки». — «А ты зря так сильно кричишь, я ведь могу тебя и лежачего отправить на Колыму».

Нюра околесила брата, машет руками перед самым его носом: «А ты, Ермолай, не имеешь прав так говорить. Капитон вот поднимется на ноги и как фронтовик тоже пойдёт на руководящую должность!» Сперва Ермолай злобно захохотал: «Рукавадяшший! Правда, что рукавадяшший! — передразнил он сестру, потом так страдальчески сморщился, словно бы тошнота к его горлу подступила. — Под себя серет этот рукавадяшший, а туда же лезет!..» — «Такая уж участь моя, Ермолай, — отвечаю как можно спокойней, хоть чувствую, что меня уж колотит изнутри. — Ты вот в руку себе сам пальнул, — говорю, — а мне фашист в спину лупанул осколком, значит, разница меж нами получилась очень даже большая...»

Вот тут-то он и вздыбился, мне было лучше уж не трогать его: одно дело — пьяный человек, другое — властью набалован. Чувствую, разговор наш мирно не кончится. Ермолай мечется по избе, быком ревёт: я кормлю, мол, эту урвань, а он на меня же гавкает! Сучит волосатым кулаком Ермолай. Я подтянул поближе к себе костыль. Костыли у меня с приезда стояли за козырьком кровати, хоть пока и без надобности. Положил руку на костыль, жду удобного момента. Ермолай изрыгает самую отборную матерщину, пушит меня на чём белый свет стоит. Если бы я мог ухватить Ермолая, я бы стал рвать его зубами, такой лютой злобы во мне никогда не было, ни до этого случая, ни после. Лежу, дрожу весь, а сам думаю: «Подойди, подойди же, гад, поближе!..» Наконец я изловчился и концом костыля достал таки Ермолая по морде. От такой неожиданности он остолбенел: уж он никак не думал, что я на него нападу. Вижу, скручиваются узластые пальцы, как кошка выпускает когти. «Меня бить?!» — заревела багровая харя. Наверное, прихлопнул бы он меня тогда, если б не Нюра...

Капитон надолго замолчал, гоняя по лицу желваки, что-то туго и тупо пережёвывал. Колупаев тоже долго молчал, потом, завозившись на соломе, спросил:

— Она что ж, Нюра-то, небось вытолкнула его из избы?

— Ну-у-у, такого зверя и нам бы с тобой не вытолкать, — очнулся Капитон. — Когда он кинулся ко мне, Нюра повисла на нём, не дала ему ходу. Раз он попробовал стряхнуть её с себя, два, а на третий как двинет её в грудь кулаком, она, бедная, и повалилась. Видно, всю звериную ярость вложил он в этот удар, который мне готовил. Видно, разрядился, гад, — меня он уж не тронул. А может, просто не захотел руки марать о кусок дохлятины. Только подошёл к кровати, вlepил мне в лицо жёлтый харчок и ушёл. А уходя, так хлопнул дверь, что со стен и потолка известь градом рухнула, вроде бы снаряд фашистский поблизости разорвался. «С тобой я потом рассчитаюсь, пр-р-рохвост!» — пригрозил он с порога.

Я зову: «Нюра! Нюрушка! Милушка моя!» А у ней изо рта кровь струйкой потекла, пенится возле губ. Я мечусь в постели, хочу хотя бы упасть на пол и не могу: совсем покинули меня силы. Дочка, как на грех, где-то запропастилась, мальчонка в зыбке ревет лихоматом, аж посинел весь и охрип. «Эй, люди добрые, кто там есть где живой, помогите!» — заревел и я во всю глотку, надеясь, что кто-нибудь услышит меня. Да кто бы там услышал? Жили мы на отшибе, окна до половины занесены снегом, на стёклах в палец слой льда. Заскулил я, как зверь в капкане: и плакал, и ругался, и кулаками в стену колотил. Потом думаю: нет, дурным воем от беды не открестись. Отодвинул от кровати подальше табуретку, зацепился костылём за прибитую к стене лавку, рванул из изо всех сил и опрокинулся вместе с кроватью на пол. Взял с табуретки баночку с водой, для меня которая стояла, дополз до Нюры, побрызгал на неё водичкой. Очнулась милушка моя и сразу спрашивает: «Тебя он не тронул?» Поперхнулась кровью, закашляла. И я ответить не могу на её вопрос: сдавила горло спазма, головой только мотаю, как немтырь, такая жалость меня разобрала...

С великим трудом поднялась она с полу, затащила меня обратно на кровать. Оно хоть и весу-то во мне было не больше как пуда три, а всё тяжесть. Уложила меня, пошла, покачиваясь, к кадушке с водой, пополоскала себе во рту и легла рядом со мной. «Болит грудь у тебя, Нюра?» — спрашиваю. «Болит не так чтоб сильно, а что-то мешает там, — показывает пальцем на грудь. И опять кровью сплюнула. — Что же мы теперь будем делать? Ведь от него мы подкармливались...» — «Позови, говорю, ко мне председателя колхоза, я поговорю с ним...» А она горько так покачала головой: «Председатель сам его побаивается».

С того дня жизнёнка моя ещё больше сгорбилась. Нюра работала на очистке семян, вручную женщины крутили триер, веялку, весь день в пыли, на холоде, а грудь у неё нездоровая. Придёт вечером домой, умоется, сядет возле стола и встать не может. По щекам пошёл какой-то пятнистый румянец, нет-нет да и кровью сплюнет.

С позволения кладовщика, а кладовщиком был её брат Ермолай, иногда она приносила зерно в карманах. Заварим его в горшке и питаемся. После ссоры с Ермолаем я ей посоветовал не брать больше зерна, может дело кончиться совсем худо. Картошки, говорю, у нас полное подполье, как-нибудь перезимуем. Несколько дней приходила она без зерна, жили без каши. Опять же Маруся стала хныкать: «Мамка, я ись хочу, свари каши». Да и сама Нюра с удовольствием ела распаренную пшеницу. Работала она, как и все колхозники, без выходных, но воскресенье всегда и все старались чем-то отметить, хотя бы что-то сготовить повкуснее. Вот и Нюра решила нас побаловать кашей: насыпала в карманы пшеница да в варежки по горсточке бросила — и попалась, бедненькая. В воротах её задержали сельсоветские контролёры, повели в контору обыскивать, составили бумагу и сразу

же посадили в сторожку под замок. Говорят, брат прямо принародно хлестал её по лицу vareжкой с зерном. Под замок попала Нюра не первая, уже несколько человек получили сроки от двух до семи лет за воровство колхозного зерна. Нюре даже домой сходить не разрешили. Вечером мы её ждём не дождёмся, вот уже и стемнело, а Нюры всё нет и нет. Отправил я Марусю мать разыскивать. Вернулась девочка домой — и прямо с порога: «А мамку посадили». — «Ты её хоть видела?» — спрашиваю. «Я хотела подойти к окошечку и позвать мамку, а сторож меня палкой прогнал».

И вот я, молодой мужчина, не могу помочь своему лучшему другу, каких у меня не было и не будет. Да будь я на ногах, я разметал бы по бревну эту избушку, в которую упрятали мою подругу, я пошёл бы на любое преступление, уж лучше б я сгнил в тюрьме, но её я бы защитил. Однако вместо действия я лежал и плакал. Так за всю ночь и не сомкнул я глаз. Рано утром мы с Марусей напекли картошек, положили в сумочку кукурузные лепёшки, которые у нас ещё оставались, и девочка понесла матери передачу. Но её уже спровадили из деревни — милиционер увёз в район. Сторож передал девочке материны серьги да несколько конфеток: видно, кто-то из сельчан пихнул ей узелочек с продуктами на дорогу, или ещё до ареста где-то сама раздобыла для ребятишек. А мне написала Нюра записку.

Капитон сморщился, посидел так с минуту, потом достал из кармана полуистлевшую от времени бумажку, осторожно развернул её и прочитал: «Прости, миленький, не успела тебя на ноги поставить. Никого у меня не было на белом свете, кроме тебя, а в груди у меня хлюпает, может быть, они и до тюрьмы меня не довезут, а в сенках, в кадушке, есть немного муки пшеничной, там же в узелочке горсточка сахара, я хотела на Пасху испечь вам караличек, теперь уж вы сами. А Ермолаю ты не мсти, он не виноватый — жизнь такая, что всё худое выпячивается».

Спрятав записку, Капитон опять помолчал, заговорил хрипло: — В районе её всего два дня и продержали-то, документы сляпали и отправили в городскую тюрьму. Через месяц её должны были судить в нашем клубе. Да только она, миленькая, не дотянула до суда — умерла в тюремной больнице. Долго мы об этом ничего не знали. Да лучше бы и не знать — всё какая-то надежда была. Уже после войны вернулся из заключения наш деревенский мужик, в то время он работал санитаром при тюремной больнице. Вот он и рассказал о Нюриной смерти.

«Врач велел мне идти за ним, — рассказывает мужик. — Из камеры вывели бледную-пребледную женщину, но я всё равно её сразу же узнал и поздоровался. Врач ослабил: землячку, мол встретил, ну вот и веди её в больницу. Нюрка пошатывалась, я всю дорогу поддерживал её, а сам всё спрашивал и спрашивал про своих родных, про

Покатилровку. Ей было трудно говорить, кровь мешала, она её сплёвывала и торопливо обо всём мне рассказывала. В больнице питание было получше, и я через знакомую санитарку иногда передавал ей что-нибудь из продуктов, мы жили повольнее, но она ничего не ела и скоро скончалась. Второй раз я её увидел уж в морге. Через несколько дней мы повезли её хоронить, да не только её — всего было пять трупов. Мы с другом только этим и занимались: копали могилы и хоронили. Обычно мы ездили в закрытой машине и возили по два-три трупа, а на этот раз было пять, и везли мы их в обыкновенной грузовой машине. Охранник сидел рядом с шофёром, мы в кузове примостились возле кабины, среди своего груза. Хоронили заключённых в специальной зоне за городом, тоже всё было за проволокой. И обычно ночью: днём копаем могилу, а ночью везём покойников. В тот день мы выехали чуть раньше обычного, ещё засветло, на машине не было никаких отличительных знаков — ни красного креста, ни какого-либо другого знака, обычная полупторка. При выезде из города случилась большая авария: в нашу машину врезался лесовоз. Шофёр с нашей машины и охранник сразу же погибли, а нас вместе с трупами раскидало по дороге. Мы с другом кое-как вытащили из смятой кабины шофёра и охранника. Они были в крови, и мы перепачкались кровью. Забрали винтовку и патроны у охранника и начали стаскивать в кучу трупы. Стаскали, закрыли брезентом. А шофёр и охранник лежат отдельно. Вокруг нас уже и людей порядочно собралось, но близко никто не подходит. Я похаживаю вокруг места катастрофы с винтовкой. Одна женщина, видно медичка, подошла ко мне и спросила, не нужна ли помощь. Я сказал, что все спокойно спят. Но она всё равно пощупала пульс у охранника и у шофёра и после этого тоже отошла в сторону. Наверно, не раньше как через час приехал на попутной машине милиционер, хоть мы наказывали сообщить об аварии в тюрьму. Милиционер хотел забрать у нас оружие, но мы сказали, что отдадим винтовку только своему начальнику. Машины ходили редко, телефона близко не было, милиционер ещё долго топтался вместе с нами, пока появилась машина. На ней он поехал в тюрьму за нашим начальством. Уже стемнело, а толпа всё не расходилась. Приехали наши начальники на крытой машине, мы им сразу же вручили винтовку и патроны. Начальник сказал, что не забудет об этом и записал наши фамилии. Сперва увезли в морг трупы шофёра и охранника, а мы с другом продолжали охранять свой груз. Наконец приехала милицейская машина, увезли шофёра с лесовоза. Машина его почти не пострадала, только верх кабины немного смяло брёвнами. Её отогнали в сторону. И уж глухой ночью пришла машина за нами и нашим грузом, приехал новый охранник. Наверное, часов шесть мы были с другом на воле. Перекинулись мы, конечно, и такой мыслишкой: «Убежим?» Да сами же себе и ответили: а куда бежать? Кругом тюрьма, идёт война. Отвезли, закопали мы и эти пять трупов,

среди них была и Нюра Стародубенко. А нас с другом дня через три расконвоировали, поселили в бараке для медиков, медики в основном были тоже заключённые, но жили в бараке этом и вольные. Так до конца войны мы с другом одним делом и занимались: днём копали могилу, ночью хоронили. Редкая неделя обходилась без похорон. После войны нас сразу же освободили».

Вот такое поведал мне земляк. Сам он стал как лунь белый, и глаза у него какие-то нечеловеческие, что-то безжалостно-змеиное в них. Я видел такие глаза ещё у одного человека, тот, опять же, несколько лет расстреливал, как он говорил, изменников родины. От этих глаз мурашки ползут по коже.

По жнивьям одна за другой накатами бежали тучевые тени. Старик бессмысленно провожал их до темнеющей линии хвойного бора и некоторое время даже не ощущал, что собеседник молчит. В одночасье и ветер улётся, гул от трактора потонул за перевалом. Сделалось так тихо, что Капитон вздрогнул, когда дед Василий вдруг заговорил:

— В войну у нас тут немцы ссыльные тоже ух как лютовали, так и звали нас: швайн раин,— на каждом углу гавкали: рус капут. А потом раненые солдаты подходить стали, в момент им глотки позаткнули костылями.

Капитон не отозвался. Старик потрогал его за плечо:

— А ты, Капитон... как тебя по батюшке-то?

— Владимирович,— подсказал Капитон.

— Ты, Капитон Владимирович, не пытался этого самого Ермолая притянуть куда следует за избиение сестры? — спросил дед Колупаев.

— Все подачки идут в райком через него, тамошние начальники вместе с ним пьянствуют, распутничают. Всё это одна шайка — и районный секретарь, и милиция, и суд, и военкомат. Хлеб сеять некому, всех трактористов на фронт отправили, а охотнику бронь дали — дичь для них добывает. Так кому же жаловаться? Собаке на собаку? К тому же Нюра взяла с меня клятву, что я не буду ему мстить за неё. И ещё скажу тебе откровенно, дядя Вася: я боюсь его, чуть только что прознает — сразу же прийдёт меня, у него рука не дрогнет, и хитрый, и везучий, гад. В тридцать седьмом двоих его братьев, старшего и младшего, посадили, а он каким-то образом целёхонек остался. В начале войны пошёл вроде бы на охоту, прострелил себе руку, и опять всё сошло. Видно, нашёл где-то такого же гада, замазал дело. Потом пролез в кладовщики, сам жирует и кого надо подкармливает. — Такого голой рукой не схватишь — как налим, скользкий,— вставил дед Колупаев.

— Именно так, дядя Вася. Кому стаканом самогона сознание замутит, кому лишний килограмм муки колхозной сунет, а кого и просто волосатым кулаком припугнёт. Вот и попробуй связаться с ним! За себя, допустим, я не очень беспокоюсь: был Капитон Стародубенко, не стало Капитона Стародубенко — потеря невелика. Мог бы я, конечно,

и потягаться с Ермошкой, а случится что со мной... ребятишки куда без меня?

— Явственно понимаю тебя, Капитон Владимирович, — отозвался дед Василий. — Как же ты потом-то с маленькими детьми без ног жил?

— Осталась у нас в доме главной шестилетняя дочка Маруся. И вот я тебя спрошу, дядя Вася: откуда в ней взялось такое взрослое понятие, что она теперь хозяйка? Ведь сама-то от горшка три вершка, а дело как повела!.. Побежит в колхоз паёк получит, мальчонку обмоет, накормит, печку натопит. Дров Нюра, спасибо ей, заготовила на всю зиму. Так её и за дрова беспокойство стало брать. Смотрю, принесёт да и принесёт какого-то хворосту. «Это откуда, Маруся, такой шипыжник носишь?» — спрашиваю. «Да я, папка, боюсь, что нам дров не хватит, хожу в забоку...» Чахленький лесочек за огородом там был у нас, так вот она, значит, решила пополнить запасы дров. Уберётся в материны валенки, её же шаль наденет, пойдёт в забоку, наберёт вязаночку хворосту, свяжет верёвочкой, взвалит на спину себе и, как старушка старенькая, топает по тропинке. Худенькая такая, черноволосая, остроносая, под мышками подвяжет материну юбку — ни дать ни взять цыганушка, весь день, как юлка, из угла в угол мотается. Вначале я всё командовал ею, а потом вижу — нет нужды в этом.

Старик Колупаев развалил на колене большой замызганный кисет, предложил закурить и Капитону. Но тот брезгливо сморщился, мимоходом бросил:

— Не нахожу удовольствия в этом вредном занятии, — и продолжал: — Что тебе ещё скажу, дядя Вася. Кажется, уж горше нашей жизни и не придумаешь, а Маруся поставит, бывало, в закутке осколок от зеркала и начинает прихорашиваться: и платьице огладит на себе, и ленточки в косички вплетёт, ещё и повернётся туда-сюда, как актриса какая, — вот она, природа женская, она и в дите видна!

Капитон торчком поставил руки на колени, с трудом поднялся, прихрамывая, походил несколько минут по меже и опять сел на свой чурбак. Старик всё ещё мусолил сигарку.

— Этому учить их не надо, — пыхнув дымом, с запозданием отозвался Колупаев и, покрутив растопыренными пальцами возле виска, добавил: — Фигли-мигли у бабы всегда на переднем планте! Я эту породу дюже хорошо изучил, — хитровато сощурился старик. — А ты, по-моему, тюфяк насчёт баб. Ету же вот Клашку другой бы давно уж оформил, — старик стянул с себя лохматую баранью шапку, пригладил ладонью пегие, свалывшиеся на затылке волосёнки. — Сам себе я вот сейчас поразмышлял, пока ты прохаживался, и так рассудил: ужисть какая занятная у тебя жизнь, Капитон Владимирович! А роман был у тебя хоть с одной бабёнкой?

— Такой роман был, что уши вянут, как вспомнишь, — покачал головой Капитон. — Расскажу тебе всё по порядку. Голодно тогда было, сам

знаешь, но что-то да ведь ел я, питался, как и всякая живая тварь: где какой кашей, где парёнками из брюквы, где картошкой. А раз питался, значит, и оправляться надо. Так вот, в первый же день, как Нюру увезли, попробовал я сам подсунуть под себя утку — ты, должно быть, знаешь, что это за штука, раз в госпитале лежал, — и ничего у меня не вышло, кроме как весь перепачкался. Крепко я задумался тогда о своей жизнёнке. Но, как говорят, мир не без добрых людей. Есть они и у нас, эти добрые люди.

Приходит вечером к нам Майра, подруга Нюры, жила она неподалёку от нас, и говорит: «Я ведь понимаю, Капитон, твоё горе, буду помогать тебе, пока Нюра вернётся». Опустила глаза, стоит передо мной красивая, грустная, застенчивая хакаска. На щеках, кажется, ещё и слёзы не высохли от пережитого великого горя: недавно получила она похоронку на мужа. Я тоже понимаю, о чём она говорит. Наверно, Нюра попросила её за мной поухаживать. И стало мне невыносимо стыдно и больно за свою немощь. Буркнул что-то в благодарность и замолчал.

Вместе с ней пришёл к нам её трёхлетний сынишка. Подходит ко мне ближе такой строгий парень, чёрные бровки концами в небо стреляют, ресницы, что грачиные крылья, хлопают, а из-под них смоляные глазки буравчиками сверлят. «Ты почему, дядя Капитон, всё лезыс и лезыс?» — спрашивает он меня. «А я, Тода, цыплят высизываю», — отвечаю. «Не-е-е, курицы цыплят высизывают», — недоверчиво посмотрел на меня Тода. «У дяди Капитона ножки болят, вот он и лежит», — подсказала мать. Смотрю, за пазуху полез Тода. «На, поездий пока на моей масыне!» — мальчик подал мне самодельный грузовик. Принял я транспорт от Тоды, провёл рукой по его чёрной щетинистой головке и захлюпал носом, расчувствовался... Вскинул чайкой бровки Тоды, тербит меня за руку: «А ты не плачь, дядя Капитон! Бери хоть насовсем мою масыну! Папка с фронта придёт — другую мне сделает!» Теперь Майра отвернулась... прячет лицо.

— В самую болячку ткнул, пострелёныш! — хлопнул себя по колену старик.

— Да-да, ему ещё непонятно, что такое похоронка. Я кое-как проглотил мешавший мне комок в горле и говорю: «Лады, Тода, поезжу пока на твоей машине». Майра подходит к зыбке, склоняется над ребёнком и говорит: «Ну, как ты тут, Капитоныч, не подмок? Подмо-о-ок», — сама же и отвечает. Я лежу да и говорю: «На это мы с ним оба мастера — и Капитон, и Капитоныч». Как она захохочет, да так по-семейному свободно и просто, что у меня сразу от сердца отлегло, я перестал её стыдиться. До сих пор не знаю твёрдо: Нюра её попросила поухаживать за мной, или сама она так решила? Но, в общем, с того дня Майра и надела на себя хомут: и за детишками доглядывала, и из-под меня горшки носила. Мало того, она ещё и кормила нас, последнее

отдавала. Держала она коровёнку, с превеликой трудностью добывая для неё корм. Да и какой там корм был, Господи прости: бродит бедная скотиньяка по деревне, сшибает где сена клок, где вилы в бок.

Так вот, какое-никакое молочишко она скармливала нам. И что ты скажешь, дядя Вася: через какое-то время у меня ноги зашевелились, слышу, как мурашки поползли от бёдер и до самых пяток. Начал я помаленьку высоту набирать: сперва на локтях елозил, потом на вытянутые руки стал подниматься, а одной ночью мне так легко стало, что я даже сел на кровати. Увидела меня Маруся в потёмках сидячим — как закричит! Я сперва подумал, что она во сне это. Оглянулся, а она тоже сидит. «Ты что, Маруся?» — спрашиваю. «Ой, я думала, это домовой!» — «Никаких домовых нет, — говорю, — и не существует. Мне легче стало, вот я и сел». Успокоил её кое-как, а сам до утра не мог заснуть, начал уже трактором бредить. Тебе не надо рассказывать, как весна действует на человека: пахнет вспаханной землёй — и всё. Я и так голову положу, и эдак — пахнет землицей...

Вскорости я уже начал пробовать подниматься. Маруся уйдёт к Майре или во дворе что-нибудь делает, а я по-над стенкой доберусь до зыбки и поговорю с сыном: «Пахать землю нам надо с тобой, Капитоныч, весна уж на дворе». Малыш сучит худенькими ножонками и всюю улыбается мне, показывая два зубика. Наговорюсь с ним досыта — ползу обратно по-над стенкой к своей кровати. За день стал делать рейсов по пять к сыну, а то и больше.

Всё чаще стал я поглядывать на костыли, которыми снабдили меня ещё в госпитале и которые пока что стояли за козырьком кровати без дела. Один раз я, правда, попробовал «покататься» на этом транспорте, но тут же упал, крепко зашибся и по этой причине опять надолго отставил их в сторону. Хоть и знал, что рано или поздно, а осваивать ходьбу с костылями мне придётся, да всё тянул.

Где-то в начале апреля принесла мне почтальонка пенсию, расписался я в карточке, деньги она мне оставила на столе, ушла. Подзываю к себе поближе Марусю и говорю: «Сходи, дочка, в контору и позови ко мне какого-нибудь начальника». Думаю, может быть, за деньги мне выпишут муки или пшена. Ушла девочка в контору и почти весь день там проколючивалась. Приходит домой, спрашиваю: «Почему ты, Маруся, начальника не позвала?» А она отвечает: «Я позвала начальника, а он сказал: сегодня некогда. Других начальников там не было». Позднее мне рассказывали: зашла Маруся в контору, прижалась к косяку дверному и зыркает глазёнками по сторонам — угадывает, значит, какой же тут начальник. Выходит один мужчина от председателя, в костюме и при галстукке. Подбегает она к нему и спрашивает: «Дядя, а ты начальник?» — «Начальник», — отвечает тот. «Папка тебя зовёт к нам». — «Что-что?» — не понял сразу начальник. «Папка велел мне позвать тебя к нам», — повторила Маруся. «А кто твой папа?» — «А который тракторист, на

самом краю живёт», — показала Маруся пальцем. «Чья это девочка?» — спросил начальник у колхозников. «Это дочь Капитона Стародубенко», — ответили. «Он разве дома?» — спросил начальник. «Привезли его военные девчонки, уже который месяц постелю мажет», — ответила за всех высокая угрюмая трактористка Дарья Хлебалина. Маруся вышла на секретаря райкома. Своих-то она начальниками не считала, а потому и протолкалась весь день в конторе, надеясь увидеть начальника.

Так никто ко мне и не пришёл. Повздыхал, повздыхал я, да и начал осваивать ходьбу на костылях — надо как-то самому добираться до начальника. Девочка то и дело стонет: «Папка, я ись хочу». И сам я уж с трудом глотал сухую картошку. Молочишко, которое приносила нам Майра, в основном съедал малыш. Хлеба хочется, а его нет. Пока Ньюра работала в колхозе, нам давали понемногу муки. После её ареста стало просто невыносимо. При Ньюре и соседи чаще заходили к нам, теперь же словно вымерла деревня.

Начал я активно учиться ходить на костылях. Несколько дней стучал костылями по полу, тренировался в доме. Потом выбрался в ограду. Говорят, был я в то время как смерть бледный. Да это и не удивительно, ведь я уж несколько месяцев не был на свежем воздухе. Мало-помалу я всё-таки освоился с костылями. Помню, понедельник подгадал, день солнечный и тёплый. Я решил добраться до колхозного склада. Мог бы пойти даже в гимнастёрке, погода хорошая, но я надел бушлат — костыли не так давят под мышками. Да и цель у меня была — нагрузить карманы зерном, уж калеке, поди, не откажут... Шагаю по улице, поскрипываю костылями, смотрят на меня сограждане как на что-то диковинное. Бушлат расстёгнут, на груди у меня поблёскивает медаль «За отвагу». Иду по своей деревне, вижу знакомые лица. Но почему они так неприветливы? Почему никто даже не остановился и не спросил: как живёшь, Капитон? Боятся, что калека будет что-то или о чём-то просить?..

Добрался я до склада, захожу под крышу, вижу бурт пшеницы, женщины в паре крутят веялку, третья засыпает зерно наверх. Подошёл я к ним ближе, работу приостановили, смотрят на меня вопросительно, молчат. Мне долго стоять нельзя, боюсь — упаду, ноги давно уж дрожат. Сразу же и объявляю: «Я, бабоньки, пришёл зерна в карман набрать». Молчат, как воды в рот набрали. Я подошёл вплотную к бурту, а согнуться не могу, чтобы зерна набрать. «Насыпьте мне зерна в карманы», — прошу бабёнок. Ни одна даже с места не тронулась. «Падлы вы, — говорю, — бессердечные, у меня ребятишки с голоду пропадают, а вам горсть колхозного зерна жалко!» — «Ты, Капитон, хочешь, чтобы нас за твоей Ньюркой в каталагу отправили? Тут даже пожевать зерна нельзя, увидит кладовщик — может вместе с языком вырвать», — сказала Варя Букина. А Груня Кустова подбежала, сдёрнула с меня шапку, зачерпнула ею зерна и подала мне: «Перегружай

в карманы скорее!» И ведь кто-то капнул, позднее Груне дали за это шесть месяцев принудки.

Пошкандыбал я домой. Прямо с порога пшеницу в горшок — и в печку. Каша ещё не сварилась, а мы с Марусей уже черпаем её ложками и едим. За этим делом и застали нас начальники — пришёл к нам секретарь райкома и секретарь местной парторганизации Ермолай Ворсин, родственничек мой. Маруся подала им табуретки. Сел секретарь районный и так это по-свойски заговорил: «Отвоевался, говоришь, Капитон? А я и не знал, что ты приехал». — «Да ведь нас таких много теперь приезжает. Разве обо всех узнаешь?» — отвечаю. «Должен знать! Даже обязан знать! — резонно так воспитывает себя секретарь. — Сильно ты изменился за это время. Я помню, портрет твой висел на районной доске почёта, такой зазорный парень смотрел с него. Похудел, похудел ты сильно». — «Были бы кости, мяса по весеннему разнотравью нагуляю, — шучу вроде бы. — А я вас тоже помню, — опять же говорю, — приезжали вы ко мне на поле, потом в районной брехаловке хвалёнку такую написали: по шесть гектаров, мол, за смену пашет хлебороб Стародубенко. Хоть это и брехня была. Шесть гектаров-то я вспахал за сутки, а не за смену, как вы нарисовали. Перехвалили малёхо». — «Агитация нужна, понимаешь? Надо звать массы клучшему», — говорит секретарь. «Понятное дело, только хлеба из неё не испечёшь», — говорю.

Но секретарь вроде бы и не заметил моего замечания и переводит разговор на новую тему. «Ну и какое впечатление с войны вынес?» — спрашивает он меня. Ермолай сидит, ворочает кровавыми белками. Чую, ждёт, чтобы я чего лишнего сболтнул. А я терплю. На себе-то давно крест поставил, но деток малых осиротить боюсь. Пусть и калеченый, а всё-таки отец. «Немцы, — говорю, — народ трусливый и жадный, зря патронов не тратят, стараются побольше убить или искалечить нашего брата. Но мы не сдаёмся, знаем, за что на смерть идём, верим, что в тылу нас всегда поддержат». Вроде ничего такого вредного и не сказал, а Ермолай взъелся: «Слышишь, куда он клонит?» И секретарь услышал. Они своих псов с полуслова понимают. «Вон ты какой тип. Мы хотели как-то скрыть твоё преступление». — «Что за преступление?» — опешил я. Нет, честное слово, не врубился, куда он клонит. «Ты украл колхозное зерно, мы тебя застали с поличным, в твоём горшке колхозное зерно. Ты и жену свою нацеливал на воровство, за что она и была привлечена к ответственности».

И вот тут меня взорвало. Когда он Ньюру мою зацепил, терпелю не осталось. «Преступление, что вы заставили фронтовика питаться чем ни попало. Не я вор, а вы воры. Вы берёте по надобности, вон какие жирные у вас морды, а я и мои дети должны умереть с голоду...» — «Вы деклассированный элемент, мы должны вас изолировать от общества за антисоветскую пропаганду!» — вскрикнул секретарь и выбежал из

избушки — видно, ещё и по той причине, что мальчонка обмарался, и такое зловоние поползло по хате, что было отчего и убежать.

Гостей с оружием долго ждать не пришлось — в тот же день приехали в тарантасе два милиционера. Написали бумагу, заставили меня расписаться. Пришла Майра, плачет, навязала на себя горе, бедняжка. «Не бойся, Капитон, ребятишек я не брошу», — говорит мне. Тяжко мне, но я креплюсь. Предложили дома оставить медаль и всё металлическое. Взял я костыли, вышел к тарантасу. Эти гады не должны видеть моей слабости. Терять нечего, я им даже частушку спел: «Все партийцы — кровопийцы, ох, зима холодная. Нацепили Дуне орден, а она голодная».

Затолкнули они меня в тарантас, и вдруг страшная боль пронизала мне спину. Я заблажил и потерял сознание. Очнулся уже на своей кровати. Смотрю, милиционер стоит посредине избы. Сейчас, говорит, подъедет колхозник на телеге, он тебя повезёт. В телеге ты сможешь даже лежать. Обрадовал. Подъехал мальчонка, милиционеры помогли мне забраться в телегу, повезли. До райцентра двенадцать километров. Заехали в милицейский двор. До КПЗ я уж сам не мог пройти, вели под руки, правильнее сказать — волокли, потому что ноги опять отказались служить.

В камере обнял меня пьяный мужичонка в военном костюме, спрашивает: «Тебя где взяли?» — «Дома», — отвечаю. «А меня в ресторане заграбастали, я эту курву пнул, официантку, понимаешь, просил ещё сто граммов — не даёт, понимаешь, я её и пнул. А она, не будь дура, брякнула в участочек, меня и упрятали. Ты фронтовик?» — «Фронтовик», — отвечаю. «И я фронтовик», — говорит мужичонка. Я и без того понимаю, что он фронтовик, вижу подоткнутый под ремень пустой-рукав гимнастёрки. В камере десять человек, места свободного на нарах нет. Я уж собрался было лезть под нары, потому что смертельно устал от этой передраги, но когда заключённые узнали, что я не пьяный, а больной, дали мне место на нарах и даже помогли забраться на лежанку.

В районном КПЗ просидел я неделю. Надо сказать, что жизнь в этом заведении прямо-таки кипела: за неделю её обитатели почти целиком обновились, фронтовика освободили, других поувезли в тюрьму. Никто меня ни о чём не спрашивал, не допрашивал, мало-мало кормили. В понедельник и меня повезли в тюрьму, в ту самую, где скончалась моя незабвенная Нюрушка.

Капитон заплакал, дядя Вася запokaшливал, но, тут же справившись с собой, тракторист продолжал:

— Выехали из района мы рано утром, но ехали до города долго: примерно на полпути спустило переднее колесо. Колесо переставил шофёр, но, опять же, двигатель не запускается — схватывает, а оборотов набрать никак не может. Слышу, крутит шофёр вручную,

стартёр, видимо, неисправен. Я уже начал замерзать в своей будке, конвоир бегаёт вокруг машины, греется. «Поставь пораньше зажигание», — кричу я шофёру. «А как его ставить пораньше?» — спрашивает он меня. «Выпусти, — говорю, — меня из клетки, я тебе помогу». Я гонял на фронте «газончик» такой. «Совсем выпустить?» — смотрит на меня через решётку шофёр. «Да если и совсем выпустить, я всё равно не убегу», — отвечаю. Конвоир открыл дверь, помог мне сползти на землю. Шофёрик молоденький — видно, только с курсов; хоть и в этой собачьей форме, а не похож ещё на милиционера. Держится подальше от меня — видно, подозревает во мне крупного преступника. А мне так приятно прикоснуться к железу, меня волнует запах бензина. Бегут по дороге грузовички, поют моторы, а у меня сжимается сердце от тоски.

Наверно, больше часу провозился я с мотором. Объясняя пацану, как и что, я устранил все видимые неисправности. Машинёшка ещё новая, но по неопытности шофёра изрядно запущена. Наконец, завели, тронулись. В город приехали во второй половине дня. Остановились возле тюремных ворот, конвоир ушёл хлопотать для меня место в камере. Долго его не было. Шофёр в это свободное время решил подкрепиться, я уловил запах консервов, мучительно завозился во мне голод; я уж собрался было попросить у шофёра кусочек хлеба, но он сам подал мне через решётку порядочный кус хлеба и дольку консервированного мяса. Проглотив это в момент, голод я, конечно, не утолил, но мне стало теплее. Конвоир вернулся с офицером, открыли мою дверь, офицер спросил: «Вы без костылей можете передвигаться?» Я ответил, что сейчас даже с костылями не смогу идти. Конвоир захлопнул дверь, и меня повезли обратно — не приняла калеку даже тюрьма...

Ещё просидел несколько дней в районной КПЗ, ноги отошли, стал понемногу передвигаться. Одним днём повели меня к следователю. Зашёл в кабинет, вижу, сидит районный главврач. Я поздоровался, но никто не ответил на моё приветствие. Врач достаёт трубку, начинает меня выслушивать прямо через гимнастёрку. Потом постучал там-сям, со мной не разговаривает и не смотрит на меня, вроде бы перед ним не человек, а чурбак, ни одного вопроса не задал. Написал бумажку, подал её молча следователю и ушёл. «Повезём тебя в больницу, вот направление врача», — показывая бумажку, сказал следователь и велел охраннику увести меня в камеру.

На второй день тот же молоденький шофёрик привёз меня на железнодорожную станцию. Конвоир был другой. Усадил он меня в вокзале на свободную скамейку и спрашивает: «У тебя деньжонки-то есть? Если есть, то давай их мне, я тебе куплю что-нибудь пожрать». Я развёл руками: «Нет, — говорю, — у меня и ломаного гроша». Ушёл куда-то мой конвоир, и целых два часа я его не видел. Появился он перед самой посадкой на поезд, был изрядно пьяненький. Как только

очутились мы в вагоне, забрался он на верхнюю полку и всю дорогу спал. Ехали мы сутки. Мне думается, что он должен был хоть раз меня чем-то покормить, но при нём, кроме пустой полевой сумки, ничего не было, и сам он ехал эти сутки натошак, и я молчал.

Сошли мы с поезда на станции Динская, я слышал про эту станцию, знал, что здесь имеется дурдом. Поезд ушёл. Милиционер мой беспокойно поглядывает по сторонам. «Обычно к поезду они присылают свою машину,— говорит он мне.— Вон она, идёт»,— обрадовался сопровождающий. Подошла машина с решётками, усадили меня в неё, милиционер передал санитару моё направление, и тут же, даже не оглянувшись, подался в вокзал.

Машина подвезла нас к приёмному отделению. Санитар завёл меня в помещение и усадил против двери с табличкой «Главный врач». Из кабинета вышла медсестра, взяла у санитаря моё направление и, называя меня по имени и отчеству, предложила пройти к врачу. Пока я перебирался с костылями через порог, врач стоял уже возле меня. «Не торопитесь, не торопитесь!»— говорил он, поддёргивая меня за руку. Был он постарше меня, горбоносый, смуглый. «У вас ранение в спину?»— спросил он у меня. Я утвердительно кивнул головой. Назвав сестру по имени, он попросил её принести для меня стул с подлокотниками. Усадил меня в удобное кресло и сам сел напротив. Смотрит он на меня по-человечески, понимаешь, вот как-то по-людски, по-свойски, вроде бы я его закадычный друг, и я смотрю на него и чуть не плачу. На добро у меня слёз целый океан, а на зло и слезинки нет. Не выслушивал он меня, не выстукивал, как наш районный варвар, а только попросил рассказать свою биографию. Я и рассказал ему всё, как вот тебе рассказываю. «Ну вот что, Капитон Владимирович,— обратился он ко мне, когда я закончил свой рассказ,— в нашем лечении вы не нуждаетесь. Я вам назначу усиленное питание, подправитесь и через полмесяца домой поедете. Да, запишите-ка вот здесь ваш точный домашний адрес,— он подал мне листок бумаги и ручку,— и идите во вторую палату, там лежит такой же, как вы, фронтовик, почти с такой же судьбой. С нашими санитарями старайтесь не ссориться, не перечьте им. Если что не понравится, обращайтесь ко мне».

Я только по приезде домой узнал, зачем он требовал от меня точный домашний адрес. Оказывается, он на второй же день отправил медсестру с продуктами для моих детишек. Назвалась она представительницей областной организации, которая помогает сиротам фронтовиков. И я вот до сих пор думаю: как только жизнь моя мало-мало наладится, я поеду поклониться этому славному человеку.

Как и обещал мне доктор, через полмесяца меня выписали из больницы. За эти две недели я хорошо подправился и физически, и духовно. Мой новый знакомый по палате оказался человеком образованным, бывший полковник, на многое раскрыл он мне глаза. Купили мне

билет на поезд, дали продуктишков на дорогу, и санитарная машина отвезла меня к поезду. Ехал я уж без всяких сопровождающих и на вторые сутки вечером благополучно добрался до родной Покатиловки.

И опять смотрели на меня земляки как на что-то диковинное. Люди, мол, гибнут в тюрьме, а Капитон даже порозовел немного и поправился. Никто, должно быть, и не подозревал, что я побывал в психушке. Шкандыбаю к своей избе. Ах, горе, горе! Ну почему мы такие ненавистные, дядя Вася? Ну, душа взрослого, допустим, изуродована жизнью, а дети-то почему такие же варвары? Отлучился я на какой-то месяц, и избышка моя, что называется, уже разграблена: пробой вырван, окна побиты, дрова растащены, стены прокопчёны — курилку, твари, устроили. Ещё как-то не успели сжечь совсем. Пошёл я к Майре на ночлег. Встретила она меня с вполне понятной радостью, Мишка улыбается, а вот Маруся не проявила радости. Видно, ей страшно не хотелось возвращаться к той старой жизни, она уже успела прикипеть к Майре, женская теплота отогрела девочку.

На второй день застеклил я окна, подправил и натопил печь, Майра побелила в избышке, принесла мне мою сбитую постелёшку, Мишкину зыбку, и мы перебрались в свои хоромы. Маруся спала на печке, а когда было сильно жарко, мостилась на лавке. До этого была у нас ещё одна деревянная кроватёшка, но ребятишки её превратили в щепки. Я прямо-таки вижу, как этот маленький герой разухабисто ломает кровать, другие смеются от удовольствия. Откуда в нас это поселилось — жечь, ломать, истязать?

На следующий день я уже самостоятельно добрался до колхозной конторы. Председатель встретил меня на крыльце. «Ты уж извини, Капитон, не имею времени и попроведаю тебя,— пожимая мне руку, говорил председатель.— Посевная на носу, а инвентарь ещё в кучу свален, семена не все подработаны, на ферме корма кончаются»,— пропуская меня вперёд, за голову взялся председатель. Зашли в контору, пододвигает он мне стул: «Садись, поговорим». Сесть на стул я отказался, боясь, что потом не встану. Стою посредине кабинета, опершись на костыли, слушаю, что говорит мне председатель.

«Вот что, Капитон, вижу, ноги у тебя никудышные, да только ходить тебе мало придётся, потому как закрепляю за тобой лошадь. А вот этот пацан будет возить тебя. Слышишь, Гришка?! К шести утра ты должен подать тракторному бригадиру транспорт!»— «Есть!»— по-военному отрапортовал мальчонка, да так неудачно взял под козырёк, что артиллерийская фуражка покатила по полу под хохот колхозников. Но он ничего, не растерялся, подхватил её с полу и опять вытянулся перед председателем. «Так ты понял, что я тебе сказал?»— строго спросил председатель. «Так точно!»— отрубил мальчик. «Иди теперь на конюховскую, готовь сбрую, телегу. Конюху я уже сказал, чтобы он тебя снабдил всем необходимым. А ты, Капитон,— обратился он уже ко мне,— завтра же поезжай в МТС, проверь готовность

тракторов, подскажи там девчатам, что надо и как надо». Гришка меня так развеселил своей военной выправкой, что я тоже козырнул, да чуть было не упал. Хорошо, что неподалёку стояла женщина, она задержала ногой скользнувший костыль.

Ни на второй, ни на третий день на работу я не вышел, потому что не мог подняться с постели: видно, в тот день перебор у меня получился, лишку походил. А приступил к работе я где-то недели через две, когда посевная шла уже полным ходом. Везёт меня Гришка к трактору, а я и не надышусь степным воздухом. Травка молодая проклюнулась, жаворонки осатанело дребезжат — мог бы ещё и порадоваться жизни, несмотря на раны свои. Но вот та хворь, — Капитон куце ткнул себя в грудь, горько сморщился, — затмила все мои радости. Не перестаёт ныть нутро, дядя Вася. И во сне она со мной, милушка, и наяву тоже. Гложет меня тоска по Нюре.

— С другой сойдёшься — малость полегчает, — буркнул дед Василий.
— Конечно, хоть из осколков, а надо слепить что-то похожее на семью, — согласился Капитон.

— Для детишков надо, — добавил дед. — Давай теперь досказывай, как пошло у тебя дело с тракторами.

— Подъезжаем мы с Гришкой к трактору, крутят девчата, заводят, значит. Я ещё издали заметил, что крутят с верёвкой — это первый признак того, что перетянули подшипники. За рукоятку взялась Дарья Хлебалина, женщина крупная, на голову выше меня, щекастая такая, но щёки не круглые, а плоские, мясистые, вислые. Глаза у Дарьи треугольничками, веки тоже вислые; в общем, лицо её казалось и суровым, и мрачным. Лет тридцать пять ей было тогда. Юбка на ней из домашнего половика сшита, вся в мазуте, конечно. Справа от неё стоит с верёвкой в руках трактористка Марина Шарaborина, фигуристая солдатка. Марина в стёганных замасленных брюках, в розовой вязаной кофточке, в мужской шапке с завязанными назад наушниками и в туфлях на полувысоком каблуке. Слева, тоже с концом верёвки в руках, стоит мордастая девка Фёкла-баптистка, родители у неё баптисты, вот и к девке прилипла эта кличка. Фёкла в куцеватом ватнике, в длинной тёмной старушечьей юбке. Вся одёжка на ней ещё чистая. Фёклу прислали помогать трактористкам, и если толк будет, то можно оставить работать прицепщицей.

Дарка, так звали её по-уличному, набирает полную грудь воздуха и с присядкой командует: «Взяли!» На первом же обороте верёвка лопнула, помощницы Даркины кубарем покатались в разные стороны. Фёклина широкая юбка веером над головой закрутилась. Дарка жеребцом ржёт: «Ой, маманьки мои, ты почему штаны-то не надела? Ить ты, как молнией ж... засверкала! Всю поляну опалила! А ну как Капитон ослепнет?..» Фёкла краской залилась, не знает, куда глаза девать. «Мамаша сказывает, девушкам штаны носить грешно», — робко

защищается Фёкла. «Вот-вот! — того пуще ржёт Дарка. — Штаны носить грешно, а ж... сверкать не грешно! Ведь тебя так любой угодник приголубит!..»

Марина, быстренько вскочив на ноги, поправила на голове шапку, отряхнулась, стоит смеётся. «А ты чо стоишь, духовку отключила? Чо щеришься, редкозубая?! Связывай верёвку-то!» — кричит Дарка уже на Марину. Марина, как на буксире, тянет по поляне свои доспехи, собирает обрывки от верёвки, ворчит: «Какого х... тут связывать-то? Одни ремки остались! Снимай вожжи, Гришка!» — кричит Марина на моего кучера. Гришка пошёл отвязывать вожжи, я тоже выбрался из телеги и стою, держусь за грядку. Чувствую, что если отпущусь, тут же упаду: опять отказали ноги. Вроде бы и не болят, а шагнуть не могу. Думаю себе: не дай Бог лошадь дёрнет телегу, и я как пить дать под колёсами окажусь. Стою так, вместе со всеми похохатываю, хоть и чувствую, что смех мой не очень весел: губы кривятся и дрожат, в душе страх.

«А ты чего прижался к телеге-ти? Ты зачем приехал? На баб поглазеть?» — это уж на меня напустилась Дарка. Опять же похохатываю стою. «Да он и впрямь ошалел, девки! Ну, Фёкла, это ты виновата, теперь тебе несдобровать! На вот палку-то, — подаёт мне Дарья мою же тросточку, — да походи малость — гляди, и разомнётся». Догадалась, видно, Дарья, почему я к телеге прикипел. Чувствую, мало-помалу оживать стали мои ноги, как бы прилив какой-то получился, и я покостылял к трактору. «Давно крутите?» — спрашиваю. «Второй день», — опустив голову, ответила Дарья. «Давайте сперва посмотрим, почему не заводится машина», — предлагаю. «А и правда, Капитон ведь старый тракторист, пускай посмотрит», — поддерживает меня Марина. Другие молчат, безнадежно поглядывая то на меня, то на трактор. «Искры, поди, нет?» — спрашиваю. «Есть! — резонно заявляет Дарка. — Без искры назад не вдарил бы, а то вон Федоре руку выбил».

Я огляделся по сторонам. «Да где она, Федора-то?» — «Никак сляпой ты? — с пензенским выговором бросила мне Дарка. — За плугом евоп кто сидит?» Шкандыбаю туда. На клочке сухой травы клубочком скрутилась девчонка. Она стонет, чумазое, почти детское личико всё в слезах. «К фершалу б её надо отправить или к бабке-костопрвке», — басит за спиной у меня Дарка. «Покажи руку, Федора. Сильно болит?» — спрашиваю. «Сильно, дядя Капитон», — всхлипывает Федора и сматывает с грязной руки тряпку. Вижу, рука выбита и в кисти, и в локте.

Сел я рядом с Федорой, взялся как половчее за её больную руку, разговариваю, поглаживаю, потом р-рывочком — р-раз! В локте рука на место стала. Федора вьюном вьётся, кричит и за больную руку мне уж больше не даёт взяться. А ещё надо кисть вправлять. Пришлось девкам держать её. Исправил я ей и кистевой сустав. Так же она, бедная, кричала, что юбчонка сзади промокла. Подзываю

я своего кучера и команду: «Гриша, спешно вези пострадавшую в больницу!» — «Есть!» — отвечает пацан. Усадили мы Федору в телегу, отправили в больницу.

Только после этого я занялся трактором. Подрегулировал зазоры в клапанах, почистил свечи, проверил зажигание, залил в каждый цилиндр понемногу масла, покрутили двигатель без свечей. Заворачиваю свечи после прокрутки, а сам говорю: «Сейчас будем заводить». — «Опять эти ремки от верёвки надо связывать?» — глянув на меня исподлобья, спрашивает Марина. «Заведём без верёвки, — отвечаю, — с полоборота должен взять — компрессия хорошая. Попробуй-ка рывочком, Дарья», — предлагаю. «Ёнтак мы будем дёргать яво до марковкинава заговенья!» — недовольно буркнула Дарья, да со зла-то как рванёт за рукоятку — трактор загудел. Несмотря на свой несуразный рост, Дарка, как девчонка, подпрыгнула и, захлопав в ладошки, начала плясать. «Поступай к нам бригадиром, Капитон!» — кричит она сквозь шум мотора. «А я и так ваш бригадир», — отвечаю. «Взаправди?! Вот подвезло-ти нам!» — Дарка скособочилась, неуклюже присела и снова давай дурачиться. А за спиной у меня трактористки во всю глотку кричат «ура».

С того дня и прилип я к машинам. За детишками Майра досматривала, а я, можно сказать, безвыездно жил на полевом стане. Работали трактора круглосуточно, и дел у меня было, как говорят, невпроворот. Ночью проснусь, прислушаюсь: гудят моторы — значит, ещё можно вздремнуть. Если какой-нибудь трактор заглохнет, сразу же отправляюсь туда. Часто ломались машины, да и трактористы всякие были.

Работал у нас на «Фордзоне» Тарас Чиплашкин, видом кривоногий раскоряка. Руки у него какие-то коротенькие, прямо как детские, и держал он их почему-то всегда нарастопырку. Был он, как говорят, и с ленцой, и с глупцой. По какой-то инвалидности его и в армию не взяли. Но по солдаткам промышлял, гад, фартово!

Дед Колупаев таким дробным смехом сыпанул:

— Вот это ты в жилу попал, Капитон Владимирович! В войну — кому кресты, а кому бабьи хвосты! Так оно спокон веку творится на белом свете. Я с той ирманской пришёл, а у меня дитёнок в зыбке бултыхается, да большенький уже, враженёнок! Ощерил два зубика, как бурундучок, и тянет ко мне ручонки. Тёща тут же стоит. «Смотри-ка, смотри-ка, Наташка! — кричит она дочери, моей жене, значит. — Дитё чувствует свою кровь!» Как гаркнул я тогда: «В кровь твою бабушку! Пять лет не был дома, откуда бы взяться тут моим кровям?!

И опять дед залился заразительным смехом.

— Так вот, этот самый Чиплашкин, — продолжал Капитон, — пристроился к конюху, женщина работала конюхом. Спала она в своей конюховке, маленькая такая избушечка на отдалёке стояла. Чиплашкин и

запохаживал туда. Отправлю его в ночь пахать, поработает с вечера часика полтора-два и бежит в конюховку. Я, конечно, немедленно обратно отправлю его на работу. Хоть и зубатился он со мною, но подчинялся. Одним вечером даю ему задание спяхать полоску гектара в полтора возле полевого стана. Закончишь здесь, говорю, переедешь на Шибаеву. Проснулся я ночью, прислушался: работает Чиплашкин. «Почему же он до сих пор не переехал на Шибаеву?» — думаю себе. Взял палку, пошкандыбал туда. Иду по полю, спотыкаюсь. «Да тут чёрт знает что!» — ворчу себе под нос. Ночь была лунная, и примечаю я, что вся полоска какими-то кругами изрыта. Метрах в ста от бригады на плуг наткнулся. Прошёл некоторое расстояние ещё — и вижу: трактор без тракториста кружится. Трактор надо бы остановить, но чувствую, что с моими ногами не сделать этого: машина по кругу идёт, промахнёшься — не успеешь заскочить на площадку, значит, поминай как звали бригадира, стопчет железная громадина.

Гребусь обратно к полемому стану: я знаю, где притаился Чиплашкин. Возле конюховки снял с себя ремень солдатский, открыл дверь, чиркнул спичку. «Ага, вот где ты, Чиплашкин Тарас, пашешь! Под одеялом пласт мягче?» Как протянул я его пряжкой раз да другой!.. Веришь ли, раму вынес на плечах — видно, забыл, в какой стороне и дверь, в окно рванул. В потёмках я, конечно, и конюху ввалил ремня, вся бригада на ноги подхватилась от её крика.

Старик Колупаев стонал, уткнувшись головой в солому:

— Ну и весёлый народ у вас проживает, Капитон Владимирович. Ой, уморил ты меня с этим Чиплашкиным!

— Всего было в войну с переизбытком: и плакали, и смеялись. Смеялись, правда, редко, но всё-таки смеялись иногда. Больше кряхтели от натуги. Мне так приходилось и на четвереньках ползать до телеги: одно время опять было отказали ноги. И ночевал в поле под дождём не раз, и падал с верха.

— Кучер-то твой где был в это время?

— Гришка к машинам потянулся. Как-то рано утром приезжаю на Тарасову, Маринин трактор там работал. Ещё издали заметил: торчат из-за крыла ноги. Сразу же догадался, что Марина, свернувшись крючком, спит на площадке, а Гришка за рулём орудует. По этой причине я его и уступил Марине, стал Гришка работать прицепщиком.

— А вот почему, к примеру, вы покинули родные места? — поинтересовался старик.

— Сейчас я доскажу тебе про свой роман, и ты всё поймёшь, — оставил руку Капитон. — Про Майру я тебе уж рассказывал. Без неё я бы, пожалуй, не смог подняться на ноги. А как только поднялся, так мы вскоре и сошлись с ней. Не ходили мы с ней ни к попу венчаться, ни в загс расписываться, просто сошлись, и всё. Примерно через год

появился у нас ещё один ребёночек, назвали мы его Васькой, теперь ему уже четыре годика. И получилось всего у нас четверо грызунов.

Живём себе, работаем, ребяташки помаленьку подрастают. За-работки сам знаешь какими были в войну: у поварихи в ведомости распишешься, что поел досыта, а больше и не спрашивай ничего. К концу войны стали, правда, зерна немного выдавать, появились у нас какие-никакие деньжонки. Я уже начал подумывать о строительстве нового дома, стал заготовливать кое-какие стройматериалы. Этой затеей я заболел ещё до войны, ещё тогда мы с Нюрой наметили место под новый дом. Война поломала наши планы. Теперь-то уж, думаю я, как-нибудь одолею свою давнюю затею. Да и, опять же, война помешала, она, проклятая, и доси горем сорит, и долго ещё будет пахнуть гарью на земле.

Зимой я вместе со всеми трактористами работал в эмтээсе на ремонте тракторов. Жили мы в райцентре, домой ездили только в выходные дни. В то время был у нас в колхозе один-единственный автомобиль — трофейный японский дизель, воинская часть подарила нам его. На этом грузовике мы чаще всего и ездили в райцентр. Как японцы называли эту машину, никто не знал. У нас же прозвали её «типатигрой». Машинёшка оказалась до того говённой, что шофёр не вылезал из-под неё, больше ремонтировал, нежели ездил.

Обычно «типатигру» пригонял за нами шофёр в субботу вечером, а тут вдруг прикатил среди недели. Подходит ко мне шофёр и говорит: «Председатель послал меня за тобой, дядя Капитон». — «Что там случилось?» — спрашиваю. «Я не знаю», — отвечает шофёр, а сам мнётся. Рассказал я своей помощнице, Дарье Хлебалиной, где, что и как, а сам поехал домой. Подвозит меня шофёр прямо к конторе, сразу же иду к председателю. Подаёт мне руку председатель и спрашивает: «Шофёр тебе дорогой ничего не рассказывал?» — «Особенного ничего не говорил, всё больше про свою «типатигру» рассказывал», — отвечаю. «Вчера приехал Сакмат Котожеков, муж твоей жены. Вроде бы как с неба свалился», — председатель говорит, а сам уткнулся носом в стол, на меня старается не смотреть. «Сакмат тоже весь израненный, — продолжает председатель. — И осколками его било, и пуля навывлет через грудь прошла, и ножом его фашисты резали — послушаешь, так волосы дыбом встают. Потом в плену, говорит, был, а после плена, сам знаешь, отсидка полагается. Домой пришёл — и дома беда: жена сбежала. Старики просили меня поговорить с тобой. Если Майра не пожелает вернуться к мужу, то пускай, мол, хоть ребёнка отдаст отцу».

Я молчу сижую. Сказать, что рад возвращению Сакмата, — всё равно никто не поверит. А мне хочется бежать к Сакмату: он мой лучший друг детства, с ним мы в одном отделении отслужили действительную, в один день ушли на войну. Председатель мне ещё что-то говорит, но я уже плохо его понимаю. Я встаю и иду к Сакмату. Он встретил меня на крыльце, мы обнялись. Выбежал его отец, тербит меня за

спину: «Старуха говорит, иди посмотри, они вроде бы дерутся. А они не дерутся, а плачут».

Зашли мы в дом. Мой приёмный сынишка Тода уже здесь. «Видел, какой у меня папка?!» — хвастается мальчик. Заныло у меня сердце, и я понял, что отца родного заменить невозможно. Нам, конечно, есть о чём поговорить с Сакматом, но разговор не клеится. Мы знаем, почему он не клеится, однако никто не наосмелится заговорить о главном. «Поговори насчёт семьи-то», — улучив подходящий момент, намекнула мать Сакмата. Сакмат горько усмехнулся: «Успеется». Старик закричал. Тода, открыв ротик, уставился на меня, будто впервые видит. Сакмат ходит туда-сюда по комнате. Сел я к столу, облокотился, думаю. Через время поднимаюсь и говорю: «Одевайтесь-ка все, да идёте к нам, там обо всём и поговорим». — «Дельно! — согласился Сакмат. Ему тоже тяжело, но он шутит: — Гвардия, строиться!» — подаёт команду своим старикам.

Из дому вышли мы все вместе. На следующей улице я завернул в магазин, они пошли прямо. Купил поллитровку, поторапливаюсь домой. Встречные пытаются заговорить со мной, но я отмахиваюсь, тороплюсь как могу. Захожу в свою избу.

«Здравствуй, — говорю, — Майра Коолаевна, давай будем гостей потчевать». А она стоит у припечка как окаменелая, глаза наплаканы не этой минутой. Тода к отцу прижался, на шаг от него не отходит. Майра полезла в ящик, достала похоронку, подала её Сакмату. Читает Сакмат эту страшную бумажку, виновато улыбается. Старуха-мать сидит, наморщилась, старик вздыхает. Маруся прибежала из школы и прямо с порога — к Майре. Обняла её за талию, зыркает на всех глазёнками с таким видом: «Никому не отдам маму!»

Нет-то нет, отошла душой немного Майра, полезла в погреб за солониной, собрала на стол. За обедом я сказал Майре: «А теперь подумай, Коолаевна, с кем век доживать». — «Вот для тебя, Капитон, может быть кто-нибудь дороже Ньюры?» — спросила она, в свою очередь, меня. «Нет, — говорю, — такой женщины на свете больше нет!» — «Вот и для меня дороже Сакмата никого нет! И нечего мне обдумывать: если Сакмат простит меня, я сегодня же вернусь к нему».

Пообедали мы все вместе в тяжёлом молчании. Сакмат к водке не притронулся, в основном мы со стариком её и выпили. Вечером я сходил в конюховскую, запряг коня, сложил на подводу все Майрины вещички, положил два мешка муки и отвёз её к родному мужу. И у меня нет к ней обиды, я, может быть, даже ещё больше стал её уважать, хотя жизнёнка моя после её ухода, конечно, круто изменилась.

Пока я работал в эмтээсе на ремонте тракторов, за детишками Майра досматривала. Я стал уж привыкать к своему новому положению, но подкралась новая беда.

Месяца три после приезда Сакмат держался, не выдавал своей главной болезни, а потом сорвался — запил. Сперва пропил какие

были деньжонки, потом принялся мотать одежонку, стариков стал нагло обирать. Пил одеколон, денатурат — да, в общем, пил всё, что сколько-нибудь пахло спиртом. Отвёз я им осенью воз пшеницы — он и её продал и пропил. В семье начались скандалы, по селу поползли, как змеи, ядовитые сплетни. Не оставили, конечно, злые языки и меня в стороне: все сошлись на том, что спился Сакмат из-за меня. Говорили, что будто бы Майра ко мне ночью бегаёт, и много другой грязи вылили на наши головы. Подумал-подумал я, да и подался из деревни. Таким вот образом я и очутился у вас.

Ребята уже давненько вернулись из лесу с грибами. Гоша незаметно подсосался к взрослым, Мишка в сторонке что-то мастерил.

— А где теперь ваша Маруся, дядя Капитон? — завозился на соломе Гоша.

— Верно-верно, девочки-то почему-то нет при вас? — поддержал его дед Василий.

— Маруся осталась пока у Майры, привязалась она к ней, как к родной матери.

Капитон встал. Дед Колупаев тоже поднялся и мелкой иноходью пустился вдоль межи.

— Что, замёрз, дядя Вася? — спросил Капитон.

— Начисто продрог, Капитон Владимирович!

— В шубе — и замёрз! — осклабился Гоша.

Дед усмехнулся лукаво, сощурил глаз:

— Она ить у меня на рыбьем меху, шуба-то.

Старик распахнул полы, и все увидели облезлые овчины.

— Хоть на барабан без выделки натягивай, — шутил старик.

Игравший до этого в стороне Мишка тоже вдруг подхватился и, хлопая в ладошки, закричал:

— Идёт, идёт!

Трактор отделился от чернеющей вдали пахоты и направился к меже.

— Ну, кажется, напахались девчата, едут сменяться, — опираясь на палку, похромал по меже Капитон. — Гоша, управляй шприц солидолом.

Подросток вытащил из кустов ящик со смазкой, мальчик поднёс ему шприц.

— Подбросит тебе, Капитоныч, отец: смотри, ты ведь всё брюхо солидолом извозил себе.

— Не-е, не подбросит, — резонно заявил Мишка, — он сказал, что я твой помпотех... Усёк?

— Ха! — вскинулся своей долговязой фигурой Гоша. — Я сам помощник тракториста, или, по-другому сказать, прицепщик.

— Ну, ты пускай прицепщик, а я твой помпотех, вот и всё! — не сдавался Мишка.

Старик никак не мог согреться. Он всё ещё трусцой рысил по меже, хлопая себя по бокам. Набежав на Капитона, приостановился:

— А ты, Капитон Владимирович, Клашку приголубь, очень даже завлекательная бабёнка! Язык у ней, правда, жгучий...

— Клава мне в дочери годится, дядя Вася,— вздохнул Капитон.

Трактор, поблёскивая шпорами, вкатился на поляну, остановился, взревел, пыхнув синим дымом и паром, и, клацнув собачками магнето, умолк, плюнув напоследок чёрным отстоем масла.

— Добрый вечер! — поприветствовал девчат Капитон.

— Здравствуй,— выбираясь из-за руля, устало ответила трактористка, а молоденькая прицепщица Поля просто улыбнулась, обнажив на предельно чумазом лице как снег белые зубы.

Старик подвёз ближе бочку с керосином, вместе с трактористкой они стали заправлять топливный бак горючим. Прицепщики пошли чистить плуг, отцепленный на развороте. Мишка увязался за ними, Капитон, подобрав нужные ключи, полез под трактор. Клава стояла на мостике трактора и принимала от Колупаева ведра с керосином, выливая затем горячее в бак.

— Стали фронтовики помаленьку возвращаться,— начал старик.— Вчера подвёз двоих, в Осиновку правились.

Клава молча вернула ведро.

— Говорят, у тебя с Костей что-то не поладилось? — удерживая ведро, задрал голову старик.

— А то ты не знаешь, ангел-хранитель! — злобно ощерилась трактористка.— Теперь эти костыли нарасхват! С ходу ловят!

— От жены-подруги никто не побежит,— буркнул Колупаев.

— Кобель жены не знает! — парировала Клава.— Ты вот старше уже, а всё глазом косишь на юбку!..

— Мне, милая, ещё в ту ирманскую немец начисто косилку отсёк!

— Я бы всем вам, кобелям, косилки поотсекла! — злобно захохотала Клава.

— И ты тоже хороша! — вытянул, как журавль, шею старик.— Меньше бы хвостом крутила, так и Костя не убежал бы из дому.

— Ты стоял возле моих ног, старый сплетник?! — задохнулась Клава и запустила в старика ведром.

— Истинный Христос, она сегодня от газу одурела! — спрыгнул с телеги старик.— Больше я вам не помощник, Капитон Владимирович,— эта тигра может вполне далее нанести мне телесный ущерб! Всю шубёнку залила керосином, теперь мне её возле поскотины снимать придётся!

Капитон выбрался из-под трактора.

— Да у вас тут уж настоящая драка завязалась? — подошёл к трактористке.— Можно, конечно, и понять тебя, Клава, но всё-таки так грубить с пожилым человеком нельзя.

Пыльное лицо трактористки дурно исказилось, глаза злобой полыхнули:

— Ого-о-о! Этот старик меченый, дядя Капитон! Ты его ещё не знаешь, он как змей ядовитый! Это Колупай с братом прилепили меня к

тебе, это они написали Косте, что я тут не пропускаю ни встречного, ни поперечного!

— Какой бы он ни был, ты-то не должна вести себя так развязно! Ведь ты ещё совсем молоденькая, Клава!

— Так они же никакого проходу мне не дают! — Клава выдернула из-за пазухи платок и, уткнувшись в него, заплакала. — Обидно, дядя Капитон: всю войну пыль хлебала на тракторе, работала как проклятая, себя блюла, чувства всякие сохраняла для него, а он, гад, из армии пришёл и даже домой не зашёл. К продавщичке подался. Конечно, она чистенькая, нарядная, с работы идёт — бутылку несёт. А я с работы иду — пуд грязи несу. Вся керосином провонялась!

Она с отвращением осмотрела свою одежду и ещё горше зарыдала. — Твой муж ещё до армии заигрывал с той женщиной? — спросил Капитон.

— А чёрт его знает! Может быть, и таскался! Он ведь тоже из колу-паевского рода.

— Ты умойся, Клава, — посоветовал Капитон.

Трактористка сняла с себя телогрейку, положила её на чистую засохшую траву и, не поднимая вспухшего от слёз лица, подошла к бочке с водой. Капитон зачерпнул кружку.

— Подставляй руки, я тебе полью, — предложил он.

— Я лучше сама, дядя Капитон, — дрогнувшим голосом сказала Клава, протягивая руку за кружкой.

Умывшись, она прибрала волосы, повязалась чистым платком. Капитон тем временем выбил пыль из её ватника и, набросив одежду женщине на плечи, участливо сказал:

— Одевайся скорее, а то ведь, чего доброго, можешь и простыть.

— Захвораю, так, может, на душе легче станет, — ответила Клава.

Собираясь уходить, она вытащила из своей сумки пирожки и бутылку с молоком.

— В обед съедите, — говорила Клава, перекладывая продукты в Капитонову сумку.

Однако тракторист тут же позвал ребят, и, прежде чем приступить к работе, они расправились с пирожками.

— Теперь мы, пожалуй, реже будем поглядывать на дорогу, не едет ли повариха, — пошутил Капитон.

Он завёл трактор, погрелся возле выхлопной трубы, пустив дым через рукав под рубаху, сел за руль. Подъехал, прицепил плуг. Мишка вскарабкался к отцу на площадку, Гоша, уцепившись за рычаги, крючком застыл на плуге. Выправив трактор для новой загонки, Капитон остановился, выбрал ориентир на противоположной меже, включил скорость и крикнул:

— Врубай, Гоша!

Лемеха мягко вошли в землю, и за убывающим рокотом мотора по золотистой стерне стрелой легла дышащая пряной испариной

свальная борозда. Мишка, прижавшись к отцовскому плечу, уставился на отвалы, из-под которых, маслянисто поблёскивая, чёрными струями текла вспоротая земля. Капитон краем глаза поглядывал на сына и мысленно говорил себе: «Так вот и он напитаётся любовью к земле. Она ведь, эта маленькая душа, сейчас всё впитывает в себя».

Собрался уезжать с поля и дед Колупаев. Прицепщица Поля уже пристроилась к нему на бочку.

— Садись и ты, Клашка, довезу! — крикнул старик, берясь за вожжи.

— Не хочу я рядом с тобой садиться! — огрызнулась трактористка.

— Было бы предложено, а так — как знаешь, — обиженно пробурчал старик.

Поправив упряжь, он с кряхтением забрался в телегу и, хлестнув коня вожжами, рысцой покатил в деревню.

Клава ещё долго оставалась на меже. «Уеду! Сегодня же уеду из деревни от позора!» И тут же ловила себя на мысли: «Но как ты уедешь из колхоза без документов? Кто тебя отпустит, Клашка-дура? Хорошо парням — они хоть после службы в армии имеют право не возвращаться в этот проклятый и Богом, и людьми колхоз. А может быть, дядя Капитон теперь посватает меня да и увезёт куда-нибудь в дальние края?! Он жалеет меня, весь сезон работает в ночную смену, сам трактор ремонтирует, перетрёс нам с матерью все сараюшки. Правда, дядя Капитон постарше меня, да это ещё и лучше: не будет по чужим бабам шариться».

Трактор успел уже развернуться и теперь медленно выползал из-за перевала. Увидев его, Клава заторопилась. Она пошла домой напрямую, через поле. Ветер трепал на ней красную косынку, обхаживал ладный стан и всё норовил распахнуть фуфайку, полы которой Клава накрепко зажала в руке. Капитон с высоты трактора смотрел на удаляющуюся одинокую фигурку и думал: «Отогреет ли кто-нибудь когда-нибудь это ожесточившееся, поруганное войной и облитое людской грязью сердце? Ведь она добрая... Клава!»

Через час или через два, уже в потёмках, Клава снова пришла на это же поле. Дождалась на меже трактор, подняла руку. Капитон остановился и, перегнувшись через крыло колёсника, спросил:

— Что случилось, Клава?

— Слезай! — приказала трактористка, решительно махнув рукой.

Капитон на коленях осторожно сполз с железной площадки трактора и, опираясь на палку, подошёл к женщине. Соскочив с плуга, отплёвывался от пыли прицепщик Гоша.

— Иди домой, дядя Капитон, женщина с девочкой к тебе приехали. Я доработаю твою смену! — таким же приказным тоном говорила Клава и, не дожидаясь ответа, полезла за руль трактора.

— Тебе же отдохнуть надо, Клава, ты совсем уж вымоталась! — уговаривал её Капитон.

— Я семижильная, чёрт меня не возьмёт! Гоша! Поехали! — крикнула она прицепщику. И в последний момент не удержалась, спросила: — А кем тебе приходится эта женщина, дядя Капитон?

— Была женой друга, потом была моей женой, потом опять вернулась к другу — вот теперь и гадай сама, кто она мне.

— Татароватенькая, а краси-и-и-вая! — протянула Клава.

Подросток вскочил на плуг, Клава рывнула скоростным рычагом, отпустила педаль, и трактор медленно уполз в темноту.

Капитон снял с себя замасленную фуфайку, брезентовые брюки-верхонки, умылся, убравшись в чистую одежду, пошёл будить сына, который спал в стогу соломы.

— Капитоныч, вставай, домой пойдём, — теребил его отец.

— Никуда я не пойду, папка, я спать хочу, и ты не лезь ко мне! — брыкался ногами мальчик.

— Пойдём домой, — вытянул из норы его отец. — Тётя Майра приехала.

Мальчик вскочил на ноги.

— Тётя Майра приехала? — обрадованно переспросил он и, сонно пошатываясь, сунул отцу свою ручонку.

Несколько минут шли молча. Потом мальчик потянул отца, остановился и, приподняв на голове пилотку, закрывавшую ему уши, сказал:

— А трактор гудит. Ты зачем не заглушил его?

— Это тётя Клава пашет, — ответил отец.

— Тётя Клава разве не уходила домой?

— Уходила, да опять вернулась.

— Ну ладно, пойдём тогда домой.

Мальчик по-стариковски ссутулился, натянул обратно на уши пилотку и, нащупав в темноте тёплую отцовскую руку, часто зашагал, гулко шкрябая о твёрдую дорогу подошвами больших сапог.

— Садись ко мне на плечи, я тебя подвезу малость, — предложил отец, почувствовав, что малыш стал всё больше виснуть на руке.

— Я бы сел к тебе на плечи, да ноги у тебя хромые: ты как хромнёшь, я и упаду. Пойдём уж лучше рядом.

В лесу темно. Они часто спотыкались о выкатанные колёсами корни.

— Скоро выйдем на открытое место, там будет легче идти, — подбадривал отец сына.

— Вчера бы приехала тётя Майра, так мы бы и на работу не пошли, — рассуждал Мишка. — Теперь тётя Майра с нами будет жить?

— Не знаю, Капитоныч, не знаю, — вздохнул отец и незаметно для себя прибавил шаг.

Увидев через освещённое окно Майру, Капитон остановился возле крыльца. Она была в светлой вязаной кофте, в чёрной юбке, волосы собраны в одну косу, которая ниспадала до самого крестца. «Какая красивая Майра — как девушка, — подумал Капитон. — А кто же это ещё с ней приехал? Боже мой, да это ж Маруся так выросла! Как сильно она стала походить на мать».

Мишка долго стоял возле отца молча, не мешая ему рассматривать Майру, потом начал его теребить:

— Почему ты, папка, в дом не заходишь?

— Да отдохнул я немного, сейчас пойдём.

— У тебя опять ноги не контакчат?

— Да нет, вроде бы в полном боевом.

Зашли в дом.

— Здравствуйте, мои хорошие! — поприветствовал Капитон. Он обнялся с Майрой, потом, положив руку на плечо дочери, сказал: — Вон как ты выросла! Где-нибудь в толпе я тебя мог бы и не узнать.

— А ты, Капитоныч, почему со мной не здороваешься? — спросила Майра.

— Ты же всё с папкой здороваешься, — ответил мальчик.

— Выкрутился, пострелёныш, — усмехнулась Майра.

Отец с сыном стали умываться, Майра собрала на стол. За ужином обменивались кое-какими новостями.

— Ну а Сакмат-то чем занимается, как поживает? Точат, наверно, его раны? — спросил Капитон.

Майра заплакала и долго ничего не отвечала.

— Вона как. Раньше ты вроде бы не была так щедра на слезу. Какая-нибудь беда подкралась? — тревожно смотрел на Майру Капитон.

— Сакмат повесился, — простонала Майра.

Мишка, плохо понимая, уставился на отца. Потом придвинулся ближе к Марусе и в ухо шёпотом спросил:

— А зачем он повесился?

— А чтобы умереть, — так же потихоньку ответила Маруся.

— Теперь он уже помер или ещё нет? — допытывался Мишка.

— Конечно, помер, — ответила сестра.

После длительного молчания Капитон спросил:

— Давно беда случилась?

— Два месяца уж прошло, как похоронили. — Майра помолчала и добавила: — Мы приехали домой вас звать. И Васёк, и Тода меня совсем не слушают. Тода учится плохо. Он и живёт-то больше у стариков. Говорит, если дядя Капитон не приедет, то я и домой не пойду. Если ты не пожелаешь вернуться в Покатиловку, то мы сюда переберёмся.

— Утром будем решать, что делать, а сейчас давайте ложиться спать, — распорядился Капитон.

село Дубенское, 1971

Владимир Селянинов

Знакомая белочка

Однажды, в дни декабрьской стужи, человек увидел в ночном небе белых аистов. Выше облаков шёл клин, прореженный выстрелами с земли. Редкими точками смотрелся он, освещаемый сполохами ушедшего за горизонт солнца. Плач едва слышен с неба...

«Быть такого не может», — говорили люди тому человеку. И многие смеялись над ним.

Но... Поговорим о прекрасном. Настало время. Бывают же и у россиянина-пенсионера светлые моменты в жизни земной.

Итак, приступая к своему второму завтраку, когда в Туманном Альбионе пожилые джентльмены пьют чай с бисквитами, и только из известной им кондитерской, имеющей безупречную репутацию, Алексей Иванович Горлица прислушался к своему желудку на предмет возможных позывов к рвоте. (Утром он сделал себе пару бутербродов с колбаской, подозрительно влажной. Может, и показалось ему — чуть иссиня она.) Но, кажется, всё обошлось... И он открывает бутылочку обезжиренного кефира, наливает его в стакан, кладёт и размешивает небольшую ложечку сахара. Включает телевизор погромче, не опасаясь рассердить оставшегося теперь далеко садового соседа, всегда недовольного им.

«Воспитанные люди так долго не живут», — любил он сказать Алексею Ивановичу, садясь в большой чёрный автомобиль. И ведь он фактически прав. Прав, потому что старый упрямец отказывается уступить свой участок по твёрдой кадастровой цене. И уже осведомлённый, что старые деревянные дома — горючие! А на широкую улыбку соседа Петра Леопольдовича упрямец без промедления значительно потратился на страховку. О чём скоро стало известно ему, одному из многих помощников губернатора Шломхотсейдорского Петру Леопольдовичу, имеющему большой и очень чёрный автомобиль. И кидающему красивые бутылки из-под французского коньяка в сторону дома, пожароопасного. Алексей Иванович как-то хотел поговорить с соседом по-хорошему, но встретил непонимание: «Поговори у меня... Ты у меня ещё схлопочешь ходку... Забыл?!»

Внутри у старика захолонуло от властного взгляда и тихого покачивания на ладони связки ключей со сложными бородками на них.

За решётчатым забором специального изготовления беседу наблюдал, возможно, и правда племянник властного господина. С сигарой,

в махровом халате и с лицом человека, увидевшего в Алексее Ивановиче нечто забавное. Лет шестнадцать... А если и помоложе, то немного. Не совсем трезвый с утра. «Курит,— отметил старик,— наверное, из активных». Совсем спятил он от старости: у него скоро дом сожгут, а он — у кого нынче власть, у пассивных педерастов или «печников»? Какая ему-то разница? Отдал бы свою землю — и делу конец! Живи спокойно...

Но мы, кажется, отвлеклись на пустое.

Итак, включив во время своего второго завтрака телевизор, Алексей Иванович увидел апельсинно-оливковую Испанию. Услышал морской прибой от бесконечно набегающих волн. Чистый желтеющий песок и голубое небо. Сердце легонько сжалось у него, лицо грустное. — Тепло у них там,— прошептал.

Потом стали показывать тамошнюю корриду, глаза зрителей, неистовствовавших на трибуне, и крупным планом — глаза животного, приготовившегося умереть. Бесконечно одинокого, смотрящего мимо своего мучителя. Окровавленный, но и теперь ещё сильный, он, отказавшийся от борьбы, аккуратно опустил сильное тело на колени, стал тихо валиться набок, смотря мимо людей, беснующихся вокруг. Вот взглядом он упёрся в небо, как бы упрекая его в предательстве, в нарушении вечного завета: не убивать, не мучить потехи ради.

В очередной раз, не отпив кефира и вытерев пальцы о брюки — чего никогда не делал, Алексей Иванович тихонько, но с напряжением в левой руке и указательном пальце, направленном на экран телевизора, завершил эту мысль так: «Над человеком не совершать жертвенного убийства — ещё со времён библейского Исаака запрещено! Не делать зрелищ, убивая личность в человеке!» Последнее, как это бывает при экспромте, ему понравилось особенно. О муках, о геенне огненной не без удовольствия припомнил... Обещанной Священным Писанием тому, кто называл безумствующим не похожего на многих.

Забыв о своём втором завтраке, какой имеют джентльмены, он увлёкся мыслью, что животному стало понятно: оно обречено. Беззащитно. Оно только развлекает своей болью и унижением. «Ишь... Как они устроились,— это уже о начальниках-правителях,— чем отвлекают людей от проблем!»

В это время припомнился ему кривой мужик с запахом политуры изо рта. Утверждавший, смотря на него, что самое дорогое, что есть у него,— это Родина! И он, простой каменщик, ей бы не изменил никогда. Удивительно честное лицо было у того мужика. Когда он рассказывал о своих убеждениях, единственный глаз его, вопреки евангельскому утверждению об оке как зеркале души, был чист. Несомненное сострадание к Алексею Горлице, погрязшему во грехе предательства Родины, отражалось в нём. Тут был ещё один, из конторских, и он согласно на это кивал. Галстук засален, с большого

бодуна. Практически стоять рядом невозможно. Но Алексей, тогда ещё молодой, выстоял. Мог ли он проявить неучтивость к воссиявшим на земле российской патриотам?!

В другой раз кривой строитель-каменщик с видимым удовольствием рассказывал в курилке мужикам, как он убивал медвежонка в яме с кольями, устроенной им со сватом на звериной тропе. «Пришли мы проверять яму,— рассказывал он,— а там медведица. Дохлая. Кишки по яме, воняет... А медвежонок — живой. Рычит. А сват,— голос повеселел у работяги,— вытащил свой член (а он у него восемнадцать сантиметров!) и направил ему сверху в пасть струю»,— и он засмеялся счастливый, показывая чёрные от политуры зубы. Кто-то засомневался в «размере», но одноглазый его успокоил: «Сам мерил. Линейкой». На это один старик в синей рабочей спецовке, не докурив, окурок в урну бросил. «Тебе и одного глаза много»,— дверью курилки хлопнул. «И это ещё в неразогретом состоянии»,— донеслось из-за двери до старика в синей робе.

«Ты-то уж ни в коем бы разе с трибуны не ушёл, всласть бы наблюдал мучение быка»,— зло думал Горлица спустя годы о мужике, выколовшем глаз арматурой. Пусть если и по пьянке, пусть даже если во время драки и воровства мешка с цементом — ему ли судить?!

От воспоминания давнего и ликований на трибунах у Алексея Ивановича сегодня во второй раз стало нехорошо за грудиной. Хотя, казалось бы, что нового в этом? Он же видел подобное, видел в кадрах давней кинохроники: толпа народа требует смертной казни отщепенцу. Только в тридцать седьмом их называли по-другому. «Расни!» — припомнил. Вечное... Как сама жизнь.

— Ты посмотри, а? — сказал он, глядя враждебно на экран, где показывали корриду, поглаживая пальцем то место на голове, где когда-то был вихор.

Лицо нервное. Телевизор резко выключил; шагов двадцать сделав, снова его включил.

Показывали фрагмент из другой корриды. Огромный чёрно-белый бык, окровавленный, не покоровившийся толпе, глаза красные, прыгает через барьер. Подпрыгивая, топчет всех, кто попадает на пути; покалеченных всё больше. И Горлице не жалко хорошенькой испанки с вываливающимся глазом. Не жалко, что через её разорванную щёку виднелись зубы, похожие теперь на белые зёрна кукурузы. Розовая пена пузырится из разорванной щеки, она падает на плечо, на красивую, очень белую блузку с белыми же рюшечками.

— А... не любишь?!

Да, известны случаи двойных стандартов со стороны Европейского Дома, но у старика-то в прикроватной тумбочке — Библия, и довольно потрёпанная! У испаночки глаз вылазит, пена кровавая на плече, она кричит о помощи, а он:

— Племя вы каиново!

И наблюдает, как, ступая по упавшим, джентльмены, а ещё лучше, если бы — англичане, прыгают друг на друга.

— Права человеков у вас... — язвит, когда джентльмен на лице старой леди след ботинка оставил.

Телевизор выключил Горлица, по комнате заходил. Руки на любимом месте, за спиной, сцеплены. В окно посмотрел, а там ничего интересного. Воду вскипятил, чай стал пить, потому что надо было чем-то себя занять. Успокоиться. Смотрел «инсталляцию» на подоконнике, теплее ему от воспоминания, как обнимал его внук, какие слова говорил. Пирамидка на подоконнике яркая. Но от вида неестественно красных губ у куклы сегодня тревожнее ему... Телевизор включил.

А там — не везёт ему в этот день! — известные старухи-прогрессистки. Что в прошлом и дня не были обременены несвободой, голодом. Унижениями...

— Вот и наши либералы сахаровского призыва, — неодобрительно комментировал Горлица жанровую сцену. Лысой головой скорбно покачал. — Лица свежие...

Этими словами он как стартёр автомобиля прижал, прежде чем ему завестись. Кажется, на его макушке несколько ещё сохранившихся волосков приподнялось.

«Вот вы, шестидесятники...» — несколько слов телеведущего, и... как привкус во рту у Горлицы.

— Мне булки хлеба в зону никто и раза не передал, — взглядом он в телевизор уставился. — Какие вы ухоженные, в костюмах новых. Парикмахером причёсанные. Улыбаетесь... — вспомнил давнего англичанина, что сдал его «органам». — Одного вы поля ягоды...

Телевизор многострадальный выключил.

Нет, не отказался бы он, злючка, и теперь посмотреть на того человека, например, в инвалидной коляске. Впереди себя её толкает, скажем, медицинская сестра; на белой шапочке крестик красный. А англичанин, к примеру, головой мотает. Чистеньким платочком подтирает слюни сестра милосердия... Не может Алексей Иванович представить добрым иностранца и через сорок лет.

... Тогда было лето, были радость молодости и уверенность Алексея в нескончаемости этого мира. Был московский сквер, где молодые мамы гуляли с колясками. А из них детский лепет — как симфония нарождающейся жизни. Но тревожно молодому художнику, и было предчувствие неискренности рабочего с ухоженными пальцами джентльмена, выбранного им из восьми, совершавших неспешный променады в московском сквере. Лица их — не советских интеллигентов спешащих, но знающих себе цену господ. На генном уровне понимающих проблему своей страны, а всё остальное — лишь сегодняшняя надстройка на тысячелетнем фундаменте.

Алексей, до последней минуты сомневающийся в необходимости своего поступка, выбрал того, что остановился в задумчивости,

чтобы понаблюдать жизнь этой страны. Был вопрос на его лице, но было и высокомерие к полудиким племенам, сострадание к ним, сарказм, а также налёт усталости и нетерпимости. Иностранец стоял, скрестив руки на груди, расставив ноги на ширину плеч, а Алексей желал увидеть в нём защитника прогресса. И он увидел, подошёл, заговорил на плохом английском... с человеком, у которого много лиц.

Англичанин суть предлагаемого сюжета беседы понял быстро, закивал поощрительно, успокаивая молодого человека, для которого иностранец — это почти инопланетянин. Они выбрали скамейку подальше, сели. Вокруг осмотрелся Горлица. Вспоминая детали некоторые, он должен был признаться: со стороны сцена их встречи смотрелась — и в театр ходить не надо.

Кашлянув, как это делают опытные демагоги, рабочий, прибывший по приглашению Комитета дружбы с зарубежными странами, начал с формата демократий. Подемагогствовав о рабочем движении в странах, угнетаемых внутренней и внешней реакцией, он хорошо отозвался о советской демократии. «Есть, конечно, проблемы. Есть», — посмотрел на собеседника внимательно, как бы соглашаясь. Легко, и не заметил Алексей как, он перешёл на русскую культуру. Чехов, Достоевский... О, Толстой! И раза не запнулся рабочий на Кандинском, Шагале. «Кстати, оба из России, а как высоко они поднялись...» Не заметил Алексей, как уже и в макроэкономике он копает. О кооперации между странами, о влиянии её на повышение стандарта жизни народов. И всё говорит, говорит...

«Россия — страна-уникум. Вы обладаете большими ресурсами. На душу населения в двадцать восемь раз большими, чем европеец. Мы же обладаем самыми современными технологиями. Сам Бог велит объединить наши усилия на благо народов. Возможно, и на конфедеративном уровне». Акцент... почти и нет его. Хорошие были у него учителя. И в макроэкономике понимали.

«На это никогда не пойдёт советское правительство», — ответил честно Алёша. Немного даже удивлённый разговором не по существу.

«А вы, лично вы как относитесь к подобной перспективе?» — взглядом прошёл по скамейкам. Остановился на старушках, умело поблёскивающих вязальными спицами невдалеке. Молодую маму взглядом проводил, на ногах её задержался — этим успокоил собеседника рабочий из Англии: мужик он, такой, как все. «Да никто же на это никогда не пойдёт».

Иностранец интерес от этих слов, кажется, потерял к Горлице. Показался Алексею даже странным повышенный интерес рабочего к разделению труда. Он об искусстве, о застое в закрытом пространстве, а ему... Хорошо ещё, что не о своём любимом Карле Марксе рассказывал, — вспомнил встречу прозелит-диссидент в самолёте,

возвращаясь в далёкий Зеленоярск. А по приезде домой его пригласили в другое место. Повспоминать. Впрочем, мы уже говорили об этом...

И вот, спустя много-много лет, шлёпая домашними тапочками по полу, он: «Этих правозащитниц купили втёмную словами правильными,— и от этой мысли причёски старых русских женщин в телевизоре ему уже не казались вызывающими.— Их как живой щит впереди себя поставили... Но кормили-поили-то их хорошо»,— с плюса на минус он знак поменял. К окну подошёл, наблюдая унылый пейзаж с тремя неопрятными мужиками у магазина. «Они... матадоры в красивых одеждах, готовые повергнуть страну наземь,— не в меру нынче возбудился издёрганый жизнью человек от вида прогрессисток.— А зрители ваши — кривые мужики, измеряющие линейкой...» — дальше уже пошла совсем нецензурщина. К кровати Алексей Иванович вернулся, сел, лёг, в потолок стал смотреть; на правой ноге дырявый носок его раздражает. Дырка на нём, показалось ему, стала совсем большой... «Никто за так кормить не будет,— уверен бывший зэк. Нехорошим из того времени словом старушек назвал.— Не могли они не знать, не настолько они наивны, чтобы не понимать, что нужно сегодня от нашей страны другим».

Мятыми, ношенными-переношенными тапочками ещё прошлёпал к окну. На косяк навалился. А там — старухи, что ходят под его окнами в магазин; одеты не по-современному. С сумками потёртыми, а в них — булка хлеба подешевле! В памяти прошлое всплывает... Неожданное порой.

Вот вспомнил в который раз мальчика лет трёх, измученного болезнью, тыкающегося в материнскую грудь. Спрятаться он хотел там, в груди, укрыться от боли. У плачущей вместе с ним...

А теперь — по сути.

В конце октября начались морозы, погода менялась, казалось, что без всяких земных законов. В один из дней подружился Алексей Иванович с белочкой. Голодно ей в пригородном лесу, если и в непогоду она спустилась на землю. А ему поговорить хочется. В доме он стал держать орешки, и было у них место встречи. Белочка бежала к нему зигзагами, но быстро. Старик вытягивал руку и ждал, когда она заберётся по пальто на ладонь. Белка набирала за щёки орешки, а он большим пальцем этой руки ей гладил головку. Потом, уже другой рукой, тихо поглаживал подрагивающую спинку. А пока она закапывала орешки в свой схрон, он ей сообщал:

— Твоих подружек, что были ближе к жилью, какой-то хам переловил. С месяц как не видно,— губы пожевал.— Для нашего брата опасен хам из образованцев, власть заимевший... На чёрных автомобилях ездит,— сообщает он мелкому пушистому зверьку из отряда грызунов

о своём невесёлом житье.— В лицо смеётся... Последнее готов отнять у старого человека.

Неспокойными крючковатыми пальцами левой руки он доставал из кармана порцию орешков. А его друг в это время забирался по старому пальто.

— Белочка,— говорил уставший от жизни человек.— Животное ты моё.

Гладил, а у самого голос дрожал. И ждал, пока белка ещё наберёт орешков и станет прятать их в снегу. Наблюдать это любил. Иногда печально смотрел на низкое небо. Глаза слезятся от старости, а он зрение напрягает — как высматривает среди рваных туч что. И белочка туда смотрит, потому что понимает она больше, нежели сказать может. — Ну... прощай,— говорил ей старик.— Не разболеться бы мне,— жаловался, уходя.

Зверушка напротив него на снегу сидит, лапки в стороны: что может она? И смотрит вслед, как её друг — сутулый, руки назад, шапка старая, только выбросить! — покачивается при ходьбе.

— Ты не ходи туда,— Алексей Иванович оборачивается, в сторону домов рукой машет.— Там люди,— предупреждает.

В Рождество пришёл поздравить Алексея Ивановича сын с внуком пяти лет. Пили чай с вареньем из жимолости, а внук, стоя коленками на стуле, на деда смотрел внимательно. Смотрел, как дедушка неловко, одной рукой, подаёт, локоть к себе прижимает.

— У тебя, деда, почему ручка не заживает? — удивляется. Как это ручка может не заживать?

Старик касается места, где был разрыв суставной сумки.

— Заживёт,— говорит.— Скоро уже. Всё заживёт.

Нехорошо ему, пожаловаться некому, как однажды пришлось нести длинную трубу с четырьмя работягами — как любили они себя называть. Работяги оказались ребятами молодыми, весёлыми, груз распределили неровно. Временами ещё и ноги подгибали при переноске. И любопытными: как этот интеллигент, умеющий говорить слова умные, а ещё и в газетах про него напечатано недавно нехорошее, как он поведёт себя? Будет ли он после этого говорить слова разные? Или «выразаться» станет? Любопытно же им...

Но вот он обращается к внуку, и взгляд его теплеет. А объяснившись в любви с ним, попрощавшись, износившийся человек наблюдает из окна идущего через дорогу сына. Смотрит, каким подвижным становится несмышлёныш-внук, когда его руку отпускает отец. Внук быстро говорит, ножками перебирает весело, в глаза заглядывает доверчиво, подпрыгивает от радости идти по этой жизни.

Плечо заныло у Алексея Ивановича — так и «не вкусившего смирения», сердце сжалось от предчувствий, наблюдая радующегося жизни ребёнка.

Красноярск, июль 2013

Сергей Смирнов

Путь в архипелаг

Дане, Чаку и Жульке, собакам

1. Джульетта

На этом острове уже не было людей. Они исчезли ещё весной, когда со стороны северного пролива прилетела огромная грохочущая птица. Быстро промелькнуло короткое лето, и в Северное полушарие Земли пришла осень. А осень эта была совершенно обычной: здравствуйте, я пришла. С севера надвинулся холодный плотный туман; морская вода сразу изошла паром, схватилась у берега льдом. И потекла вдоль песчаных окаменевших пляжей с запада на восток, замерзая, ломаясь, обтекая редкие каменные мысы. Островные реки давно покрылись льдом, иссыкли и не могли уже нарушить мощного зимнего движения природы.

Поверх сухопутного льда и тундровой земли лёг нетающий снег, неясные облака, сея снежную крупу, смешались с ним, и на всём белом свете не осталось ничего, кроме белого.

Аспирин бежал на ветер, в котором не было вкуса и запаха еды и человека. Правая передняя лапа, чёрная, кровоточила, оставляя сахарные красные бусинки в неглубоком сухом следу. Позади Аспирин рысил Пирамидон, иногда переходя на галоп; хвост его при этом мотался из стороны в сторону, напоминая толстый дымовой столб, раскачиваемый ветром. Пирамидон был голоден и время от времени напоминал об этом Аспирину, забегал то справа, то слева, издавая тихий, но настойчивый детский визг. Силы он не берёт, что, конечно, раздражало вожака, сбивая с шага. Аспирин оглядывался, коротко лязгал зубами и делал несколько лишних прыжков в сторону.

Третьей, не торопясь, шла Джульетта. Впереди ничем не пахло, воздух был пуст, неинтересен, и поэтому она время от времени сбегала с тропы, засовывала нос в снег, надеясь услышать лёгкий перестук мышинных лапок или втянуть ускользящий запах птичьего гнездовья. Переживания Пирамидона не беспокоили её, молодость её уже прошла, и она не помнила в нём своего сына, а вот с Аспирином иногда переглядывалась, когда он, огрызаясь с Пирамидоном, бросал взгляд в её сторону.

Они втягивались в устье реки, обегая чёрный ещё обрыв с нависающими корнями, не задумываясь, что идут обычным своим маршрутом и что Чик и Пок, как всегда, свернули раньше и, глотая

голодную слюну, трусят уже к песцовой пасти, где семь дней назад стае удалось вытащить из-под упавшего бревна сплюсненную тушку.

Над снегом торчали жёсткие остья пушицы и пожухлых злаков, но оживляли невнятное пространство только земляные вспученные припорошённые снегом бугры, которые притягивали взгляд и возвращали миру объёмность.

Лето и тепло давно кончились, и каждый из этих семи дней собаки выходили на поиски съестного, постепенно расширяя круг, центр которого находился у порога избёнки, сложенной из лиственничного плавника и обитой сырыми оленьими шкурами. Избёнка стояла на крутой галечной косе, река текла вдоль моря почти километр, а потом прорезала её, и только здесь, у выхода, реку можно было перейти. Между избой и берегом стоял обветренный четырёхметровый крест с обрывками верёвок и сетей, раскачиваемых движением морозного воздуха.

Места, куда люди выбрасывали объедки и где пластали мясо и рыбу, были хорошо известны и обследованы в первую очередь. Аспирин ещё помнил прошлую, не сказать, чтобы сытую, но уверенную жизнь с человеком и поэтому очень медленно расширял круги вокруг избы, не пропуская ничего, чем можно было бы хоть на время утолить голод. Знакомые человеческие запахи витали над всей округой, вызывая неясные воспоминания о событиях полузабытой жизни. Основным запахом был запах Огня, он был везде и всегда, слабая, впрочем, при удалении в глубь острова, но и там иногда возникал с новой силой.

Аспирину нравился запах Огня.

Белые огромные совы равнодушно наблюдали за бестолковыми пробежками голодной стаи, сидя, словно часовые на вышках, на конусах байджарахов и песцовых ловушках. Их время ещё не пришло, и они таинственно улетали за близкую кромку горизонта, оставаясь частью никем до конца не познанной воздушной стихии.

Первые волчьи следы нашла Джульетта. Они уже не пахли, полусыпанные снегом, и ничем не отличались от собачьих. Разве что вели в глубь суши и не отклонялись в сторону человеческих приманок.

Джульетта и раньше, летом, знала, что вокруг их маленькой территории есть другой мир, из которого появляются иногда существа, другие, но в чём-то похожие на собак. Они приходили из-за дальних холмов, с верховьев рек, из-за плоских песчаных мысов, хрустя галькой или бредя по мелководью; приплывали со стороны пролива, когда ветер отжимал от берегов изъеденные водой льдины. Встречи эти были коротки, в них не было обычного собачьего любопытства. Два мира встречались предчувствием встречи, знанием, что она неизбежна, запахами, глазами, наконец, и тут же расходились, не нарушая ничем не обозначенной границы.

Так было всегда, пока на острове жили люди. Однажды только Джульетта нашла в тундре двух мёртвых волков. Он, по-видимому,

умер прямо на бегу, не успев почувствовать последнего перехода, и упал набок, вытянув ноги и не повернув головы. Передняя лапа так и осталась полусогнутой, не достигнув земли. Она же ещё жила некоторое время, свернувшись калачиком и уткнув нос в его седую шерсть. От них не пахло кровью, и позы их были покойны и естественны. Джульетта долго обнюхивала их, заходя то с одной, то с другой стороны, но так и не поняла, почему окружающее их пространство пусто и лишено жизненных токов.

И теперь эти пустые неподвижные следы были лишь ничего не говорящим признаком того, другого мира, которому принадлежали и снежная равнина, и белёсое солнце, и даже, не сознавая этого, сама Джульетта.

Пирамидон тоже сунулся посмотреть на чужую тропу, но тут же поджал хвост, прижал уши и, повизгивая, боком отвернул к Аспирину.

Вожак, стоя над цепочкой чужих следов, два раза шумно втянул с них воздух, потом поднял голову и долго смотрел в сторону сиреневых сопок, куда уходили следы и куда ещё предстояло проложить путь его стае.

2. Тушинский

Каждый день начинался для Коли Тушинского одинаково: проснувшись, он шарил в темноте по низкой табуретке, стоящей возле нар; гремя спичками, зажигал свечной огарок, прикладывался к помятой и почерневшей от чифиря кружке, стуча зубами по краю, — самогон был не очень крепкий и потому — мерзкий. Прикуривал оставшийся с вечера окурок «Беломора» — с куревом уже было не очень хорошо, — а потом лежал некоторое время, глядя в закопчённый потолок избы, где проступали сквозь папиросный дым четыре цифры: 1, 9, 4, 5.

— Что за плотники тута были? Ну война, ну спрятались от фронта! А зачем дома-то в энтой-от пустыне?! Норы хватит, если хочешь деньги заработать! — размышлял Коля вслух, не понимая ленд-лизовской политики.

— А это, — объяснял ему напарник Серёга, — СССР платил Америке во время войны за поставку боеприпасов и вооружения. Пушниной северной платил. Понял?

В самом начале своей северной жизни Серёга слышал байку о вёсельной лодке «дори», на которой бригада из тринадцати человек ушла в арктический архипелаг строить избы для «Союзпушнины». Было это во время войны, году в сорок втором, стране нужен был мех, чтобы обменять его потом на танки и боевые самолёты. Плотники шли через лёд туманными проливами, под парусом или на вёслах, с острова на остров, трелевали вручную красный лиственничный плавник, сплавливали его к устьям рек и ручьёв, рубили, ставили из него дома. Серёга всегда помнил о людях, сложивших эту избы и выжегших цифры на потолке. Так они обозначили своё время пребывания на

земле. Он сравнивал себя с ними, прикидывал, есть ли в нём такое же упорство, тот же непобедимый дух. Они виделись ему крепкими бородатыми мужиками в рубахах навыпуск, с корявыми плотницкими руками, ветер трепал их кудрявые чубы — они всегда шли против ветра, в высоких кожаных сапогах, с топором за верёвочным поясом.

И дома эти стояли, маленькие и большие, с плоскими крышами, небольшими окнами на три стороны, с тесовой дверью на Ледовитый океан. Поднимали первопроходцы и пушные склады на факториях, и полуземлянки, похожие на юкагирские тордохи, из вертикально поставленных стволов. Иногда добавляли в архитектурный ансамбль корабельную мачту с марсовой площадкой для наблюдения за сушей и морем — такая поморская прихоть. И уходили дальше, нигде не задерживались дольше, чем было нужно для работы.

Охотники за песцами шли следом, наступали на пятки, заселяя избы, отстоящие друг от друга на сорок-пятьдесят километров — дневной перегон собачьей упряжки, обживая безлюдные пространства, оплачивая своим гибельным трудом фронтовые победы, но так за три года и не догнали.

Никто никогда не видел с тех пор ни лодки, ни самих отчаянных строителей. Никто не знает, как их звали, кто они были и куда сгинули. Добровольцы, солдаты-штрафники, заключённые, просто безумцы?

Ну а Тушинскому-то, по большому счёту, всё равно было, кто, кому и за что платил, пугала его — главное! — полная неизвестность, в которую ушли эти люди, ведь «одни цифры от них и остались, кака така судьба-злодейка их под себя подмяла?».

Не знал этого Коля, но верил, что не может человек по собственной воле пойти на верную смерть от холода, голода, цинги или блуждающего по льдам белого медведя. Должна быть какая-то неотвратимая, просто железная причина, загнавшая их сюда. Не тюрьма, не деньги, не желание кому-то что-то доказать — любой скажет: это только для дураков и сумасшедших! А вот немедленный расстрел — да! В соответствии с законами военного времени, без преступных колебаний! Тут же, на месте, без всяких там шагов в сторону или прыжка вверх как повода, чтобы пустить пулю в затылок! За одно только слово «нет»! Вот это — та, железобетонная, причина!

«А как же я здесь оказался? Что меня-то сюда занесло? — думал Коля. — Был у меня выбор, дык? Или так, течением-от прибило?»

Последнего он, конечно, для себя не допускал, но никак не мог додумать всю мысль до конца, найти ответ на такой простой, казалось бы, вопрос: «Зачем я здесь?» — и, глядя на дату на потолке, представлял лишь непрерывный пунктир бревенчатых зимовий на островных побережьях архипелага. Пунктир, отмечавший их последний путь. Ему было страшно даже представить то, что видели они, что они перенесли. А самый главный страх — ради чего? — мучил сильнее зубной боли.

Тушинский попал на остров полгода назад, подписав контракт на ловлю песка, так как работы в посёлках на материковом побережье не было. Вернее, была, но сезонная, на время навигации. Он и отработал три месяца в порту тальманом, и в октябре нужно было возвращаться домой, в богомольный заштатный городок, где церковью было больше, чем пивных. Железная дорога проходила в тридцати километрах от городка — старообрядцы-купцы большими деньгами откупились от возможности принять участие в экономическом росте государства. Считали, видимо, что на их век хватит того, что получали они от торговли расписными ложками, резными баранами, бьющими лбом в деревянную наковальню. Да ещё от свечного заводика, да прутомоек, то есть мочёного прута для плетения корзин, да кротоловного промысла, от которого, если разобраться, не добавлялось ничего ни в ум, ни в сердце, как от кротовой же шубы провинциальный житель не имел ни тепла, ни носкости — один вид.

И ещё была у тех купцов, судя по всему, так размышлял Коля, мыслишка: пятьсот лет без этой вонючей железки прожили — и дальше проживём. На ногах крепко стоим и сами с усами.

К тому же располагался этот городок на понятном каждому гражданину СССР «сто первом» километре, куда выпускали отсидевших своё преступников и ссылали женщин известного поведения. Эти сословия никак работать не любят, но плодиться им никто не мешает, самогон и картошка — больше и не нужно ничего. Вот и получилось, что город вроде есть, но сам по себе живёт и вырождается от этого. Замшел крышами, покривел горбатыми улочками, храмы свои порушил, а иконы растащил по мерзким хибарам: одна надежда — на Бога!

Куда же было возвращаться тальману Николаю Тушинскому? Мать, всю жизнь пробегавшая почтальоном по окрестным деревням, недолго проболев, умерла — не прошло и трёх лет, как Николай вернулся из армии. Спившийся отец ушёл вслед за ней, не дождавшись сороковин, сторел вместе с домом. Пожарные два часа копались на пепелище, пока не обнаружили то, что раньше было старшим Тушинским. При жизни отец был известен почти гениальной способностью к воровству, мог умыкнуть у соседа любую вещь среди бела дня, да так, что после обнаружения пропажи никто не мог вспомнить, как и кто это сделал. Даже собаки его не трогали, когда он собирал цыплят в чужом дворе! Не брезговал и бельишком с верёвок, геранью с подоконников, в «Сельхозтехнике» шестерёнки брал, подшипники — это-то куда? А вокруг люди ходили и не видели ничего! Вот какие русские таланты, а отсидел он за всю жизнь всего-то три года — повезло, попался на мелочи, ну а домой-то каждый день что-нибудь приносил, не считая того, что сразу продавал скупщикам или дачникам за копейки. Ничего впрок не пошло, всё на водку.

Ещё год Коля прожил у сестры, подрабатывал там и сям, связался с бандой, и только пройдя вскользь свидетелем по делу об убийстве

участкового, понял, что пора покидать малую родину. Один мент так ему и сказал: «Ты, Тушинский, своё законное существование на родной земле уже выбрал. Езжай-ка ты сам в дальние края. Может, повезёт — человек из тебя получится. Останешься — вон твой горизонт: вышки, колючая проволока и место у параши, никакие святые не помогут».

И точно, на Бога надежды уже не было.

Куда, куда и зачем возвращаться?! Дружки Колины, опухшие от гнилого портвейна, конечно же, ждали его, родимого. Вернее, его северных денег. Каждый Божий день на скамейке в замусоренном парке. Как Бога ждали. А зимой сидели на корточках возле Вечного огня, греясь в его голубом сиянии, только что дров туда не подбрасывали. Так-то что: дружки как дружки, обычные, и денег ему не жалко было, куда угодно с ними, с дружками, в огонь и в воду, только не в тюрьму! Рядом с городом — зона, сосуды сообщающиеся. Поколениями туда-сюда ходили, так и город заблатнился. Это уже в генах Колиных сидело, как и тяга к запойному питию. Такое наследство ему досталось.

Вот так оказался Коля Тушинский в вертолёте, загруженном провиантом и снаряжением под самые движки, с гербовой бумажкой в кармане и холодом в сердце. Однако было и незнакомое доселе чувство пристроенности: ведь доверили же ему всё это богатство, дали работу, надежду на себя самого, а не на Бога, заоблачного и недостижимого. Да ещё напарничка в придачу, белобрысого, с тощим рюкзачком, в котором, как потом оказалось, кроме белья и свитерочка, и было-то полтора десятка книжек потрёпанных.

— Как его? А, Серёга! Вот чудак-человек! Волкам серым читать собрался! — опять не понимал Коля, вслух разговаривая сам с собой. — Больно умный, мля.

А на створках вертолёта сидели, нервничая, три собаки, упряжка, которую собрали Коле в совхозе, прошли по домам, последний собачий резерв. Надеялись, видно, на будущего охотника, дали действительно последнее, но не плохое. Белый кобель Аспирин, вожак, дышал языком, заглядывал в глаза, посверкивая белками. Перед вылетом, на бетонке, он ткнулся мокрым носом в Колину руку, поддел её снизу, потом вдруг встал на задние лапы, положив передние человеку на плечи, и лизнул в нос: «Дружить будем? Работать будем?» Оказалось, что глаза у Аспирина жёлтые, умные, грудь широкая, а лапы мощные и тяжёлые. Тушинский даже опешил, подумав тогда, справится ли с этим зверем — мышцы под шкурой перекатывались буграми; показалось ему, что это вожак берёт его с собой на дело, а не наоборот. Оторопь взяла Колю, и он отвёл глаза. Отвёл, вот ведь!

Палевая и курносая Джульетта, Жулька, лукаво посматривала на нового хозяина, крутилась, устраиваясь поудобнее, а потом долго куда-то глядела, беспокойно поводя белёсыми бровями, говорила: я здесь, наготове, жду, что скажешь.

«Во, б..., шерстяная тётка»,— подумал Коля.

Аурум, третий, рыжий и лохматый, сидел как замороженный, неудобно поставив лапы, смотрел прямо, не мигая, уши торчком, с детским любопытством наклонял голову. Сказали, от геологов остался.

«Простачо-ок...»

Летели долго — голубая стрекоза над зелёным прудом,— пожилой штурман с сизым носом ориентировался по солнцу через блистер, искал путь по прямой, чтоб покороче, но пробивать облака и садиться всё равно пришлось. Заправились посреди тундры из красных опломбированных бочек — и дальше.

«Надо же, как всё предусмотрели! И, главное, нашли же в энтаких-то пустырях!» Однако особо Коля не задумывался, сколько человек, какие машины и ресурсы используются, чтобы попал он на своё рабочее место. Но когда увидел Тушинский *свой* берег, северный берег острова, пологий и унылый, тусклую замерзающую речку, долго почему-то текущую вдоль моря и лишь затем впадающую в него, спичечную коробку избы, напоминающую размерами скорее баню, чем серьёзное жильё,— вот тут-то душа его и дрогнула...

3. Аспирин

Путь собачьей стае в сторону сопки проложил шальный, неизвестно откуда взявшийся Одинокий Олень. Сильно рискуя, он шёл вдоль ледяной кромки, заметно прихрамывая на правую заднюю ногу, оставляя на заснеженном пляже смазанные раздвоенные следы и шлейф запаха усталости и боли.

Белая сова, сторонний наблюдатель, как всегда не торопясь, перелетала с кочки на кочку, поднимаясь иногда высоко над тундрой, где сливалась с белым же небом: смотрела, как за ближайшим изгибом берега у воды суетились волки. Их было трое. Вывалив языки и нервно позёвывая, они искали следы Одинокого Оленя. Он очень ловко обманул их, войдя в море, спрятал концы следов и запахов, остался лишь потревоженный воздух, там, где прошили его рога с тринадцатую отrostками.

Олень долго шёл от берега, раздвигая грудью шугу и тяжёлую серую воду, потом выбрался на лёд, что было не очень легко, и лёг за торосом, косясь в сторону острова. Спустя час он неловко поднялся и продолжил путь на запад. В устье реки перебрался на сушу и двинулся в сторону сопки. Молодые волки потеряли его, хотя Матёрый послал их с определённой целью: найти еду в районе Человеческого Дома.

Раньше там всегда была еда, вот они и полетели напрямки, к помойке, никого и ничего по молодости не боясь. Напугали по дороге двух песцов, тоже недорослей, из летнего помёта. Те пошли прочь внастил, хвостами кверху; оглянулись только на водоразделе и нырнули за него, как в омут.

Волчата вышли к морю и тут опять наткнулись на олени следы, которые два раза пересекли речку, прострочив свежую наледь, что было рискованно, но позволило рогачу сбить с толку волчий молодняк.

Сова без особого интереса просмотрела детский утренник, отметив уверенные действия рогатого, потом примерилась к меньшему из волчат, но нападать раздумала и перелетела в соседнюю долину, где вдруг увидела разномастную стаю собак, стелящуюся в бешеном беге. Собаки полукольцом охватывали хитрого рогача. Он уже забыл про свою хромоту и мчался изо всех сил, работая всеми четырьмя, как колёсный пароход, неся тяжеленные рога словно стеклянные, задрав морду и выбрасывая из ноздрей две тугие струи пара. Борода его обледенела, взявшиеся куржаком бока надрывно ходили, дикий выпученный глаз косил влево, на рослого белого пса, который подбирался всё ближе и ближе. Правый край собачьего каре отставал, крайний из псов начал сбиваться с шага, споткнулся и покатился кубарем, поднимая фонтаны сухого снега.

Это был Пирамидон.

Чик и Пок, бежавшие на пределе сил — голод последних недель давал себя знать, — уже видели впереди мелькающие копыта и слышали натужный хрип воздуха в горле рогача, но догнать уже не могли. Пок, давясь, начал лаять на бегу от бессилия, захлебнулся и, растопырив лапы, упал в снег, вывалив язык. Чик начал оглядываться на брата, хотя слева, подавая пример, огромными прыжками шёл Аспирин, закрученный хвост его распрямился и был похож на горизонтально лежащий железный прут.

Запах смертельно испуганной жертвы бил ему в ноздри, застилая глаза и разум. Гены предков, охотников и диких зверей, управляли мышцами, толкали кровь через сердце. Что же могло теперь остановить его?

Аспирин прыгнул, целясь в левое подбрюшье, но рогач, чувствуя пустоту справа от себя, резко свернул, и вожак, лягнув зубами, промахнулся. Рыкнув, он прыгнул снова и налетел на замешкавшегося Чика. Оба, ничего не понимая, покатались по снегу, давя хрусткие стебли пушицы.

Несколько мгновений олень нёсся на слабых крыльях надежды: может быть, обойдётся! — но внезапно встал, вспахав целину четырьмя точками, присел и отпрыгнул назад, при этом он потерял равновесие и зацепился рогами за землю — подвела раненая нога.

Сквозь белёсую, сверкающую на солнце пыль Аспирин увидел тень, летящую над накрывшим всех снежным облаком, и понял, что не всё ещё потеряно. Он снова пошёл в атаку, не забыв при этом наказать Чика — полоснул клыками по уху.

Хрум! — тень достигла своей цели, и олени хвост навис над Аспирином.

Хрум! — Аспирин, собравшись в мышечный желвак, вонзил зубы в этот подрагивающий хвост, прямо в репицу. Пасть пришлось открыть так, что шкура с морды наехала на глаза.

Кто-то, давясь трубчатой шерстью, рвал оленя за горло. Рогач мотал головой, пытаясь освободиться или, на худой конец, достать чем-нибудь убийц, копытом или рогами, но рога с тринадцатью смертоносными отростками лишь описывали широкие круги, никого не задевая, а сзади уже добрались до мяса, и срезанный, как бритвой, хвост был затоптан собачьими лапами.

Опьянённые кровью Пок и Пирамидон, прижав уши и уворачиваясь от бьющих, как кувалда, копыт, с хрустом терзали сухожилия. Рык и лязг зубов, пар из горящих пастей, хриплое дыхание да ещё шуршание снега, остальное — тишина.

Олень слабел. Глаза его...

4. Тушинский

— Вот тут и будешь жить? — спросил командир вертолёта. — Не страшно? — и сам же ответил: — Я бы не смог.

— Дак иди ты, сокол, летай! — огрызнулся Коля. — А мы ужо как-нибудь здесь поползаем. А, Серёга?

Серёга залихватски улыбнулся и побежал разгружать вертушку. Створки уже были открыты, а собаки поодаль привязаны к бревну.

Летуны попивали чай из термоса, ели бутерброды. Сквозь стёкла кабины виднелись их белые рубашки и форменные галстуки. Ящики, мешки, тюки, бочки — как много всего было! — смотрелись в тундровом пейзаже сиротской кучкой.

— Ах, ё, иголки забыл! — крикнул Коля.

— А я взял-ал, — ответил Серёга.

Вертолёт поднялся невысоко, под облака, клюнул носом и пошёл на север, набирая скорость. Там, за проливом, на следующем острове, жили другие промысловики, а вновь прибывшие поселенцы сели возле собак перекурить и долго слушали рокот винтов, блуждающий в пространстве, зажатом между небом и землёй.

— Ну, бывайте, через полгода или год прилетим, ждите, — сказал им напоследок командир. — Не балуйтесь, ведите себя хорошо, ползуны...

Белобрысый Серёга оказался недоучившимся студентом — выгнали за вольный образ жизни, несовместимый с высоким званием советского учащегося. Институт был, по Колиным понятиям, какой-то никчёмный, то ли исторический, то ли филологический. Коля и слов-то таких не слышал, что сильно кольнуло самолюбие: он, старший и по возрасту, и по месту, бригадир, начальник, а этот, пацан с книжками, от которых и проку-то — печку растопить, учить его вроде вздумал?! Иголки он взял, щенок!

«Уж я-то его научу-от родину любить! Работать надо, а не сидеть, дык, мечтать, вот, б... , сядет на завалинку и думает, вишь, думает!

О чём-от думать-то?!.. Или пойдёт куда по сторонам рот разевать! В тундряшке, ё... , птичек там смотреть да зверушек, мать их, жалеть. А их не жалеть надо, а до-бы-вать! Ловить и раздевать, дык! — так с растущим раздражением думал Коля Тушинский о своём напарнике. — Я тебя что, за свои, дык, кормить должен? Филолух!»

Однако промысел они начали на второй день, перед этим обойдя близлежащие ловушки. Кое-что подправили, кое-что — сделали заново, притащив с берега несколько колод.

— Живучи, падлы! Ставь-от колодину потяжелыше, чтоб не мучились!

Из листа старого железа Серёга смастерил волокушу-пену, запряг в неё Аспирина и Аурума и тягал плавник вполне профессионально. Жулька бегала вокруг носом в снег — искала мышей; изредка вскидывая красивую аккуратную голову с узкими чёрточками глаз, смотрела в сторону волокуши, улыбалась.

Напарники разобрали главный груз — плотницкий инструмент, капканы, сети, верёвки, гвозди, проволоку, зимнюю одежду, обувь и даже рулон полиэтиленовой плёнки, примусы, разложили провиант по тесовым полкам в пристройке, куда вошло почти всё, даже с учётом второго рейса вертолёта. Крупы, сахара, соли, спичек, патронов должно было хватить на полтора года. Консервов мясных, рыбных, овощных, сухой картошки в бумажных барабанах, макарон, муки — на полгода. Спирта питьевого три ящика — шестьдесят бутылок, или тридцать литров, от обморожения, от тоски и душевных болезней, огромный ящик папирос, насколько всего этого хватит — неизвестно, само собой понятно, но Коля специально попросил побольше. Свежего, с последней навигации, лучку, капусты, лимонов от цинги, чтоб зубы не шатались. Картошки настоящей, тамбовской, но в зелёной кожуре — в июне её уже из земли выкопали, для Севера же: пока отгрузят, довезут по железной дороге, потом морем — по дороге созреет. — Край вечно зелёных помидоров! — как всегда не вовремя вставил умник Серёга.

Всё свежее на первое время. Без чего-то можно было, конечно, обойтись, ужаться, подтянуть ремень, чтобы не брать в конторе большую ссуду — отдавать ведь придётся кровью и потом, но начальник, пожилой якут Герка Шариков, успокоил:

— Не бойсь, нюча! Я весь архипелаг, однако, прошёл, на пузе, б... , прополз. Пушнины богато там. Как тараканы, однако, кишат. Зарабо-отаешь! Олень есть! Нерпа есть! Гусь, утка — о-о-ёй! Белый умка есть! С голоду не подохнешь, однако! А запас нигде никогда не помещает. Погода плохой — без всего останешься, ничего, б... , не будет! Один самогон помощник, хе-хе! Дрожжей не забудь — как хлеб печь будешь? Вот так, б...

Две недели возили плавник на дрова, складывали у избы, вечерами пилили под светом звёзд и полярного сияния. День стал коротким, а в начале ноября пропал совсем. Рассветало на каких-то час-полтора.

И то — густые сумерки, потёмки. Перед сном принимали по сто грамм «фронтowych», читай — «полярных». Палили в лампах авиационный керосин, всего было пока много.

Так полярная ночь и началась, без шума, без пыли. Добрый вечер, ребята.

Охота шла своим чередом. Коле это было внове, первый раз в жизни, но Шариков растолковал всё доходчиво, до тонкостей.

— Песес (так он говорил, зубов передних не было) — дурак! Любопытный, сволошь. Кругом ровно, пусто, один белый свет. Скушно ему, б... Палку воткни — прибежит проверить, што такое, што новое появилось! Любую кочку используй, на неё колоду ставь, да посерьёзней, штоб и мяукнуть не успел. Пометит обязательно, для своих же дурачков: моё, не трожь! Вот ты ему, б..., и подложи што потухлей! Издалека, однако, пожрать-то учует. Капканы не вари, железа в тундре много, он его знает. Привады с собой много не бери, потом его же мясом приманивать будешь! Собак кормить не забывай! Это тебе не трактор, однако. Летом порыбачь обязательно, не ленись, песес, б..., рыбку тоже любит. Рыбачь на приваду хорошо. Сколько сможешь, столько и бери, местá летом найди, проверяй, где лёд отойдёт, туда и гоношись. Без рыбки и самому плохо, однако. Собашки, б..., на рыбе всю зиму прожить могут, но сильно не балуй, работать лучше будут. Береги собашек-то, б...

Глупый «песес» пёр в ловушки как на праздник — колоннами.

— Соскучился по общению с культурными людьми, — шутил Серёга.

Он вламывал по-чёрному. Ловушек становилось всё больше и больше, обходить пешком уже не хватало никакого времени, да и страшновато было в темноте, несмотря на карабин. Мерещился везде «белый умка». Подлатал старую, выданную конторой нарту, две ночи разбирал порванную сыромятную собачью упряжь: получилось на коренного и рыжего. Псы не слушались, не понимали, видимо, по-русски, пришлось показывать собственным примером.

Получилась-таки упряжка! Рыжий Аурум филонил, за что и получал от жоака на стоянках, пока Серёга не сообразил поставить его первым. Страх получить взбучку прямо на ходу гнал рыжего лучше любой палки.

У бригадира с Аспирином отношения не сложились.

Характерами не сошлись, решил Серёга.

«Один — глупый и жадный деспот, — размышлял Серёга с высоты своего незаконченного образования, имея в виду Тушинского, — в голове одни понятия, как всё должно быть устроено, то есть младший, всегда менее умный, приспособленный или удачливый, обязан слепо следовать указаниям сверху, даже если это идёт во вред всему сообществу. Это иерархия человеческая, по умолчанию: один случайно оказался выше другого, стал начальником — он должен давить всех, кто ниже, так диктуют понятия социума. Но ведь это дорога в петлю, — шёл дальше Серёга, — потому что подчинённых

гораздо больше, чем начальников, и рано или поздно кто-то из подчинённых сам обязательно станет начальником или даже над начальниками, и тогда... и тогда, опять же, самому социуму пользы от этого — никакой! Потому что в этой борьбе друг с другом энергия уходит впустую, ничего не рождается, а только умирает; например, желание думать и поступать по-своему. Если ты не лидер, конечно. И далеко не каждый начальник является таковым.

Другой, пусть он даже и ездовой пёс, — слишком умён для своего положения, проявляет явные признаки субдоминанты и претендует на роль старшего, потому что он-то как раз и есть тот самый лидер, играет на своём поле, в своей стае прошёл все уровни, обладает природной интуицией, предвидит поступки и ходы доминанты, значит, живёт по законам. Не выказывает открытой неприязни или ненависти, при скрытых конфликтах, связанных с субординацией, подчиняется для виду, то есть уходит от войны, или, другими словами, сохраняет свой авторитет, проявляет мудрость и тем легко подчиняет себе других. При этом приносит пользу данному социуму, сдерживая алчность доминанты, и ведёт за собой тех, кто верит ему».

Лучше худой мир, чем добрая война.

«Блин, да он же человек!» — сообразил, наконец, Серёга.

«...Белое и чёрное правит миром, — продолжал он рассуждать про себя. — Так же проще. И для белого, и для чёрного. Хм, добро и зло — борьба противоположностей, всё по науке! А что вот эти плотники-первопроходцы? На хитрых не похожи. Не заработать же они сюда пришли! Но и на умных не очень-то...это ж верная гибель... Ну а я-то сам пошёл бы добровольно избы эти строить?.. Хм... Пошёл бы! Ведь это только издалека страшно, когда на диване лежишь и вспоминаешь. А я сюда зачем приехал? За деньгами? Нет. А зачем тогда? Ладно... потом разберёмся.

...А какие же у них избы получились! Всё прямое, строгое, удобное для жизни, а кое-где — раз, и финтифлюшка! — балясины резные прилажены или наличник с узором. Неделано, не успевали, видимо, а всё равно красиво. Для других делали как для себя, для нас, значит! Не-ет, они точно мир цветным видели».

«А как видят мир слепые?» — спросил его кто-то внутренний.

«Слепые — в смысле незрячие или которым всё по фигу?»

«Хм, незрячие, конечно».

«Не знаю... Наверное, для них мир — это звук».

«И только? А интуиция?»

«Ну! Интуиция! Вон, собаки, они же видят всё чёрно-белым?»

«Нет, они так живут...»

А при тесном общении с вожаком бригадир опустился до того, что стал, издаваясь, называть Аспирина аспидом, пользуясь его кажущейся

бессловесностью и думая, что оскорбляет его, превратив белое в чёрное. Вожак отзывался, но голову поворачивал с таким презрением, что бригадир вскоре вообще перестал как-либо его называть, а на окрик: «Эй, ты, сволочь!» — вожак никак не реагировал.

— А ты что аспидов-то вспомнил? И жожака нашего неуважительно называешь, он же на нас работает. Да и аспид — всего лишь безногая ящерица, — подначивал Серёга бригадира. — Не читал, что ли? Или, думаешь, она ядовитая?

— Дык сам ты ядовитый. Собака, она и есть собака, тварь бессловесная, как хочю, так и называю. Имя у него дурацкое. Аспирин — это ж таблетки такие. И тебе-то что — Пурген или Самогон? Главное, чтоб с ног валило. Понимаешь, студент?

Коля был занят работой, первое своё раздражение почти забыл: мало ли, притирка, то да сё, можно и подыграть, позубоскалить. Сам он к собакам почти не подходил — так, если только тушку ободранную кинуть, предварительно разрубив её топором на три части. А какую часть кому — непонятно, все части неравноценные. Стал кидать целиком — собаки не поняли: игра, что ли, такая? Тогда стал рубить на много частей: пусть сами разбираются, короче, Коле было некогда. Обдирал, мездрил шкурки, надевал на правилки, развешивал. Снимал высушенные, сортировал и опять развешивал. Всё по-хозяйски. Парень носит, возит — и хорошо. Пусть хоть ползает, как Шариков.

Сутками напролёт сидел Тушинский за этой работой, прикидывал, сколько заработает, при этом частенько забывал делить на два. Пока Серёги не было, успевал и закашеварить что-нибудь, чай всегда стоял горячий, печка топилась. Тишина только мучила, чудились шаги осторожные, крадущиеся. Тот, кто крался, иногда минут на двадцать замирал, выжидал, видимо, усыплял бдительность, а потом опять: хрум, хрум. Коля понимал, что ерунда это всё, никого там нет, и Серёга скоро приедет, собачки залают. Но всё равно не по себе было: темно же за окошками и на всём Северном полушарии! Из звуков ещё — чайник на печке пищит, как не выключенный телевизор.

«Эх, опять новости пропустил. Нет, оказывается, все новости — в голове! А если спиртику туда подлить, в голову? О-о, ничего сразу стало, не страшно. Новости свежие появились. Так, сколько у нас — у нас? — на сегодня белого пушистого золота? Рапортуют с мест: на четыре штуки больше, чем вчера, и на шесть штук больше, чем позавчера. Ну что ж, убедительные цифры. Вот вам за вашу работу — пятьдесят грамм, можно с вареньем. Хорошо. Спасибо. Служу Советскому Союзу. А какое у нас — у нас или у вас? — нынче число и какого месяца? Так-так. Понятно... Что?! Какое?! Сделайте запрос ещё раз! В компетентные органы! Ну и что вам ответили?..»

Коля вышел из запоя тридцать первого декабря.

Спирту осталось две с половиной бутылки.

5. Джульетта

...Зрачки его уже не были расширены от ужаса, а, сузившись, обратились внутрь, наблюдая за необратимыми изменениями. Ничего уже нельзя было исправить, жизнь покидала рогача.

Он не чувствовал боли, не слышал суетливых движений, с которыми собачьи челюсти рвали его дымящееся мясо.

Сова кружила, не переставая, над местом пиршества, издавая тоскливый неземной крик. Странно было бы подумать, что она оплакивала Одинокого Оленя, но полёт её был плавлен, величав и по-своему торжественен: кто-то прекратил своё существование, чтобы передать энергию жизни другим. Может быть, более сильным и ловким; может быть, более хитрым и умным, а может, и более слабым и неприспособленным, давая им шанс стать сильными и умными. Для чего? Природа не задаётся подобными вопросами, творя свой бесконечный круговорот, только на первый взгляд кажущийся хаосом.

Динозавры, мамонты ушли, но их жизненная энергия осталась. Кто знает, куда перемещаются души животных после их смерти?

Во всяком случае, наблюдательная сова, до сих пор не участвовавшая в перераспределении кармы, была, наконец, замечена тремя молодыми волками, которым показалась странной активность невозмутимой птицы.

Забыв о задании Матёрого и правилах скрытного перемещения на местности, они, обгоняя друг друга, помчались на гребень водораздела, откуда можно было бы осмотреть соседнюю долину.

Псы, наевшись, уже лежали на снегу, вывалив животы. Утоптанная площадка вокруг полусъеденной туши напоминала раскрывшийся ярко-красный бутон, в центре которого, словно пестик с тычинками, возвышались рога с тринадцатью отростками.

Переевший Пок отрывивал куски парного мяса и вялыми движениями пытался закопать их в розовый снег.

Аспирин глодал кость, обхватив её лапами, и время от времени оглядывал близкий горизонт.

Джульетта, прикрыв глаза, положила голову на лапы и дремала, подёргивая бровями. Ей снился зеленовато-сизый лес, наполненный туманом и вкусными запахами, она была молода, чувствовала и откликалась на каждый звук, каждый вспорх из-под лап. Тогда у неё было намного больше сил, чтобы кормиться и служить человеку. Никто не учил её этому служению, всё было просто: души одомашненных предков жили в её душе так же, как кровь многих собачьих поколений перекачивало её сердце.

Она, как всегда, первая и увидела три волчьих силуэта на гребне, вскинула голову. Аспирин перестал грызть и, глянув в их сторону, тихо зарычал.

Это был сигнал тревоги.

Остальные тут же перевернулись с боку на живот, что было очень удобно из-за раздувшихся животов, но справиться с истомой не могли, сонно щурились и клевали носами.

Тем временем тройца, сбавив темп, всё же шла на сближение. Они покачивали головами, помахивали хвостами, постоянно меняя направление. Было что-то поддельное, обманное в их мирном движении. Не доходя метров сто, они остановились.

Шерсть на загривке Аспирина встала дыбом, он поднялся и, рыча, пошёл им навстречу.

Волки стояли в ряд, поднимая и опуская морды, словно танцевали, нюхали, ловили кусочки запахов. Но не отступали.

Следующей лениво встала Джульетта. Пошатываясь, сделала несколько шагов куда-то в сторону, потянулась потом, вдруг преобразившись, прижала уши, игриво опустила морду и, приплясывая, двинулась к жожаку. Аспирин оглянулся, в его жёлтых глазах стояло недоумение.

Джульетта куснула друга за ухо. Друг боком шарахнулся от неё, переводя взгляд с подруги на волков и обратно. Тогда она, заигрывая, припала на передние лапы, отставив зад в белых штанах и с туго закрученным хвостом, скакнула вбок, подпрыгнула и налетела на жожака всем телом. Аспирина удалось отскочить, он встал боком к волкам и повилял хвостом.

Собаки и волки — уши торчком, замерев, — смотрели на игру двух влюблённых, ничего не понимая.

Сумасшедшая пара пошла колесом. Куда только делись лень и послеобеденная истома! Джульетта показывала феноменальную гибкость и прыгучесть, а литой Аспирин, играя мышцами, мчался, словно снаряд, поражая зрителей мощной грудью и величественным поворотом головы.

Снежный вихрь, поднятый ими, накрыл, наконец, озадаченных противников и прокатился дальше.

Двух волков в пейзаже не хватало, а третий нёсся уже вверх по долине в сторону сопок. Догнать его никто не пытался.

6. Серёга

— Серёга, а кто же у нас весь-от спирт-то выпил, а? — слабым голосом спросил Тушинский.

В голове у него тикало, сердце застряло где-то возле горла и мешало дышать, бұхало.

— Ну ты, б..., даёшь!

— Чего даёшь? Дык спирт где?

— Вот же бутылка, командир!

Ещё полторы Серёга спрятал в песцовых шкурах, на холодке.

— Одна? Кака одна?! Лучше по-хорошему отдай! Моё это, понял? — прошипел Коля. — Я здесь хозяин, и всё здесь моё! И ты тоже, падаль!

До этого момента Серёга ещё сохранял спокойствие, сдерживался, ситуация казалась ему забавной: надо же, люмпен выжрал канистру спирта и не помнит ничего! Еле живой, а спирт ему подавай. Во прикол!

Всё время Колиного запоя Серёга ездил на ловушки, собирал добычу, проводя на морозе по двенадцать-четырнадцать часов. Потом пилил колот дрова, топил снег для чая и похлёбки, кормил собак, обдирал шкурки, делал кучу всякой мелкой работы, которую никто и не увидит, если внимательно не приглядится. И всё равно он не успевал. Гора песцовых замороженных тушек росла, старые постромки рвались каждый день, а заготовленный осенью плавник кончался. Одежда замаслилась и плохо грела, унты порвались, он никак не мог высушить их до конца, потому что спал, вернее, забывался на три-четыре часа — это пришла бессонница, спутница полярной болезни. Сутки растянулись до непонятных размеров, а в полярной темноте день с ночью перепутались настолько, что Серёга не знал, утро сейчас или вечер, биологические часы дали сбой. Он вдруг с ужасом обнаружил, что не знает, какое сегодня число и какого месяца, ошибка могла составлять и неделю, и две. Он сильно исхудал, и, глянув как-то в пошедший ржавчиной осколок зеркала, увидел там старое измождённое бородатое лицо с ввалившимися глазами, обмороженные щёки, серый морщинистый лоб.

«Кто это? — мелькнула мысль. — Это — я?!»

— Кто падаль? Кто?! — захрипел Серёга.

...И всё это время, пока он работал, надрывался из последних сил, гробил здоровье и черствел душой, этот... эта... мразь, эта... перегарная скотина... гадила под себя, воняла, мычала и икала в тухлую подушку, рыгала на печку и требовала водки, водки, водки...

— Кто?! — заорал Серёга.

Он чувствовал жжение в воспалённой голове, на глаза спустилась пелена. Неудержимым стало желание расплющить, вдавить в пол мерзкую Колину физиономию, топтать её ногами, драть эти свалявшиеся волосы, бить в стеклянные глаза, в протухший рот с гнилыми зубами...

— Дай... сюда-а, — Тушинский протянул трясущуюся руку, глядя на бутылку остановившимися зрачками.

— Н-на!

Бутылка со спиртом, показалось Серёге, сплюснулась о голову бригадира, искажаясь, как отражение в воде. Напряжённое стекло лопнуло, разлетелась жидкость мелкими брызгами и стекла вниз, окрасившись красным.

Коля издал горлом утробный звук и, не закрывая глаз, рухнул под стол лицом вниз.

«Занавес», — хотелось сказать Серёге, но вместо этого он, не оглядываясь, сел на пол, задвинулся в угол между столом и нарами, обхватил голову чёрными руками с обломанными ногтями и заплакал.

7. Матёрый

Они всё-таки нашли еду в районе Человеческого Дома — обезумевший от страха Малыш принёс запах пса.

Раньше, ещё до начала Великого Мора, стая Матёрого жила на южном берегу острова. Тундра кишела леммингом — в глазах рябило. Казалось, мох и трава ожили и отправились в путь. Такого изобилия еды не помнили даже старые волки. Жизнь стала сытой и лёгкой. Стада оленей без опаски бродили по тундре, волки провожали их ленивым взглядом. Волчатам хватало молока, они сами быстро учились ловить копытную мышь и росли как на дрожжах.

Инстинкт подсказывал одно: пользуйся тем, что есть, не бери больше, чем нужно, иначе силы и разум покинут тебя.

Какое там! Даже безобидные олени стали хищниками и нет-нет, но заедали гривастый ячмень леммингом.

В этом изобилии и таилась смертельная опасность.

Седой и Верная, потерявшие от счастья разум, оставили родные места, чтобы воспитать детей на северных территориях острова. Видимо, горячее солнце свело их с ума, вскипятило кровь. Так бывает, когда молодость и любовь кружат голову и кажется, что впереди — только тепло, только лето и лёгкая добыча, что так будет всегда. Никогда год не приходится на год: один сытый, три — голодных. Но они ушли в сытый, и никто не посмел удерживать их. А любовь их ушла только вместе с жизнью, когда Великий Мор ударил Седого в сердце, и он упал, не успев коснуться лапой прибрежной гальки, и Верная, беспokoясь, потыкала его носом, лизнула несколько раз в мёртвые губы и тоскливо завывала, оглядев пустынный берег...

На юг острова болезнь пришла в августе, когда вовсю светило солнце, жёлтые полярные маки трепал нехолодный бриз, а розовые гвоздики, крутя головами, следили за незакатным греющим лучом. Бешеные песцы, вскидывая задом, гонялись друг за другом, твякая на текущую воду, кусали болотные кочки и бросались на старших братьев — волков. Коварная хворь туманила взгляд, била слабостью по мышцам и костям. Больные волки не могли есть даже мышей — выворачивало. Пили воду, обкусывали траву, от которой становилось ещё хуже. Шатаясь и припадая на задние лапы, канисы, подчиняясь инстинкту, покидали обиталище, разбредались по окрестной тундре. Мучения заканчивались спустя несколько дней. Тихая смерть уверенно вела и тех, и других за собой, завлекая в укромные распадки и заставляя свернуться калачиком, подсекала на бегу, Великий Мор кидал в глаза огненные искры.

Смерть не обманывала волков — не отнимала свободы, давая покой.

Матёрый, брат Седого, почти не помнил далёкую прошлую жизнь, осталось лишь чувство защищённости с севера, когда Седой и запах его слились с островной равниной. Больше они не виделись, хотя, быть может, и не узнали бы друг друга при встрече...

Осенью поредевшая стая увязалась за мигрирующими оленями и двинулась на север острова. Матёрый шёл против ветра, щурил глаза от бьющей картечью снежной крупы, стараясь не потерять цепочку оленьих следов. Только там, впереди, была жизнь...

Замерзающий остров, словно ледакол, принимал на свои закаменевшие пляжи тонны торосащегося льда и, живой, притапливался слегка, седые усы плавника по-моржовьи топорщились. Ныряя в снежные заряды, выгибал он бугристую, изгрызенную ручьями и норами спину, неся на себе олени стада и преследующие их волчьи стаи, тысячи и тысячи куропаток, гусей, лебедей; журавлиные стаи поднимались с его равнин надутыми парусами, подгоняя древний осколок материка к зимнему лежбищу. Всё происходило своим чередом, ничто и никто не могли обогнать друг друга, забежать вперёд ни на шаг или отстать хоть на полшага, хоть на пол-лапы.

Куропатки! Вот что отвлекло Матёрого! Куропатки, жители воздушной и земной стихий, всегда используют своё природное преимущество. Он сделал круг, услышав хлопанье крыльев и клёкот, — вот они! Мелькнули зеленоватые тени и опустились в пятидесяти метрах. И так несколько раз.

Матёрый не рассчитывал на добычу, тем более во время перехода, но, решив, что олени никуда не денутся, увёл стаю за куропатками — рано или поздно они спрячутся от пурги в снег...

Олени шли быстро, на ветер, который пах сыростью и больше ничем: путь был свободен. Тяжёлый снег смешал землю с небом, забивал глаза и ноздри, но почти сразу заметал следы. Горбоносый вожак несколько раз менял направление, ведя стадо из одной долины в другую, ноги сами вели его невидимыми тропами. Сто, двести, триста лет ходили по ним его предки. Шестнадцать коров и тёлочек, четыре рогача и два телёнка двумя шеренгами уходили на север вдоль сто сорок третьего меридиана.

Ветер усилился. Это означало, что стадо вышло к морю, за всё лето так и не открывшемуся ото льда, над которым пурга, ища преграду, металась особенно яростно. Олени сгрудились на краю отвесного обрыва: казалось, что дальше пути нет. Однако Горбоносый легко скользнул в узкую промоину — стадо послушно последовало за ним — и через несколько минут вывел всех к подножию берегового клифа, изрезанного вертикальными расщелинами. Устье оврага там, внизу, было завалено плавником в пять накатов, а из притыловой застывшей няши торчали концы размочаленных стволов. Гудящий вихрь взмывал перед клифом в мутное небо, бровка обрыва истекала снежной пылью. Здесь, в затишье, вожак устало огляделся и понял, что не хватает старого быка, который всегда норовил идти своей собственной дорогой, и молодого глупого Красавчика. Шумно выдохнув воздух, он несколько раз ударил копытом в мёрзлую землю, обращая на себя внимание, и медленно отошёл в сторону моря на

сторожевую позицию. Один за другим олени начали укладываться на отдых. Струющийся сверху снег быстро засыпал их чёрные спины.

Горбоносый тоже лёг и мгновенно задремал, не опуская головы.

Старый Одинокый Олень брёл в это время в сторону сопок навстречу собачьей стае, а любопытный Красавчик, отставший в круговерти от стада, наткнулся на брошенное антенное поле и, запутавшись рогами в стальных растяжках, терпеливо ждал смерти, переступая с ноги на ногу.

...Матёрый привёл стаю в верховья Тусклой реки, когда-то прорезавшей мощное торфяное болото, от которого теперь остался лишь лабиринт трёхметровых останцев с пышными шапками высохших корней, свисавших иногда до самой земли и образующих уютные места для лёжек.

Это было идеальное место для логова.

Как Малыш не проскочил Торфяное Болото, шилохвостью летя над тундрой,— неизвестно. Подгоняемый страхом, он заложил два некрутых виража, спиралью приближаясь к дому, чтобы ужасные псы не смогли сразу найти вход, а последние пятьдесят метров полз на брюхе, поджимая хвост и изображая глазами крайнюю степень беспокойства.

Матёрый, замерев, смотрел куда-то мимо Малыша. Даже осыпавшийся с обрыва суглинок не заставил его пошевелиться, он чувствовал подушками лап учащённое биение Малышового сердца. Фиолетовые сумерки тихо сгущались, и слабые всхлипывания щенка тонули в них, отдаляясь. Вожак поднял голову и вместе с паром выдохнул первый аккорд...

8. Тушинский

Никогда Коля не помнил себя плачущим. Разве что в детстве, и то не от боли, а от бессилия, от унижения, что не смог справиться, дать отпор соседу-пацану, несильному, но хитрому. Обиду эту запомнил он на всю жизнь, но никогда не вытаскивал её наружу, никому не показывал, просто берёт на всякий случай. Вот теперь пригодилось.

Тёмным утром вывалился Коля из избы на мороз, дыхнул перегазом на звёзды, задрал бороду кверху, увидел луну в радужном ореоле, постоял, качаясь. Сгрёб с наста пригоршню ледяных кристаллов и втёр их в макушку шершавой ладонью.

— У-у, б...

Лунная дорога лежала, лоснясь, на заструженной плоскости моря, застывшие волны снега искрились и плыли навстречу. Казалось, снежная равнина движется куда-то сама по себе, излучает свет и сама же его поглощает.

Тушинский долго таращился в гудящую тишину, ощущая на лице колкие струйки тающего снега, тут же смерзавшиеся в лёд. Холод обжигал кожу под грязным свитером, но Коле вдруг стало тепло.

Он увидел длинную скачущую тень, перечеркнувшую серебряную дорожку, и до него не сразу дошло, что это не во сне, что волк хорошо видит его, освещённого луной. А другие волки заходят с тыла, скрадывают, прижимаясь к собственной тени, — вот-вот сейчас они прыгнут из мрака! — и нет на земле места, где мог бы скрыться от них Коля Тушинский.

Глухо ухнула избяная дверь.

— Э, бригадир, ты куда?!

«А-а, боишься! — разглядев напарника, порадовался Коля, приложил к голове ещё одну пригоршню снега и молча, пригнувшись и пошатываясь, пробрался обратно в избу, задев Серёгу плечом. — Ну, я тебе, дык, покажу-у, узнаешь ещё, узна-аешь! И этим-от тоже покажу! Думаете, обложили, да? Узнаете, все узнаете!»

Он взял топор, сгрёб в сторону кружки и банки на столе и лезвием прочертил столешницу, разделив её пополам. Под нажимом топор глубоко врезался в древесину. Всё, что стояло на столе, тоже раскидал на две кучки со звоном и грохотом.

Серёга, не говоря ни слова, наблюдал за действиями напарника. Злость, страх и раскаяние ушли, осталось чувство усталости и безысходности. «Как теперь жить дальше под одной крышей с этим... волком? Ждать каждую минуту удара в спину? Бояться каждый день? А работать?! Как же работать?»

Как можно работать молча? Оказывается, это просто. Молчишь и работаешь. Приезжаешь с ловушек — не здороваешься, молчишь. Хлебаешь варево, пьёшь чай — молчишь. Видишь белого медведя, который подходит сзади к твоему напарнику, занятому настройкой пасти, — молчишь, и не потому, что крик застывает в глотке. Молчи — таков уговор. Пусть у него будет своя судьба, а у тебя — своя, таков закон выживания. Посмотрим, кому повезёт больше.

Их молчание влилось в великую тишину белого безмолвия, где только ветер — течение воздуха — имеет право родить звук, потому что ветер живёт сам по себе, ему нет равных, ему хорошо в одиночку и песню спеть, и разнести что-нибудь в пух и прах...

Но с этого дня в гул ветра стал вплетаться изменчивый незнакомый голос, от которого на сердце становилось зябко, тяжёлые медленные мысли начинали наезжать друг на друга, словно льдины во время ледохода, а собаки поднимали головы, прислушиваясь, и с тревогой заглядывали в глаза людям.

Это были волки.

Теперь остров показывал всё как есть, уверенно переходя в наступление, словно чувствовал, что не всё у людей ладно, что они слабы и долго им не устоять.

Легко подвести черту под прошлой жизнью, а вот начать новую — не у всякого сил хватит. Тушинский за порог избы вообще выходить перестал, приспособив помойное ведро под парашу. Варить еду ему

стало лень, ковырял замёрзшие консервы, вскрывая их топором, так как нож где-то забыл и не мог найти его в темноте. В молочном бидоне поставил брагу-скороспелку, замотав её ватными штанами для тепла, да ещё поднял повыше, на нары, и спал рядом, как собака, свернувшись калачиком и грея бок её собственным теплом. Брагу начал пить на третий день, не дождавшись крепости. Правда, через двое суток допивал со дна уже вполне готовый напиток.

Работу Коля забросил, но посвятил ещё некоторое время изготовлению самогонного аппарата. Попробовал приспособить кастрюлю с мисками разного диаметра, но драгоценный пар улетучивался, уходил, мать его, не давая полной отдачи. Потом дошла очередь до чайника. Эта система оказалась получше, но тоже не обеспечивала герметичности. Тут воспалённый мозг Тушинского начал работать как у конструктора космических кораблей, тут уж не было ему сейчас равных. Зыбкий образ Герки Шарикова активно вмешивался в творческий процесс, наставлял, подсказывал, пока Коля не показал ему заряженное ружьё и не предложил выйти вон — туда, к волкам! — Ты же «окотник», б...! — передразнил его Коля. — Вот и иди, добытчик, мне дык тут одному мало!

Шариков исчез, и вместе с ним двадцать восемь литров спелой браги. Коля не мог простить учителю такой наглости, ведь перегонный аппарат на девяносто процентов был сконструирован и собран из подручных вещей самим Тушинским, собран на последнем усилии воли, на последнем «а-а, б...!», да и брага была всё-таки Колиной собственностью. Поэтому, находясь в полном праве и оскорблённых чувствах, непохмелённый бригадир схватил свой любимый инструмент для ближнего боя и с криком; «Я, дык, предупреждал!» — вонзил его в то место, где, бывало, находился нетленный образ наставника.

Когда вернувшийся с ловушек Серёга увидел осколки зеркала и воткнутый в стену топор...

9. Джульетта

Марокканец и Принцесса летели всю ночь. Сначала их оперение было окрашено багровым. Это был свет вечерней зари, но солнце так и не опустилось за выпуклый горизонт, а снова запрыгнуло на дальние, подёрнутые голубой дымкой хребты, заливая тундру золотистым утренним светом. Под крыльями лебединой стаи проплывали реки, протоки, старицы, озёра, сверкавшие на солнце и в матоволунном свете, — осколки неба, которое много веков назад упало на землю, разбившись на тысячи осколков. Не было среди них даже двух, похожих друг на друга; и осколки эти сложились в затейливую мозаику, такую сложную, что даже всемогущая Природа не смогла бы повторить её ещё раз. С тех пор перелётные птицы летают по этой карте два раза в год, и не было ни одного случая, чтобы они сбились с пути.

Стая отдохнула на берегу Большой Воды, другого края которой не было видно даже с высоты, и снова поднялась в воздух. Нужно было торопиться, пока Великие Ветры не пригнали снеговые тучи и не раскидали лебединый клин.

Силы их были на исходе, но близость родных гнездовий, родины заставляла ещё и ещё раз напрягать затяжелевшие крылья — лебеди улюлюкали, подбадривая себя. И вот впереди показался, наконец, знакомый силуэт острова, проявилась серая лента песчаного пляжа с белой полосой прибоя. Лебединый клин нарушился, крылья заполоскало, словно паруса, кто-то отстал, жалобно крича, кто-то со свистом рванулся вперёд. Марокканец, летевший первым, недовольно крикнул, приказывая не нарушать строя и не сбиваться с ритма. Принцесса вторила ему, но птицы, возбуждённо покрякивая, уже пошли поодиночке вниз, к воде, скользя на мощных маховых перьях вдоль невидимых воздушных струй.

Тогда вожак сделал круг, набирая высоту, Принцесса не отставала от него ни на взмах. Вдвоём они поднялись ещё выше, оглядывая пёструю холмистую землю, победно загоготали, здороваясь с ней, и, медленно кружась, начали спускаться к своему озеру.

Распавшаяся на пары стая осталась на берегу пролива, озабоченно переговариваясь. Над нею, крутя головами и роняя капли с висящих перепончатых лап, уже нарезали круги любопытные серебрянки. Со свистом проносились беспокойные крачки, крича своё обычное «чиво-о!». У берега плавали, покрякивали стремительные шилохвосты, подолгу ныряя за бармашами-бокоплавами и морскими скорпионами. Полярные жаворонки свистели на все лады, перепархивая с места на место. Всё это были полярные аборигены, покидавшие остров только с приходом настоящей зимы. Сейчас же светило солнце, дул тёплый ветер, волнами пригибая низкую траву.

У подножия обрыва лежали первые жертвы капризной арктической погоды: маленькие тельца двух ласточек, занесённых сюда южным попутным ветром.

Белоснежка и Забияка тоже оставили стаю; теперь пары разлетались по своим законным гнездовьям, не мешая друг другу. На их озере, бывшем когда-то руслом реки, ветер гнал мелкую волну, на которой чёрной корягой качалась гагара, обругивая почём зря весь белый свет. Лебеди долго шли над самой водой, чертя лапами два пенных следа, и шумно приводнились у знакомого берега.

Белоснежка выбралась на траву, а Забияка сделал стойку и, угрожая хлопая огромными крыльями, пошёл на гагару в атаку. Гагара мастерски нырнула перед самым его клювом, рыбой пронеслась под водой с десятков метров и, едва показавшись, снова скандально завопила. Разъярённый Забияка заложил крутой вираж и снова бросился на незваную гостью. Гагара опять нырнула...

Джульетта долго сидела в засаде, скрадывая непослушную длинношею утку, хотя никакой надежды добыть её не было, да и сам запах и вкус рыбной птицы не вызывал приятных воспоминаний, но дома, в пристройке, на воняющей солярой телогрейке ждали её три голодных двухмесячных щенка — Пирамидон, Чик и Пок.

Промысловиков на острове уже не было, их забрала весной Железная Птица, и Джульетта мышковала и подбирала то, что валялось вокруг избы, а теперь, с прилётом птиц, можно было поохотиться на более серьёзную дичь и дожждаться, когда трудноуловимые пернатые положат в гнёзда яйца.

Джульетта двигалась легко, лапы и тело стали невесомыми, и ей удалось подобраться к Белоснежке, ошавшей от долгого перелёта и потерявшей всякую осторожность, на расстояние последнего броска. Намертво прихватив шею лебёдки, Джульетта зажмурила глаза, упёрлась задними лапами в грудь птицы и изо всех сил потянула на себя, уворачиваясь от страшных беспорядочных ударов крыльями. Крикнуть Белоснежка не могла, и постепенно глаза её стали тускнеть и закрылись, наконец, подрагивающей плёнкой розовых век. Джульетта, не разжимая челюстей, по-волчьи забросила добычу на спину и потрусила низиной в сторону багрового заката, освещавшего вершушки пологих холмов.

Вредная гагара, наигравшись, взмыла вверх и полетела на следующее озеро, по-змеиному изворачивая длинную шею и надрываясь в бестолковом крике, а Забияка вдруг обнаружил, что Белоснежка не отвечает на его победные возгласы и что он остался на озере один...

10. Серёга

...Он сразу понял, что к ним в избу пожаловала дорогая гостья — белая горячка, «белочка», которую просто так не выгонишь, на крючок от неё не закроешься, не смахнёшь, как поганку с дерева. Теперь дело принимало по-настоящему серьёзный оборот, если не сказать — смертельный.

Нужно было уходить.

«А куда? Куда?! — лихорадочно соображал Серёга. — Ближайшая изба находится почти в сорока километрах, что, в общем-то, неплохо: чем дальше, тем лучше, — но там — развалины, в окнах нет стёкол, и сорванная дверь валяется где-то рядом, под снегом, — искать нужно! Нет трубы на печке, а внутри...»

Внутри, едва не доходя до оконных проёмов, кособочилась ноздреватая, присыпанная снегом наледь, исчёрканная мышиными следами. Туда надо было перенести ещё и запас продовольствия и снаряжения...

«Без собак, без собак тоже нельзя! Без собачек — смерть! А этому они всё равно не нужны, они погибнут, он даже из избы выйти не может, не то что покормить. А Джульетта на сносях, значит, и щенки тоже погибнут!»

И ещё теперь, думая о будущем, он всё чаще и чаще оглядывался назад, вспоминал своё студенческое бесконечно далёкое бытие, шалопайство и разгильдяйство. Чего стоили одни только походы по пиву в «Блинную» возле китайского посольства! А ночёвки на чужих дачах, с водкой и разговорами о политическом устройстве родного государства! Ну, преферанс по пятаку — это извечное, студенческое! Да ещё и с «вечными» студентами, прошедшими по два-три курса серьёзных инженерных вузов, — у них многому можно было научиться.

Молодой мозг впитывал всё, как губка. Казалось, вот он, момент истины, наступил: народ хороший, правительство — говно! Всё понятно, впереди прямая дорога. Будем душевно чистыми, умными, почти мудрыми, всё понимающими, кроме подлости, готовыми на подвиги во имя... не светлого, но лучшего будущего!

Хотя никто не представлял, какое оно должно быть, это лучшее будущее. Или что, виновные в арестах тридцать седьмого должны публично покаяться, признать свои ошибки? Чем тогда наше время отличается от тридцать седьмого года? Изменить систему?! Как? Мы же Ленина изучали, товарищи! Там всё прописано!

Или совсем уже мелочь по сравнению с большевистским геноцидом: зачем снесли старую Москву? Раньше это делал товарищ Каганович, а потом кто? А потом товарищ Посохин!

Вот и запомните это имя! Уничтожать историческую память народа — это плохо? Да, плохо! То же самое, что уничтожать и сам народ!

Но ведь её не восстановишь, Москву-то! И народ из могил не поднимешь. И изменить ничего не изменишь. Так давайте развивать тему справедливости! Давайте открывать советскому человеку глаза на недавнее прошлое страны. А народ у нас хороший, правительство вот... подкачало...

Главным во всём этом были, конечно, не пустопорожние споры, а сама атмосфера, наэлектризованная брожением в молодых умах и душах, — анекдоты, запрещённая литература, самиздат, слухи о диссидентах-одиночках. Вот тут действительно КГБ щекотал нервы: никто не знал точно, кто настоящий стукач, а кто просто трус.

Это была некая игра, «русская рулетка».

И Серёга ходил по общаге с толстенным томом «Истории КПСС», завернутым в грубую обёрточную бумагу, на которой он сам и написал: «Архипелаг ГУЛАГ». Милая шалость, за которую можно было из Москвы увидеть колымские красоты. Толстая книга с трудом держалась у него под мышкой — рука устала, — но перепуганные девицы провожали его влюблённым взглядом: вот он, андеграунд!

Ночами, договорившись на кафедре, он перепечатывал на машинке крамольные очерки о советской действительности, переправленные из-за «бугра», стихи Наума Коржавина, и сердце его замирало от настоящего страха и неподдельного счастья. Таких, как он, было много, он хотел быть одним из них и идти выше и дальше. Но недотянул...

Два года Серёга переживал трудную любовь с дочерью декана. Трудную, потому что в его представлении декан принадлежал как раз к тем, против которых он боролся на своём маленьком участке фронта. И, как ни странно, именно эта любовь толкала его на опасные самиздатовские подвиги и в конце концов опустошила без остатка, сломала, как ветку об колено...

Деканская дочь рассказала всё папочке, пытаясь его спасти. Глупенькая...

На этом фоне попытка учебной части привести его в чувство, отчислив за неуспеваемость по английскому языку, показалась сначала приятным детским сном.

Но только сначала, потому что потом его пригласили в кабинет без номера, где состоялся главный разговор, и на этом Серёгина университетская жизнь закончилась.

Он же не мог себе изменить! Пришлось изменить любви.

Поразмыслив, Серёга пришёл к такому успокоительному и, возможно, революционному выводу: наше общество выталкивает своих недругов, врагов, отщепенцев, то есть всех неугодных, выкидышей, на географические окраины государства, в Тмутаракани и Усть-Пиздруюски. Это называется ссылкой или поселением — перед глазами вставали те самые примеры! Поэтому лучше честно и достойно пойти туда добровольно, проверить, на что ты готов ради своих убеждений.

А ради них мы, узники совести, готовы на всё! Долой уют! Вон из цивилизованной, комфортно устроенной жизни! И пусть мне будет плохо!

Конечно, в этом уходе, или, точнее, побеге были и немалая доля позы обиженного и непонятого борца за народное счастье, и несомненный романтический крен: «А-а, вы меня за мальчика считаете! Жалеете! И наказание придумали несолидное, детское! Ну ладно, я вам докажу, на что способны настоящие мужчины! Я сам туда поеду, без ваших упакованных псевдодекабристок, которые только и умеют, что на рояле бренчать и вышивать крестиком! А предательство с благой целью не перестает быть предательством».

Всё в одну кучу свалил, но решение всё же принял.

Серёгины родители пытались вразумить его, остановить беспорядочный бег в никуда: «Высшее образование необходимо сейчас каждому интеллигентному человеку!» — но Серёга в запале накричал на предков, обозвал их мещанами, употребив ещё более обидное слово «обыватели», и с пустой душой и сердцем покинул родительский дом.

Да, неплохо было бы вернуться сейчас туда! Туда, где играют на рояле и вышивают крестиком! И дают разумные и добрые советы!

«Да что там щенки! Не в них дело!» — размышлял в панике Серёга.

И действительно, уже его собственная жизнь повисла на волоске!

Однажды, проверив попутные ловушки, Серёга бросил всё и мотнул на ту дальнюю избу, которая значилась на карте под названием «Изда Фёдора».

«Что за Фёдор такой был?— думал Серёга.— Кой чёрт его сюда занёс? Не из тех ли тринадцати, которые в архипелаге избы строили?»

Под снегом он обнаружил всевозможный мусор, помойку, где нашлось много полезных вещей, некоторые из них были старше его в два раза. Медный примус из довоенной коммуналки, погнутые ружейные стволы (кто их гнул и зачем?), медный же чайник из фильма «Ленин в Октябре» (может, тут и броневик где-нибудь закопан?), рваная женская обувь пятидесятих годов (женщины вездесущи!), но главное! — в прибрежном плавнике он случайно нашёл четырёхметровую буровую трубу.

Хм, этот выкидыш оказался счастливым...

II. Забияка

Беспокойно оглядываясь и жалобно подзывая подругу, Забияка метался по озеру, забыв и гагару, и весь долгий и трудный перелёт. Не жалея последних сил, он разогнался, оставив на водной поверхности расходящиеся овалом буруны, и стремительно поднялся в воздух.

Белоснежки нигде не было.

Расширяя круги, Забияка удалялся всё дальше и дальше от озера, стараясь рассмотреть на земле каждый бугорок, каждую травинку...

С исчезновением Белоснежки на доброй половине острова и в лебединой колонии поселилось несчастье. Оно не кормилось и не отдыхало, неугомонный его гогот и хлопанье крыльев раздавались над обжитыми гнездовьями, над головами сидящих на гнёздах лебёдок, чем приводили их в полное беспокойство и заставляли пригибать к земле гибкие шеи. Лебеди, главы семейств, тревожно провожали его шипением и распахивали крылья навстречу ветру, всегда готовые к экстренному взлёту, чтобы несчастье не приземлилось на их территории.

Но что мог поделаться Забияка, лишившись любимой подруги? Вся нежность и тоска по любви остались в его сердце не востребованными и толкали, гнали его усталое тело вперёд и вперёд. Иногда он поднимался на огромную высоту, где солнце никогда не бывало красным и откуда видны были другие острова за синими и белыми проливами. Там тоже была жизнь, детский писк птенцов и слабое тьякканье новорождённых песцов, урчанье волчат, сосущих материнские соски, и множество других звуков счастливой жизни.

Его неудержимо тянуло туда, и только чувство потери заставляло снижаться над своим озером, и каждый раз, приводняясь, он ждал встречи с Белоснежкой, и каждый раз, не дождавшись, вновь взмывал над тундрой.

И однажды Забияка не выдержал: он плюхнулся на чужое озеро и, помогая себе мощными крыльями, словно вёслами, погнал грудью крутую волну, которая вскоре докатилась до нависшей над водой травы.

Из травы показался Марокканец. Он угрожающе зашипел, грозно забил крыльями, поднимая тучу брызг, и ринулся в контратаку.

Две гигантские птицы поднялись над озером, разошлись в стороны и, свистя перьями, пошли навстречу друг другу. Перед неминуемым столкновением они вдруг почти остановились, встав свечкой, и ударились грудью. Потом разошлись со снижением и повторили свой смертельный таран.

Затем бой продолжился в дальней от гнезда части озера, в воздухе мелькали огромные крылья, белые, выбитые ударами перья крутились в последнем штопоре. Клювы были раскрыты в яростном крике.

Птенец крачки, маленький пуховой комочек, что-то разглядывавший на отмелом урезе, в ужасе побежал к спасительному берегу, переваливаясь на коротких ножках. Его разъярённая мать с пронзительным воплем пикировала в это время на нарушителей границы со стороны солнца, стараясь сблизиться на расстояние удара клювом. Ей это удалось, но большие птицы, разгорячённые боем, не заметили стража порядка и продолжали схватку.

Птенец добрался до лужи и бесстрашно кинулся в микроскопическую волну, ветер гнал его, словно кораблик, с удвоенной скоростью.

Крачка немного успокоилась, но барражировала неподалёку, наблюдая за ходом боя.

Но тут не выдержала Принцесса. Грациозно поднявшись над полем битвы, она первым делом обругала бестолковую крачку, а потом стала раздражённо выговаривать Марокканцу за то, что он себя не бережёт, и что будет, если он получит тяжёлую рану или даже погибнет в поединке с этим сумасшедшим однолюбом.

Марокканец что-то зло отвечал ей, делая вираж за виражом, пока обессилевший Забияка не рухнул в воду комком изломанных перьев.

Счастливая пара некоторое время поплавала возле бездыханного тела, медленно дрейфовавшего вместе с клочками серой пены, слабый ветерок шевелил белый пух на его измятой груди.

Принцесса горестно известила округу об окончании поединка и тихо позвала Марокканца к оставленному гнезду.

Всё это время на берегу озера лежала собака с палевым окрасом и, подняв уши торчком, не отрываясь, смотрела на лебедей, ожидая, когда ветер пригонит к берегу...

12. Серёга

И только здесь, возле старого Фёдорового жилья, размякнув, беглец Серёга почувствовал, что в природе что-то происходит, именно почувствовал, так как заметить какое-либо определённое изменение было ещё нельзя, ведь северная весна всегда приходит через ощущение, которое можно просто не понять в текучке и усталости полярной зимы. Да и ощущение это — так себе, лёгкое дуновение теплеющего ветра или запах, исходящий от снега. У Серёги это была

первая весна на Севере, поэтому он не мог знать, что снег начинает пахнуть по-особому, а сердце начинает биться чуть быстрее, но вот когда в человеке появляется чувство близких перемен, изменений и вокруг, и в нём самом,— вот тут каждому становится понятно: это она пришла, весна!

Обустройство на новом месте, в избе Фёдора, не заняло много времени: многолетняя свалка изношенных вещей оказалась ценнее глотка воды в пустыне. Отрезав резиновые подмётки от дырявых кирзовых сапог, Серёга приспособил их в качестве дверных петель. Дверь была перекошена, и закрывать её надо было с усилием, приподнимая, но это уже была дверь, отделяющая жилище от просторов Арктики!

Потом тщательно заделал выбитые окна кусками истлевшего брезента и рубероида, натянув невесть откуда взятый кусок полиэтилена на пол-окна: теперь большую часть суток в избе можно было разглядеть покрытые плесенью полки с почерневшей от копоти посудой, вешала под потолком и торчащие из наледи стол и угол печки.

Смысла вырубать изо льда стол не было, а вот над освобождением железной печи пришлось потрудиться как следует. Дверца была оторвана, и Серёга случайно нашёл её, ковыряя лёд позади печки. Буровую трубу с берега — за полтора-то километра! — он решил пока не тащить, совсем обессилел, а вот печку сразу же затопил и порадовался вначале, что дым столбом уходит в круглое отверстие в потолке, как в индейском вигваме, но скоро изба заполнилась дымом, и ему пришлось регулировать тягу, чуть приоткрыв дверь и лёжа на наледи.

Первую ночь он провёл на деревянном щите, завернувшись в сырую оленью шкуру. Печь продолжала дымить, и он погасил её. Собаки, как всегда, остались снаружи, но лежали тихо и не скрипели снегом. Непривычно было лежать одному в избе и в полной тишине: никто не храпел, не потрескивало в печи. Зато было слышно — или это казалось? — лёгкое шуршание снежинок, задевающих друг друга, опускающихся в голубой призме лунного света через отверстие в потолочных плахах. Он как будто вернулся в детство, в волшебную сказку и в первый раз за последние месяцы крепко уснул...

Остальное Серёга сделал за сутки. Решил всё-таки притащить с берега трубу. С трудом взвалив её на плечо, он прошёл, проваливаясь в снег, метров десять и в конце концов завалился, потеряв равновесие. За второй приём он прошёл пятьдесят метров, но впереди была ещё не одна сотня шагов, и он подумал, что умрёт под этой страшной тяжестью где-то на середине пути.

«Чёрт с ней!» — решил он малодушно, но, посмотрев на далёкий горизонт, набухший тонкой сизой полоской, снова поднял трубу на плечо, подложив под неё ушанку.

«Если пойдёт снег — а он пойдёт обязательно,— я её уже никогда не найду. Тащи, твою мать! Это же единственное твоё спасение!»

Последние двести метров Серёга прошёл за один раз. Он даже удивился, что труба стала втрое — нет, вдесятеро! — легче.

Отдышавшись, он нашёл на помойке старую оцинкованную шайку, поразмыслив, прорезал в ней отверстие и вставил дымоход как надо. Четырёхметровая труба из буровой стали показалась ему игрушечной!

Теперь-то печь пошла в полную силу! И когда налившиеся лиловым тучи придавили собою остров, навалившись на утлое строение Фёдоровой избы снеговой грудью, огонь уже трещал и бесновался, из трубы вылетали искры, словно это был летящий на всех парах крейсер.

Из куска верёвки и свечных огарков, оставшихся от прошлого хозяина — видимо, это был сам Фёдор, так Серёге хотелось, — он сделал вполне сносную экономную коптилку, натопил снега и сполоснул посуду, поел горячей тушёнки, заварил плесневелого чаю из Фёдоровых остатков и облегчённо подумал, что теперь можно перебираться на новое местожительство.

Однако тут же вернулась знакомая навязчивая мысль: а что будет с ним дальше? Ведь за стеной Фёдорова логова по-прежнему снежная пустыня, и до людей не одна сотня километров, а когда прилетит вертолёт — и прилетит ли?! — знает только его командир, да и, в конце-то концов, он ведь по-прежнему на острове, только теперь ему очень хотелось назвать его *своим*...

13. Матёрый

Стая Матёрого нашла Красавчика, когда тот уже полуспал, повиснув на собственных рогах. Почуввав волков, он хотел повернуться к ним навстречу и занять боевую позицию, но тело не послушалось его, и он умер от страха раньше, чем клыки Матёрого перерезали ему горло...

За последние два месяца Матёрый значительно расширил владения стаи и уверенно вышел на северный берег острова, охватив территорию почти в сто километров по фронту, от Двуглавой Сопки на востоке через реку Тусклую до второго Человеческого Дома на западе.

Еда — стадо Горбоносого — умело обходила волчьи засады, словно проваливалась сквозь землю, находя проходы в отвесных обрывах и ловко используя непредсказуемые прибрежные потоки воздуха, уносившие запахи в сторону пролива. Однако Матёрый, несколько раз потерявший оленей, придумал другую тактику, которая принесла успех.

Волки вспугнули оленей на пастбище, на прибрежной равнине, где толщина снега была минимальной и прошлогоднюю траву можно было легко достать, скопытить. Разбегаясь, олени разделились на две части: одна на большой скорости пошла вдоль берега, впереди был Горбоносый, а другая, растерявшись, выскочила на лёд, но быстро поняла ошибку и повернула вслед за вожаком. Вот на этом повороте волки и настигли олений молодняк, копыта заскользили по чистому льду, молодая оленуха даже упала. И всё бы сложилось совсем удачно,

если бы... Если бы Малыш с молодыми волками не кинулся её добирать, вместо того чтобы оставить лёгкую добычу самкам, а самому продолжить погоню.

Матёрому в одиночку пришлось пластаться за уходящими оленями, и он быстро выдохся. К тому же ему не терпелось дать Малышу хорошую взбучку за глупость и жадность, и он повернул обратно, сделав вид, что совсем не устал, а полон ярости и гнева на несообразительного переярка.

При его приближении стая, поджав хвосты, отошла от мёртвой оленухи и виновато ждала неминуемого наказания.

Но Матёрый только грозно зарычал, подняв на загривке желтоватую шерсть, и сделал стремительный выпад в сторону Малыша, и того словно отбросило в сторону. Потом вожак подошёл к оленухе, встал на неё передними лапами, заявляя права на добычу, и оглядел притихших волков, постаравшись вложить в этот взгляд всю свою злобу и жестокость, силу и мудрость.

Слабые заскулили, а Малыш поднял голову и, не сдаваясь, исподлобья посмотрел на Матёрого.

Одним движением челюстей вожак мог бы выпустить кишки своенравному волчонку, но инстинкт подсказывал ему, что дело не столько в отношениях внутри стаи, сколько в том, что добраться до оленьего стада, как бы ни был хитёр Горбоносый, не такая уж трудная задача, но когда стадо будет съедено, начнётся голод, потому что других оленей на этой территории нет. А голод — это хуже мора!

А то, что Малыш всё чаще и чаще поднимает голову, говорит лишь о том, что скоро стая Матёрого разделится на две, и Малышу придётся самому думать о том, как прокормить свою семью.

...Между тем зима подходила к концу, дневные сумерки уже давно сменились светлым днём, и однажды на мгновение где-то в южной части горизонта загорелась алая заря, из которой ударили нестерпимо яркие золотые лучи. Каждый день их становилось всё больше и больше, и солнце опускалось в покрытый льдом пролив лишь на несколько часов, а теперь и вовсе стало светить круглыми сутками, съедая гребешки снежных застрогов и насыщая теплом волчий мех. Однако с охотой становилось всё хуже и хуже: преследуя добычу, волки ранили лапы о снеговой наст и проваливались в снежную крупу под ним.

В стае росло недовольство, а Малыш стал исчезать в тундре по несколько дней.

Матёрый хорошо помнил тот день, когда Малыш принёс в логово собачий дух, смешанный с запахом парного мяса. Собаки жили где-то рядом, скорее всего — в районе Человеческого Дома, иногда проходя через землю Матёрого в сторону Двуглавой Сопки. Судя по всему, они научились охотиться без людей, не хуже волков, но соблюдать волчьи законы они не хотели. Матёрый с раздражением

нюхал собачьи метки, поставленные поверх его собственных. Если бы это был человек или медведь, вожак не задумываясь перенёс бы границу — территории хватит на всех, даже островной, — но уступить собакам, живущим не по законам и инстинкту, а по непонятным и изменчивым человеческим понятиям?!

Никогда! Чужак всегда останется чужаком! Тем более если он из низшей касты, ушедшей в услужение к человеку.

И ещё Матёрый понял, что если в течение двух-трёх дней он не добудет стае прокорма, кровавой стычки с Малышом не избежать.

Значит, нужно самому идти на разведку в сторону Человеческого Дома.

14. Тушинский

Если бы Коле сказали, что это он воткнул в стену своего жилища топор, да ещё с такой силой, что не смог потом выдернуть его, он бы не поверил. Поэтому, когда топор не нашёлся на привычном месте, на полу справа от печки, он справедливо сообразил, что это проделки его чересчур образованного напарника, оставившего таким образом сигнал вызова на бой.

— Ничо-о, справимся-от!

Коля бродил по избушке, пытаясь вспомнить, где у него что лежит. И вдруг сообразил, что не видел Серёгу несколько дней.

Тушинский, конечно, не помнил, кто первый начал делить государственную собственность на «моё» и «твоеё», но отсутствие напарника говорило только об одном: работник покинул рабочее место без ведома начальника, причём на неопределённый срок, и прихватил с собой часть имущества, в том числе подлежащие инвентаризации собачьи души в количестве трёх. К тому же столь долгое отсутствие Серёги вызвало законное чувство ревности: песцовая «рухлядь» перестала поступать на центральный склад, а находится теперь в неизвестном, специально не оборудованном месте.

Устранение беспорядка Коля решил начать с себя и «центрального» склада. Он постригся и побрился на ощупь, опасно орудуя тупыми зазубренными ножницами; применить нож он побоялся, так как руки ходили ходуном. Затем Тушинский нагрел воды, попарился с помощью фланелевой портянки, надел телогрейку на голое тело и приступил к оборудованию склада.

Пристанывая от ненависти к бросившему его напарнику, он распилил остов сломанной кровати-раскладушки на короткие трубки. От этой напряжённой работы он вспотел и, расценив это как начало выздоровления, долго пил пустой чай, сообразив, что сахара на острове уже не осталось.

«Может, оно и к лучшему, дык!» — решил он.

Окончательное просветление в голове пришло к нему вместе со словами Герки Шарикова, всплывшего из тёмного угла в виде

косматого мужика с рогами, одетого в вывернутый наизнанку полушубок: «...А боёк делай из гвоздя! Однако жатупить его не жабудь, горе ты моё!»

В руках мужик держал тщательно исполненный чертёж задуманного Тушинским механизма.

— От это дело! От это вовремя, пока башка не варит! — сказал Коля вслух и громко, подивившись, впрочем, странным звуком человеческого голоса.

Удивило его и несоответствие этих звуков промелькнувшим мыслям.

В пристройке нашёлся ящичек с гвоздями, а пружина от той же раскладушки идеально соединилась в единое целое с другими деталями. Про патроны и говорить нечего: боезапаса хватало на сорок девять белых медведей.

Так Коля Тушинский создал первый в своей жизни огнестрельный самострел. Через неделю их было собрано одиннадцать штук. Два дня ушло на совершенствование конструкции, и ещё неделя — на их установку на «центральный» складе и на входе в избушку.

«Входные» самострелы Коля решил не настораживать во избежание...

«Всё-таки мы здесь не среди диких зверей-от находимся», — подумал он.

Тёмный силуэт Герки Шарикова отмалчивался в своём углу.

— Так-то! — удовлетворённо произнёс Коля.

15. Аурум

Как бы ни прекрасна была весна, какие бы чувства и силы ни будила в живом существе, какую бы энергию ни посылал на землю огненный космический глаз, для обитателей острова, к которым принадлежала и стая Аспирина, она оказалась самым тяжёлым временем года.

В далёких голубых сопках бушевал влажный ветер, залепляя липким снегом открывшиеся было развалы глыб. Белая мгла соединила воедино море, сушу и воздух, убрав из пейзажа привычные ориентиры. Взгляд скользил по искажённой сферической поверхности, пронизанной напряжёнными силовыми линиями земного электричества и магнетизма, а стороны света бесконечно менялись местами, превращая мир в хаос, от которого теплокровным негде было укрыться, чтобы не сойти с ума и не соскользнуть с покатого бока планеты, перевёрнутой вверх ногами.

У собак не было сил даже на то, чтобы повернуться с боку на бок. Не было и еды, а вместе с ней и таинственного вещества, позволяющего диким обитателям Севера пережить авитаминоз.

...Первым покатился вслед за мечущейся стрелкой компаса простачок Аурум. Половина его генной памяти, доставшейся от северных предков, тормозила его бег, а вот другая гнала в никуда в поисках овечьих стад и чернобородых людей в лохматых шапках и бурках. Воспалённый мозг отдавал последние силы порезанным о наст лапам,

и Аурум летел сквозь белые вихри, оскользаясь на наклонной плоскости южного пролива.

Еды и даже запаха её здесь не было, но была свобода! Даже то, что ветер нещадно трепал его львиную гриву и забивал ноздри ледяными иголками, радовало, словно он был ещё тем пушистым щенком, который сползал, дрожа, с нагретой собственным теплом оленьей шкуры в океан арктического снега и холода.

Вперёд, вперёд, лучше умереть на бегу, чем жить, свернувшись калачиком у порога Человеческого Дома в вечном сне ожидания!

Вот уже и пролив оказался позади, и стали появляться из снега тальниковые веточки, другие следы и запахи замелькали в катящемся назад белом шаре, а простачок всё бежал и бежал, перепутав все направления, и ему становилось всё теплее и радостней, и уже показались вдали зелёные благоухающие горы с бесконечными гирляндами медленно ступающих след в след овец, другие звёзды светились над ними, горели другие жаркие костры, которых Аурум никогда не видел.

И когда большой человек с винтовкой за плечами и крючковатым посохом в руке гортанно окликнул его на непонятном языке, простачок понял, что так звучит его настоящее имя и оно тоже означает «золото», или ещё точнее — «золото, иди ко мне!», и рыжий Аурум, радостно повизгивая, помчался к своему настоящему и доброму хозяину, не чувствуя под собой изуродованных лап и ударов картечи в прыгающее от счастья сердце...

Тушинский опустил ружьё и, опасливо оглядываясь, обтёр мокрое лицо грязным рукавом телогрейки.

— Ну чо, волчары,— бормотал он,— так-от просто я вам не дамся!

Аурума уже не было на свете, когда весенняя пурга на острове неожиданно прекратилась и что-то острое толкнуло Аспирина в левую часть груди, где никогда ничего не болело. Быть может, оно, это «что-то», было там всегда, но никогда не проявлялось так сильно, и он внезапно ощутил вокруг себя безмерную пустоту, сравнимую разве что с бесконечной глубиной ночного неба, которую не в силах заполнить ни одно живое существо.

Аспирин поднял голову и, глядя в эту пустоту, завыл, не в силах сдержат в себе наступившее вдруг чувство потерянности, одиночества и предсмертной тревоги...

16. Командир

Командир вертолёта отлетал на Севере восемнадцать лет. Понятное дело, сначала Витя Цикун был стажёром и вторым, а потом уж пересел в левое кресло. Каких только заданий он не выполнял, каких только пассажиров не возил за все эти так быстро умчавшиеся годы! Но эти двое и три упряжных собаки... Прошло полгода, а они всё не выходили у него из головы, нездешние они какие-то были, отрешённые. Мало ли что приводит человека на Север, злая судьба или добрая (о такой

и не слыхивал никто!). Он принимает всех, как в чистилище, и редко кто уходит отсюда злым. Если только на самого себя.

А эти, разные, как круг и квадрат, как точка и линия, как север и юг, пошли туда вместе, не понимая, чем это может кончиться. Тем, видимо, и запомнились. Как они там? Что с ними?

Ведь вполне нормально могли про них и забыть, как говорится, навсегда, а Герка Шариков... он и есть Герка Шариков.

И однажды Цикун, возвращаясь с дальней окраины архипелага, застрял из-за непогоды в становой избе и сразу же решил, что, в нарушение всех приказов и инструкций, он должен чуть-чуть изменить маршрут и пролететь над той странной Тусклой рекой, так непонятно долго текущей вдоль берега моря... Правда, был ещё резон, по которому не следовало этого делать, — чужая епархия. Заказали в «ПАНХе» «вертушку» — лети, нет заказа — не твоё дело, может, кораблём сняли, пограничным вертолётom или ещё как. Но это если по понятиям, а по северному закону...

Весь экипаж, пять человек, оглядывал смятую простыню белой равнины с высоты шестисот метров. Она была вогнута и пуста. И когда Цикун уже хотел отвернуть на свой привычный курс в сто восемьдесят градусов, пожилой штурман с красным лицом крикнул, перекрывая гул двигателей:

— Внизу человек! Че-ло-век!

С таким же чувством кричали, наверное, мореходы прошлого, увидев землю.

«Вот и решай теперь, судьба злая или добрая!» — подумал Цикун и пошёл на боевой разворот.

Человек этот внизу шёл небыстрым размеренным шагом, размахивая руками, и, видимо, что-то кричал, широко открывая рот. Никакого внимания на вертолёт он не обращал. Когда бортач Сашка подбежал к нему, стало понятно, что человек этот поёт.

Поёт!

К верёвочному поясу, стягивающему грязную телогрейку, была привязана полуобглоданная чайка, а за спиной висели крест-накрест мелкашка и дробовик.

Сашка первый раз видел такое.

В этом чёрном, исхудавшем и сумасшедшем человеке Цикун с трудом узнал одного из тех промысловиков, кого высаживал тогда, полгода назад, в устье Тусклой реки.

— Где второй? Второй где? — кричал ему в ухо Цикун, но страшный человек, прекратив пение, только испуганно озирался, отталкивая протянутые к нему руки.

— А собаки? Собаки где? — крикнул бортач.

Тут лицо бродяги сморщилось, губы плаксиво искривились, он оглянулся назад, туда, откуда пришёл, и, тыча рукой на юг, то есть в курс сто восемьдесят градусов, занял:

— Там... от... там... Герка там... у-у... уби-ил... Герка у-уби-ил...

Подлетая к избе Тушинского, командир прикинул, что человек с острова отмахал без малого сто километров без сна и пищи. Сверху было хорошо видно, как от избы в сторону сопок уходит стая волков, стелющихся в беге. Пять силуэтов, отбрасывающих короткие тени.

Штурман, сдвинув фуражку на затылок, внимательно смотрел некоторое время на бегущую стаю, потом, улыбаясь, сказал:

— Да это же собаки! Вертолёт испугались. Смотри-ка, одичали совсем, на волков теперь похожи!

— Точно, собаки, — отозвался Сашка-бортач. — Вон сука отстаёт. Беременная!

А Цикун опять подумал про судьбу.

Второго охотника вертолётчики нашли на нарах внутри нетопленной избы. Сначала показалось, что он мёртв, — из-под груди тряпья торчал только заострившийся нос; но когда вагонным колесом проскрипела закрывающаяся дверь и люди в форме начали громко говорить, сбрасывая тряпье на пол, человек на нарах застонал, а в луче солнца, пробившем полиэтилен на крохотном окошке, заискрилось облачко пара.

— Так это что, — сказал бортач Сашка, — цинга или холера?

Тогда наблюдательный штурман молча ткнул пальцем в сторону входной двери. У пола, потолок и посредине двери были прибиты обрезки алюминиевой трубки, к которым была протянута толстая капроновая нитка.

— Это самострелы, — сказал штурман. — Видишь, только один сработал, нижний, даже печку пробило. А в верхних, видимо, осечка. Или патроны отсырели, или что-то со спусковым механизмом. А так залп хороший бы получился!

— Если бы не этот парень, картечь была бы наша, — озабоченно произнёс командир. — Ладно, забираем раненого — и полетели, скоро нас диспетчер хватится.

— А собаки? — напомнил Сашка.

— Что собаки? Они теперь не скоро сюда вернутся, — помолчав, ответил командир.

17. Стая

На этом острове уже не было людей. Они исчезли ещё весной, когда со стороны Огненного Глаза прилетела огромная грохочущая птица. Затем быстро пролетело короткое лето, но собаки не помнили того счастливого времени, когда жили рядом с человеком. Может быть, они даже не считали то время счастливым. Или у них не было времени на размышления? Нужно было добывать еду, растить щенков и отвоёвывать территорию у живущих рядом волков.

И вот в очередной раз в Северное полушарие Земли пришла осень, и солнце перестало греть постоянных обитателей острова, добавив

им новых хлопот и лишений. А осень эта была совершенно обычной: здравствуйте, я вернулась.

И в этот раз Аспирин, стоя над цепочкой волчьих следов, два раза шумно втянул с них воздух, потом поднял голову и долго смотрел в сторону сиреневых сопок, куда уходили следы. Джульетта стояла рядом, опустив хвост, и смотрела, как Пирамидон играет со своими братьями.

Река уже была укрыта белым саваном, чёрная кайма его тускло светилась. Позади стаи еле слышно шумело замерзающее море. Покой и тишина спустились с небес, заливая всё вокруг синим сумеречным светом. Только полярные совы бесшумно резали густеющий воздух, напоминая, что нет в природе Вечного Покоя, а Вечная Тишина состоит из множества звуков. И когда оранжевое лицо луны выглянуло над зазубренным лезвием гор, уплывающий в зиму остров услышал тихий, но настойчивый волчий вой, полный тоски по несбывшейся и никогда уже не повторяющейся жизни.

18. Тринадцать

«...Ну что ж, мужики. На южном побережье острова поставлена нами фактория: изба с флагштоком и два пушных склада. Малёхондров заготовили для новых промысловиков-охотников, остальное потом сами доберут.

Вот уж и на северном берегу работа закончена. В устье Тусклой реки поставили небольшой дом, рядом крест в две с половиной сажени, поморский путевой знак, приладили деревянную иконку Николы Чудотворца, покровителя мореходов, нашего, значит, святого: путь-то дальше через пролив опасный и долгий — сто, почитай, вёрст воды стылой, да шуги, да битого льда.

На западе, в сорока верстах, ещё один дом. Там же и могилу Фёдорову выдолбили — медведь шалый задавил, еле потом отбились. Он, поганец, и ружо считанное погнул. Положили сверху на Федьку, брата мово, две лиственничные плахи, чтоб песцы не добрались. Так вот, ладно, упокоился Федька навеки в земле северной.

Было нас тринадцать, а теперь, значит... двенадцать... оказалось...

Но само главное, не знаем мы, кончилась ли война в этом тыща девятьсот сорок пятом годе. Потому не вправе мы поворачивать вспять.

Дело будем доводить до конца. Это понятно всем. Так что вот уходим сёдни дале, на северный остров. Ну а где архипелаг заканчивается, никто не ведает.

Одна тока загвоздка. Вчера вот к свежесрубленной избе «Крестовой» пришла стая волков. На разведку. Матёрый вожак-то стоял, не шевелясь, на взгорке, а два волчонка — прогонистые, зады-то тощие! — быстро так обнюхали всё! Ан и нет ничего интересного или съестного, вот и встали поодаль, наблюдают, значит, как люди

лодку грузят. А сами-то, небось, ожидают, когда же эти пришельцы отчалият, покинут вот ихню территорию.

Собаки-то пошли было знакомиться, да вожак как взлает, вот они, волчата, стало быть, ощерились да и отступили, потрусили себе восво-яси. А собаки за ними, черти шерстяные, убежали. Дождаться бы их!

Куда ж нам без собачек-то? Зима ж впереди».

Старшой стоял на песчаном мысу, вспоминал, поворачиваясь против ветра то одним ухом, то другим: не слышно ли где собачьего лая?

Но нет, тихо.

«К утру уложились, тут бы и сесть покурить на дорожку, а нечего — третий год уж на подножном корму! Да и идти надо, туман, сырость кругом до костей пробирает. На вёслах и погреемся.

Чу! Неужто лай? Точно! Они! Они, милые!

Вот она и Жулька! Ах ты, курносовая моя!

Аспир, ты, что ль? Ну иди, иди, потреплю!

Чик, Пок, где пропадали, детки? Заждались мы вас!

Ну, Пирамидонище, а ты что квёлый? На вот, погрызи!

На борт, ребятки, на борт!

Пора нам!»

Чуть в отдалении сидел на перевитом лиственничном стволе сильно обросший бородатый человек с обветренным до черноты лицом, потирая простреленную ногу. Собаки крутились вокруг Старшого, виляя хвостами и оглядываясь на сидящего, словно приглашали его с собой.

«Ну а ты, мил-человек, что загрустил? Да... расставаться всегда тяжело, но надо... И рановато тебе с нами, Серёга. У тебя ещё стока дел впереди. Торопись! Жисть-то, она тока кажется, что длинная!»

Уж и смолкло шуршание вёсел в прибрежной шуге, текущей вдоль заснеженного берега, и раздался негромкий хлопок паруса, а Старшой всё стоял, держась за растяжку, и, повернувшись лицом в корму, пытался разглядеть за туманом очертания покинутого острова.

Боровск — Игарка, 2005–2010

Михаил Котов

Чёрный Соболь (Ванавара)

Победитель Краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза».

Ванавара — небольшое село на реке Подкаменная Тунгуска. Именно сюда меня отправили в командировку. Само название села — спорно. Несомненно только, что название эвенкийское. Старожилы объясняли его происхождение по-разному. Одни говорили, что раньше горы, расположенные недалеко от села, звались Анэн-варан — «горы, убивающие встряской». Вдоль побережья реки я и в самом деле обнаружил множество гротов, созданных окаменевшей лавой. Значит, когда-то, очень давно, здесь случались землетрясения и происходили извержения вулканов. Люди винили во всём горы, вот и прозвали их «убийственными». Другие рассказывали, что когда русские стали торговать с жившими возле Подкаменной Тунгуски эвенками, то у одного купца были дети — Иван и Варвара. Охотники звали их на свой манер — Вана, Вара, отсюда и пошло название города. Третьи настаивали на том, что название происходит от слов «обменный пункт»: именно здесь была главная торговая точка, где русские в обмен на муку и железные ножи выменивали у местного населения «мягкое золото» — пушнину.

О соболях здесь говорили все, от мала до велика. Старики вспоминали времена, когда соболя было много, столько, что хоть «ложкой их по носу бей». А потом «соболь обиделся и ушёл, совсем ушёл». Молодые время от времени пытали удачу и приносили пару-тройку шкурок, длиной не больше локтя, рыженьких, с тёмной опушкой на круглых ушках и кончике хвоста, и рассказывали о Чёрном Соболе, хозяйничавшем в тайге.

Чёрный Соболь был местной легендой. От обычных животных он отличался мехом цвета угля и тремя хвостами. Кто-то утверждал, что Чёрный Соболь — хранитель местной земли, тотем давно исчезнувшего племени, наказывающий слишком жадных и жестоких охотников; но большинство верили, что Чёрный Соболь — неупокоенный дух убитого шамана, строящий козни всем живым. Он запутывал силки, воровал добычу, вызывал метель, наводил морок на охотников, менял местами таёжные тропинки и деревья. Всё мужское население Ванавары клялось, что хотя бы однажды видело злополучного соболя: обычно он перебегал дорогу, как чёрная кошка, скалил зубы и исчезал. Чёрному Соболю приписывали все

неудачи на охоте и мечтали, как однажды распялят на рогульке шкуру с тремя хвостами.

Моим коллегам — русским, приехавшим с Большой земли, — подобные байки казались смешными. Но заезжих, вроде меня, они с удовольствием пугали страшными историями о том, как Чёрный Соболь нападает на чужаков. Неожиданно выскакивая из подворотни, он бросается под ноги, стараясь повалить, а потом впивается в лицо острыми зубками.

После подобных разговоров я решил купить пару собольих шкурок в качестве сувенира. Коллеги посоветовали не тратить деньги на ерунду, а сходить к местному рыболову Вылке. У него, дескать, по дешёвке можно найти очень хорошего соболя.

Казалось странным, что у рыболова имеются лучшие соболиные шкурки, но в дом, указанный мне, я всё-таки зашёл.

Вылка жил на окраине Ванавары в добротной русской бревенчатой избе, окружённой высоким забором. На калитке висел электрический звонок, а к окну было приколочено зеркало от автомобиля. Мне пришлось стоять минут десять, прежде чем раздались шаркающие шаги и калитка приоткрылась ровно настолько, чтобы показался чёрный круглый глаз под морщинистым веком. Я сказал, что хотел бы купить шкурку или две. Калитка приоткрылась пошире, и уже два глаза поглядели на меня с интересом. Старуха, открывшая калитку, была похожа на сморщенное печёное яблоко. Чертами лица она напоминала эвенков, только глаза были не узкие, а круглые, как у европейцев, и нос заострённый, словно у лисички. Она жестом позвала меня за собой.

Я прошёл в дом по самодельным тряпичным коврикам и увидел самого хозяина — рыболова Вылку. Он сидел у стола, проверяя сеть, и курил папиросу собственного производства — трубочку, свёрнутую из газетного листа, начинённую какой-то корой или травой. Клубы дыма завивались вокруг седой головы.

Выслушав мою просьбу, Вылка кивнул жене, она притащила в комнату берестяной короб и откинула крышку. Да, эта пушнина не шла ни в какое сравнение с жалкими собольками, которых мне предлагали раньше. Шкурки были чёрные, на некоторых серебром поблёскивали седые волоски, отчего мех напоминал северную ночь, мерцающую звёздами. Каждый соболь — более полуметра, да ещё пышный хвост длиной в две ладони. Вылка пояснил, что чёрные шкурки — самые ценные, они называются «головки», а те, что сейчас таскает молодёжь, — «меховые», бросовые, рыжие. Иногда им попадаются «воротовые» — с тёмной полосой по хребту, да для них и это редкость. Я не смог удержаться и купил сразу трёх соболей, заплатив, не торгуясь, сколько запросил старик. Жена его хранила упорное молчанье, только поблёскивала на меня своими странными, не эвенкийскими глазами. — Ты позже приходи, когда глубокий снег выпадет, — посоветовал Вылка. — Жена на охоту пойдёт, ещё соболей добудет.

— Жена?! — удивился я, уставившись на старуху, которая невозмутимо укладывала оставшиеся шкурки в короб.

Старуха унесла своё богатство в другую комнату, и оттуда раздалось её тихое покашливание.

— Литысь не любит, когда у нас гости, — сказал Вылка. — Купил соболя — и иди себе.

Я поспешил уйти, и старуха Литысь заперла за мной калитку.

Коллеги посмеялись над моим рассказом о посещении охотника. — Все знают, что у него жена — оборотень! — пошутил кто-то. — Каждый год с охоты по сто соболей приносит. Говорят, они к ней сами идут, потому что родную кровь чувят!

— И ведь сколько раз её выследить пытались, чтобы места хорошие узнать, так она как затылком видит, что за ней идут. Раз — и пропала с глаз! Только тонкая цепочка соболиных следов на снегу.

— А зеркало на раме заметил? — продолжали допытываться у меня. — Это для того, чтобы, не выглядывая в окно, посмотреть, кто пришёл. Они ещё решат — открывать или нет.

Смех смехом, а мне стало не по себе от таких рассказов. Иногда я встречал круглоглазую Литысь в магазине, она покупала соль, муку и чай. Я всегда здоровался с ней, уважительно и немного с опаской. Она хмурилась и кивала в ответ, торопясь убраться в свой дом на окраине.

Тем временем зима вступала в права, и вскоре зарядили снегопады. Несколько дней снег сыпал, точно небо прохудилось. Мои коллеги предпочитали ходить на работу с зонтиками. Это было забавное зрелище: люди, укутанные в шубы, шали, шарфы, натянув шапки до носа, брели по улицам с разноцветными зонтами.

Однажды я встретил в магазине не Литысь, а Вылку. Он грелся возле батареи и будто ждал кого-то. Увидев меня, поздоровался, заговорил о погоде и, между делом, пригласил в гости — посмотреть новых соболей. — Заходи, строганину из осетра поедим, чаю попьём, — зазывал Вылка, а заметив мой неуверенный взгляд, успокоил: — Литысь о тебе хорошее говорила, она не против.

В этот вечер Литысь была гораздо любезнее. Она приволокла и гордо продемонстрировала мне огромного осетра, поставила на стол тонкие фарфоровые чашки, сберегавшиеся для особого случая.

По заведённому у северян правилу, сначала мы ели строганину. Я впервые видел, как её готовят — на холстине, постеленной на пол. Вылка, обернув рыбий хвост тряпкой, тонко срезал с осетра чешую вместе с кожей, оставив янтарный подкожный жирок, потом настрогал мясо длинными ломтиками, уложив их на деревянную доску. Он научил меня есть строганину правильно — откусывать маленькими кусочками, чтобы не стыли зубы, и запивать водкой.

Через полчаса после строганины Литысь подала чай.

Чай в доме Вылки пили по-старинному рецепту, с солью и мукой. Попробовать такое — испытание не для слабонервных. Сначала

кусковой чай нарезается пластинками, запаривается кипятком, крепко солится, сдабривается мукой и кусочками сала. Отказываться от угощения было неловко, и я заставил себя выпить бурюю жидкость, больше похожую на суп, чем на чай. Удивительное дело, но напиток взбодрил не хуже хорошего вина. Даже кровь быстрее побежала по венам, а щёки загорелись не только у меня, но и у хозяев дома.

Былка быстро опьянел, и жена уволокла его спать. Я собрался уходить, как вдруг в сенях что-то стукнуло, дверь приоткрылась, и в дом вошла девушка — в клубках стылого воздуха, румяная с мороза. — У нас гости, мама? — звонко и весело позвала она, показав в улыбке белоснежные зубы.

Я сразу догадался, что это дочка Литысь: те же чёрные круглые глаза, остренький носик, только лицо молодое, задорное, бело-розовое. На девушке были расшитые бисером унтайки, беличья шубка и меховой треух, из-под которого на грудь падали две толстые косы, чёрные, как мех соболя.

Литысь выбежала из комнаты, куда только что проводила мужа, и я впервые услышал её голос — глубокий, мелодичный, совсем не старческий:

— Отец начальника с земли пригласил, строганиной угощал.

— Ах, строганиной? Это хорошо! — засмеялась девушка, не слушая моих сбивчивых объяснений, что никакой я не начальник.

Мать торопливо приняла у дочери шубу, шапку, поставила поближе к печке унтайки. Девушка села за стол, подхватила недоеденную нами стружку осетра и отправила её в рот, не сводя с меня смешливых глаз.

— Меня Сагатой зовут. А тебя?

Я назвалса, чувствуя, что таю, как кусочек льда, перед этой северной красавицей. Мы долго сидели в кухне, я рассказывал о Красноярске, о жизни на Большой земле — так северяне называли центр Красноярского края. Сагата слушала внимательно, время от времени что-то переспрашивала, смеялась, если ей мои слова казалось забавными, угощала мороженой брусникой с сахаром. Я совсем забыл о времени, когда ближе к полуночи раздалось осторожное покашливание из соседней комнаты. Мы с Сагатой сразу поняли его значение.

— Мама, я гостя провожу! — крикнула девушка, подмигнула мне и стала натягивать унтайки.

Литысь возникла на пороге и посмотрела на меня оценивающим взглядом.

— Только недолго, — сказала она.

— Не волнуйся! — беззаботно откликнулась Сагата, поправила на мне шапку, засмеялась, и мы вышли из дома.

Улицы Ванавары к тому времени уже были пустыми, и мы с Сагатой шли медленно, несмотря на мороз. Мне казалось, ей так же, как и мне, не хотелось расставаться.

— Может, завтра сходим куда-нибудь? — неуклюже предложил я. — Что у вас есть? Кафе? Ночной клуб?

Она рассмеялась так искренне, что я тоже заулыбался, хотя не понял причину её веселья. Из-за угла выскочила маленькая собачка, принялась лаять и бросилась в нашу сторону, затаив так, что ей ответили собаки на другом конце села.

— Времени нет по клубам ходить! — сказала Сагата, вдруг куда-то зашпешив. — Промысел начался — только успевай! Я к тебе мать отправлю, когда за соболями пойдём. Там и встретимся. Ой, смотри! — она ткнула пальцем куда-то поверх моего плеча, я оглянулся, но ничего не увидел, кроме злой собачки, мчавшейся по улице.

— Ничего там... — начал я и замолчал.

Сагата пропала, словно её и не было. Собачка пролетела мимо меня и принялась облаивать чёрную кошку, сидевшую на воротном столбе.

Минула неделя, а я не мог забыть дочь Вылки. Днём красавица не шла у меня из головы, а ночью снилась с завидным постоянством. Она ласкалась, тычась в щёку острым холодным носиком, и, весело хохоча, заматывала чёрные косы вокруг моей шеи.

Я пытался узнать у коллег, где учится или работает Сагата, но никто даже не подозревал, что у старого рыболова есть дочь. Вечерами я прогуливался у дома Вылки, но ни его самого, ни старухи Литысь, ни красавицы не встретил, а калитку мне не открывали — то ли хозяев не было дома, то ли просто не хотели никого видеть.

Однажды вечером, когда я, приплясывая на морозе, в очередной раз нажимал кнопку звонка, кто-то ткнул меня в бок. Это была Литысь. Не слушая моих приветствий, она сказала спокойно и буднично: — Если хочешь к Сагате, завтра с утра будь готов. К ней в лабаз пойду, продукты увезти надо. Поможешь.

Утром я был возле дома Вылки, чисто выбритый и изнывающий от нетерпенья. Литысь посмотрела на меня, вернее, на мои валенки, хмыкнула и притащила оттуда-то меховые сапоги, а к ним — две пары толстых носков. К сапогам полагались лыжи, но не такие, как мне приходилось видеть раньше, а короткие и широкие, обшитые шкурами мехом вовнутрь. Старуха выволокла два рюкзака и один из них надела мне на спину. Рюкзак казался неподъёмным, но я всё готов был выдержать, только бы увидеть Сагату.

Потом мы долго шли околицей, берегом реки, свернули в кедрач. Литысь уверенно торила лыжню, а я, обливаясь потом от тяжести, старался не отстать. Мне казалось, что старуха нарочно запутывает меня, чтобы я не мог найти дорогу обратно. Чем дальше мы шли, тем больше я начинал сомневаться: а правильно ли поступил? Побежал в тайгу за незнакомой бабкой. Кто знает, что у неё на уме?

Но все опасения пропали, когда после полудня мы добрались до лабаза — деревянного домика на сваях, где охотники хранили припасы, чтобы их не растащили звери. Возле лабаза я увидел знакомую

фигурку: Сагата в беличьей шубке и расшитых бисером унтайках махала нам рукой. Белоснежные зубы так и сверкали на солнце.

— Не испугался, значит? — лукаво спросила она.

Перехватила у матери рюкзак, легко вывернула содержимое в лабаз, потом так же поступила с моим рюкзаком. Взамен она передала Литьсь уже знакомый мне берестяной короб, от которого кислотовато пахло звериными шкурами.

— Идём, — девушка взяла меня за руку. — Мать вернётся за тобой завтра.

Я пошёл за ней, не оглядываясь, и это больше смахивало на северное колдовство, о котором столько приходилось слышать. Сагата весело болтала, но я не понимал её слов, а только смотрел. Мне казалось, я никогда не встречал такой красавицы.

Девушка привела меня на поляну, где под елями притаилась покосившаяся охотничья сторожка с единственным крохотным окном. Сагата помогла снять лыжи, от души потешаясь над моей неловкостью, и я, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую ободверину, шагнул следом за ней, в тёплую темноту избушки. Внутри пахло пихтой, смолой и звериными шкурками, в печке весело горел огонь, а на столе стояла керосиновая лампа.

— Сегодня ты гость, не говори ничего, — сказала Сагата, обняла меня и крепко поцеловала в губы.

Потом отстранилась и стала расстёгивать пуговицы на шубе.

Это действительно было северное колдовство: и внезапно погаснувшая лампа, и лихорадочный румянец на лице Сагаты, и её смех, когда она точно так же, как во сне, наматывала мне на шею чёрные косы.

Ночью я проснулся от странного сопенья. Еле разлепив глаза, в свете луны, заглядывающей в окошко, я разглядел спящую Сагату. На её обнажённой груди лежал местный оберег — сухая соболя лапка. Губы девушки были приоткрыты, лёгкое дыханье не долетало до моей щеки, но сопенье не прекращалось, становилось всё громче и громче и уже больше походило на тихое рычанье. Я повернул голову и увидел лицо человека, склонившегося над кроватью. Раскосые маленькие глазки и приплюснутый нос придавали ему звериное, медвежье выражение. Он медленно поднял руку с широкой, как лопата, ладонью и короткими пальцами, и тут Сагата проснулась.

Она вскочила так стремительно, что её распущенные волосы скользнули по мне, словно змеи. Она что-то тихо сказала склонившемуся над нами мужчине и толкнула его в грудь. Мужчина ответил на незнакомом языке и попятился. Сагата продолжала наступать, а он несколько раз порывался обойти девушку, но та бросалась на него всем телом, отталкивая к двери. Я был уверен, что всё это мне снится, и, как это бывает во сне, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. У самого порога Сагата вцепилась в мужчину и вместе с ним выкатилась в сени, то ли бормоча что-то, то ли подрыкивая, как

дикий зверёк. На этом странный сон кончился, и до утра я проспал без каких-либо видений.

Разбудило меня осторожное знакомое покашливание. Сев в постели, я машинально положил руку на соседнюю подушку, на которой совсем недавно спала Сагата. Но моей неожиданной возлюбленной рядом не было. Зато у порога стояла Литысь, хмуро поглядывая круглыми глазами.

— А где Сагата?.. — спросил я.

Литысь сухо ответила:

— Ушла давно. И нам надо торопиться, если хотим в посёлок до метели вернуться.

Всю дорогу обратно до Ванавары Литысь молчала, словно меня не было на этом свете. Возле села нас нагнала и накрыла метель. Хорошо, что старуха знала дорогу, сам я заблудился бы. На окраине Литысь ткнула пальцем, указывая, куда надо идти, и не успел я глазом моргнуть, как она исчезла за снежным покровом.

Прошло ещё несколько дней, неделя, а от Сагаты не было вестей. Всё свободное от работы время я торчал либо в магазине, куда могли прийти её родители, либо топтался возле дома. Были у меня и безумные мысли — идти искать охотничий домик, но я прекрасно понимал, что без Литысь не найду туда дорогу. За несколько дней до окончания командировки я случайно встретил Вылку на улице. Заметив меня, он надвинул на глаза шапку и сделал вид, что не узнаёт.

— Мне хотелось бы встретиться с вашей дочерью, — сказал я.

— С моей дочерью? — переспросил Вылка, а потом нехотя кивнул: — Зайди.

Литысь не было дома, и, отогреваясь у печи, я сбивчиво рассказал эвенку о короткой встрече с Сагатой и о том, что у меня самые серьёзные намерения. Но мои слова не произвели на старика впечатления, и он долго молчал.

— Я виноват перед тобой, — сказал он наконец, раскуривая папиросу. — У нас с женой нет детей. Это Литысь уговорила пригласить тебя в гости. А ей Чёрный Соболь велел. Значит, ты видел его?

— Кого — его?

— Чёрного Соболя. Мой прадед видел его, и отец Литысь видел. Говорят, что когда Чёрный Соболь хочет дать продолжение роду, он выбирает самого сильного и храброго мужчину и появляется перед ним в образе девушки. Никто не может устоять перед её красотой, а потом она рождает ребёнка и подкидывает его людям. Так получилось и с Литысь. Я помню, мне лет восемь было. Когда её принесли в Ванавару, у неё только зубы прорезались. Отец её охотником был. В лесу погиб, медведь задрал. Тела не нашли. За год или два до того, как Литысь появилась, он как с ума сошёл — в тайгу стал уходить, пропадал там и в мороз, и в метель. Жена поседела совсем. Когда его искали, девчонку нашли. Сидела, собольей шкуркой играла,

а на лбу — родинка, как у пропавшего. Вдова её дочерью назвала, дала ей имя Литысь — «четырёхногая», потому что она сначала на четвереньках бегала. Потом подросла — красавицей стала. Красивее девушки не было в округе. К ней многие парни сватались, а она за меня пошла. Я сразу знал, что она — дочка Чёрного Соболя. Все женщины как женщины, а моя чуть что — в тайгу бежит. И всякий раз отборных соболей приносила. Даже расспрашивать не пытался. С тобой видишь как получилось... Не знал я, что Хозяйка ещё промышляет. Забудь о ней. Её медведь охраняет, от него кеты пошли. Он отца Литысь убил и тебя не пожалеет, если останешься. Возвращайся домой и живи по-прежнему.

Невозможно было понять, говорил старик серьёзно или пытался запугать, чтобы я отказался от Сагаты.

— Но я хочу встретиться с ней. Ещё хоть раз...

Вылка покачал головой, затянулся самокруткой и выпустил облако едкого дыма.

— Она получила от тебя что хотела. Не покажется.

В тот вечер я брёл домой, не замечая холода, и едва не отморозил руки, забыв про рукавицы. Я оставил их в доме у рыболова, но возвращаться не стал.

Сагату я больше не видел, а перед самым отъездом мне передали рукавицы. Говорили, что их принесла девушка. В одной из рукавиц я нашёл сухую соболю лапку на витом шнурке.

Ольга Гуляева

Невидимые волны

Победитель Краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Поэзия».

Виноград

Охранники рьяны, когда стерегут виноград.
 В крови заиграли гремучие древние яды.
 Столетия назад. На мгновение раньше. Вчера.
 Иди же ко мне, господин моего винограда.

Дрожание неба, и ржание рыжих кобыл,
 И кипарисы, проткнувшие мякоть рассвета.
 Не капли росы — это крупные капли судьбы,
 Идущей по саду, ступающей мягко по следу.

Не надо ни ягод и ни твоего серебра —
 Звенят серебром на моих ожерельях Плеяды.
 Охранники слепы, когда стерегут виноград.
 Иди же ко мне, господин моего винограда.

Ave

Он впереди, и салютуют: «Ave», —
 центурии, идущие вперёд —
 за Родину, за цезаря, за славу,
 за волю, за идею, за народ.

Иди вперёд. Всего одна попытка.
 Не замечай целующихся пар.
 Молоденькая девочка-шахидка
 идёт вперёд, крича: «Аллах Акбар!»

Всё просто. Но настолько всё непросто,
 что ни одна из женщин не поймёт:
 почти ребёнок Александр Матросов
 кричал «ура» и грудью лез на дзот.

И нету здесь ни правых, ни неправых:
 все войны — как один большой развод.
 Но, умирая, он прошепчет: «Ave», —
 приветствуя неведомо кого.

Волки

Твои невидимые штандарты меняют форму, меняют цвет,
И ты, разумный такой когда-то, несёшь сегодня полнейший бред.
И ты, когда-то такой разумный, живущий радостно и легко,
Даёшь таксисту такую сумму, что хватит сотне твоих волков.
И ты выходишь, как будто голый (смотрите, суки: ещё живой);
К тебе приходит домой психолог, а может — переодетый волк,
И ты спокоен, пока рисуешь, пока танцуешь и говоришь,
И людям кажется: ты разумен,— и ты разумен, но не внутри.
А не внутри ты почти громада (в тебя вмещается весь Хичкок),
И ничего, что дышать на ладан тебе сегодня не так легко.
И надо лечь, закурить, размякнуть, уснуть, не думая ни о ком,—
Твои невидимые собаки облают стаю твоих волков.
И надо лечь, закурить — и только, и ты спускаешь своих собак.
Не все, кричавшие: «Волки, волки!» — от них отделялись вот так.

Разбей башку, собери осколки, послушай, как зазвенит в ушах.
Твои невидимые волки не стоят ломаного гроша.

Стихи участников «Дома-2»

Скажи мне слово, открой мне тайну, устрой салют и девятый вал.
Но вместо этого мы читаем стихи участников «Дома-2».
Давай мне руку, веди к вершинам, давай напьёмся, пойдём гулять
Туда, где шлюхи и их мужчины, туда, где носит таких земля,
Туда, где нежный герой-любовник срывает розы со страстных губ.
Но вместо этого есть половник, вчерашний плов и остывший суп.
Пойдём гулять по ночным карнизам, по звёздам, тучам и проводам.
Но вместо этого — телевизор, и там сказали, что снег — вода.
Пойдём на все мировые войны, пойдём и Гитлера там убьём.
Но вместо этого мы довольны, поскольку нам хорошо вдвоём.
Пойдём куда-то, где всё случайно, туда, где выживем мы едва.
Но вместо этого мы читаем стихи участников «Дома-2».

До-ре-ми

Эй, кукушка, не щёлкай клювом —
Тебе не холодно этим утром,
И сотню сверху даёт кондуктор,
И конкуренты не при делах.
На остановке толпятся люди
В цветных пальто и китайских куртках,
И подрезает таксист-придурак —
Ещё секунда прошла за так.

Но мы догоним и перегоним —
Бабуля, вталкивайся плотнее!
А тот пацан, что стоял за нею,
Хотел бы влезть, но уже не влез.
Толкнул принцессу мужик в погонах,
Принцесса ойкнула, покраснела,
Народ увидел принцессу в гневе,
Народ не любит таких принцесс.

— Мне на работу, мне на работу, —
Принцесса плачет — каблук сломался.
Никто принцессу не трогал пальцем —
Сапог китайский, пардон, мадам.
Выходит бабка: вперёд, пехота, —
Не в ритме блюза, а в темпе вальса.
Мужик в погонах опять толкался,
Толкались дамы и господа.

Немного грустный Андрей Поздеев
Смотрел с проспекта, сжимая зонтик,
Одетый, в общем-то, всесезонно,
С проспекта Мира смотрел на мир.
Живые люди. Желают денег.
Ругают близких и посторонних,
Жалеют близких и посторонних...
А дождь выстукивал:

до-
ре-
ми.

Демон

Он приходит, садится рядом, гладит её бедро,
Как Лукашин в кино, как Тамаре когда-то демон;
И она начинает раскрашивать монохром,
И она неделимое снова на что-то делит.

Он поэт или слесарь Гоша, может быть, космонавт,
Не Гагарин, конечно, но тот ещё звёздный клоун.
Он приходит, садится рядом, ей жалко, что он женат,
И она наливает чай, она улыбается бестолково.

Рассуждает он очень верно (наверное, Ипполит),
Говорит про Кафку, малость о Достоевском.
А она представляет небо и край земли —
И прогулку по краю без всяких дурных последствий.

Он приходит, садится рядом, мотает ей душу и
Заползает туда, как в Тамару красавчик-демон;
И она его ощущает совсем своим,
Никогда не касаясь скользкой семейной темы.

А она молода, ей всего-то навсего сорок три —
Балерины ещё Кармен танцуют в такие годы.
Он подходит, садится рядом, о чём-то с ней говорит.
Допивает чай.
Целует её.
Уходит.

Николай Тимченко

Прекрасен мир, в котором мы живём!

*Победитель Краевого литературного конкурса
на соискание премии имени Игнатия Рождественского
в номинации «Я себя не мыслю без Сибири».*

Приметы февраля

1.

Не видно солнечных лучей;
Как ночью волки, вьюга воет.
И, к изумлению очей,
Не видно солнечных лучей.
Буран бездомный — он ничей,
Никто его не остановит.
Не видно солнечных лучей;
Как ночью волки, вьюга воет.

2.

Бурана нет, так есть мороз,
Стрелой пронзает сердце стужа.
И неизбежен зимний кросс.
Бурана нет, так есть мороз.
Что делать — вовсе не вопрос,
Тепло упрятать бы поглубже.
Бурана нет, так есть мороз,
Стрелой пронзает сердце стужа.

3.

Метель без устали метёт,
Позёмка снежная лютует.
Немудрено — февраль идёт.
Метель без устали метёт,
А ветер... щель везде найдёт,
И днём, и ночью дует, дует.
Метель без устали метёт,
Позёмка снежная лютует.

Капля

Сорвалась капля с вышины, совсем не мысля о преградах.
Миг приближения весны — воображению услада.
Летит прозрачный водный диск, он был похож на аметист,
Но вот летит рубином вниз, и вдруг... алмаз — в нём ценность клада.
То вдруг по краю серп Луны, то отраженье глубины,
То просто вестница весны ласкает взор — другой не надо.
Что станет с чистою водой? Блеснёт лучистою звездой?
А вдруг Вселенной всей седой побыть в полёте будет рада?
Играет в капле солнца луч, пронзивший свод угрюмых туч.
Он вездесущ и всемогущ. Никтим польщён луча бравадой.

Снег

Ложится снег, как бархат, покрывая
Дома, деревьев ветви по пути.
Куда ни глянь, от края и до края
Укрыты им дороги — не пройти.
Лежит он белый, словно пух лебяжий,
Блестит под солнцем, в мир неся покой.
Искристый, рыхлый, нежный — не подскажет,
В каких краях он есть ещё такой.
Такой он лишь вдали от суматохи,
От толчеи — от городов вдали.
Чистейший снег сегодняшней эпохи,
Ты — память детства, часть родной земли.

Морозный иней

Морозный иней... цвета серебра —
Пришла хозяйкой зимняя пора.
Лежит на ветках бахромы вуали,
Белым-белы окрестности и дали.
Гиганту кисти, гению пера
Подвластна прелесть. С раннего утра
Зимы причуды взор нам услаждали.
Сравнить бы можно с белизной эмали
Морозный иней.
Здоровый смех разнёсся со двора:
Искристым блёсткам рада детвора.
Поёт душа, забыв про все печали!
Желаю всем, чтоб тоже повстречали
Бесценный символ света и добра —
Морозный иней.

Тина Кошкина

Капли тревог

*Победитель Краевого литературного конкурса
на соискание премии имени Игнатия Рождественского
в номинации «Я себя не мыслю без Сибири».*

Городская непогода

В этом городе так много непогоды.
Непогода здесь и всюду, тут и там.
От политики страдаем мы, от моды
И, конечно, честно верим новостям...
Не беда, что двадцать первое столетье:
Мы играем в те же игры, что вчера,
И, кремами продлевая долголетье,
Мы надеемся исправиться с утра...
Не беда в разводах на стекле оконном,
Что не высохнут, как только ни дыши,
А беда в пустом, бездонном и холодном
Нашем глиняном сосуде для души...

* * *

Город покрыт неоном.
Принц разъезжает в трамвае,
Нищий — в такси с комфортом.
Сны провода сломали...
Капли тревог замёрзли,
Плиты дорог остыли.
Может, ещё не поздно
Вспомнить, где завтра были?..
Клетка души, сжимаясь,
Громко шепнёт, проснётся.
Крик, в тишину вплетаясь,
Смоет ночное солнце.
Город одет в пространство,
В горле хрипит простуда.
Как бы хотелось остаться.
...Жаль, что мы не отсюда...

Жара в городе

Пляж шепнул: «Эй, жара, ты не враг мне.
Я — пустыня, хоть здесь не Восток...»
В раскалённой асфальтовой магме
Пробивался зелёный росток.
Задыхаясь от яркого солнца,
Ослепляющих бликов пруда,
Отдыхающий пива напьётся,
И жара для него — не беда...
Перегретый бензиновый воздух
Через сердца идёт малый круг...
Обтекаемый города остов
В жарком море проводит досуг.

Город мой

Как люблю я тебя, город мой,
Как я счастлива встрече с тобой!
Как мне вольно в твоих серых стенах,
Ты течёшь в моих пламенных венах.
Я мечтаю с тобою о звёздах
И вдыхаю отравленный воздух...
Я стою на балконе. Не спится.
Растворяюсь в тебе по крупицам...

Красноярская кома

Накрыта простынёй неона,
Дорога свежая с утра,
Искусно впаянная кома
В асфальт, как всё вокруг, мокра,
Тосклива, сказочна, пространна,
Поджав колени, как дитя,
Вздыхает, тает, скучно, рано,
Глазами-клумбами глядя...
Не слышно города дыханье,
Как не написана строка...
Спит Красноярское Сознание,
В объятьях Комы... Спит пока...

По City

По Сити, как по сети,
Гуляю, как посетитель.
Ты Город мой посети,
Вечерних талантов обитель.
Стритуют и тут, и не здесь,
Гуляют и смотрят на небо.
Звезда упадёт — значит, есть
Желанье прийти там, где не был.
Без стука, без слов, кулака,
Претензий и даже без «здрасьте».
Лететь, подпирать облака,
Стоять — быть у Города в пасти.

Александр Рейхерт
Пуля на излёте

* * *

А у нас такое лето —
Между зимами просвет:
Мало дней, но много света,
Потому что ночи нет.

А у нас такие дали —
Ты с угора взгляд свой кинь,
И насытишься едва ли:
Лес, вода да неба синь!

К нам дорог по суше нету —
Самолёт да теплоход,
Но мотаемся по свету —
Непоседливый народ.

Материк зовёт и манит —
И вздыхает всякий раз:
Что за люди северяне?
Чем ваш Север держит вас?

Возвращаемся, как птицы,
В край суровый и родной.
Здесь приветливые лица,
Здесь мы в лодочке одной.

И когда в порту огромном
Туруханск объявят вдруг,
Тут улыбки — все знакомы —
И пожатье многих рук.

А у нас такие зимы —
С октября по самый май,
А мы живы, невредимы —
Это наш любимый край!

* * *

А у нас опять такая вьюга —
Белой мглой закрыло белый свет.
Мы не можем позвонить друг другу —
Из-за непогоды связи нет.

В аэропорту не знают точно,
Прилетит ли нынче самолёт.
Пассажиры ждут: уж хоть бы ночью...
Материк от нас погоды ждёт.

В магазине покупатель редкий
Щурится на цены и молчит,
Продавщица-птица в тесной клетке
Счётами задумчиво стучит...

Уж скорей бы поухнула вьюга,
Ветер лёг бы за сугробом спать,
Мы могли бы позвонить друг другу,
Самолёты стали бы летать...

* * *

Эх, уеду я, уеду —
Заиграй в поход, труба!
Потрусит за мной по следу
Собачонкою судьба...

Наплевать мне на победы
И на смерть в чужом плену,
Скалят, скалят зубы беды,
И река зовёт ко дну.

И осина тянет сучья,
И верёвка — как змея,
И любовь — порода сучья,
Непутёвая моя...

Улечу я, улечу я
В небо ль, в бездну — чья печаль?
Вороньё, добычу чужа,
Полетит за мною вдаль.

Были принципы и кредо —
Ничего в помине нет...
Улечу, уйду, уеду —
Заметут метели след...

Советы грибнику

Когда собираетесь в лес за грибами,
Готовьтесь неспешно, готовьтесь с душой,
Чтоб там не смеялись сороки над Вами,
Возьмите рюкзак максимально большой,

Кусок целлофана — от ливня укрыться,
Топор, котелок и немного воды.
Рулончик бумаги — а вдруг пригодится?
А главное — суток на трое еды.

И компас возьмите, чтоб знать направление,
Отметьте заранее нужный маршрут:
Набравши грибов, иногда от волнения
Не сразу и вспомнишь, откуда ты тут...

А вдруг умудритесь Вы компас посеять?
Иль вдруг набредёте на залежи руд?
Нельзя безотчётно и компасу верить —
Порою, бывает, и компасы врут.

На этот, совсем исключительный, случай
Запомните сразу, где солнце от Вас,
Ещё время старта запомните лучше
И градус, что солнце проходит за час.

И если Вам всё ж предстоит заблудиться,
От крика «Ау!» Вы охрипнете враз,
Старайтесь на месте одном находиться,
Стучите в котёл, чтоб услышали Вас!

Когда Вы уходите в лес за грибами,
Просите прощенья у ближних своих,
Чтоб добрыми Вас поминали словами
И светлая грусть оставалась у них.

Пусть с завистью смотрят Вам в спину соседи:
Вас ждут приключенья и сказочный лес!
Вы нож не забыли? Ведь там же медведи!
Но, впрочем, возможно, никто Вас не съест...

Ещё б научить Вас в грибах разбираться:
Ведь Вам ещё, кажется, хочется жить?
Вы правы, решив лучше дома остаться:
Грибы в супермаркете лучше купить!

* * *

Я — как пуля на излёте:
Нет сил, и кончен путь...
Может, Вы меня поймёте?
Мне б найти кого-нибудь...

Вот бы с первого бы взгляда
И судьбу свою найти,
Чтобы снайперу — награда,
Мне — любовь в конце пути!

Чтоб была любовь до гроба —
Наше счастье и беда,
Чтоб на месте встречи оба
Мы остались навсегда!

Я летел, нутром пылая,
Мчался, трассером светясь,
Я спешил, преград не зная,
К сердцу Вашему стремясь!

Весь я сделан из металла,
Я летать, как птица, мог,
А теперь лежу устало
На земле у Ваших ног...

Может, Вы меня поймёте?
Мне без Вас — шальной удел.
Может, Вы меня найдёте?
Я б на ниточке висел...

Поднимите, просверлите,
Вденьте розовый шнурок
И у сердца так носите,
Чтобы я пропасть не мог!

* * *

А у нас такое лето —
Между зимами просвет:
Мало дней, но много света,
Потому что ночи нет.

А у нас такие дали —
Ты с угора взгляд свой кинь,
И насытишься едва ли:
Лес, вода да неба синь!

К нам дорог по суше нету —
Самолёт да теплоход,
Но мотаемся по свету —
Непоседливый народ.

Материк зовёт и манит —
И вздыхает всякий раз:
Что за люди северяне?
Чем ваш Север держит вас?

Возвращаемся, как птицы,
В край суровый и родной.
Здесь приветливые лица,
Здесь мы в лодочке одной.

И когда в порту огромном
Туруханск объявят вдруг,
Тут улыбки — все знакомы —
И пожатье многих рук.

А у нас такие зимы —
С октября по самый май,
А мы живы, невредимы —
Это наш любимый край!

* * *

Вот зима устроилась:
Много снегу что-то,
Как-то вдруг утроилась
Во дворе работа...

Зайцы стали грустными:
Нечем разговляться,
Ветками невкусными
До весны питаться...

Совы пучеглазые
По ночам вздыхают:
Грызунишки разные
В норках отдыхают...

Замело все просеки,
Краски дня не резки,
На сугробах пёсики
Пишут эсэмэски...

Лето в прошлом где-то,
Властвует сама —
В белый мех одета —
Зимушка-зима.

Лев Таран

Сырой рассвет

Утренние стихи

О Боже, покарай детей —
 И крошечных, и рослых.
 Карай их строго, не жалей!
 Они преступней взрослых.
 Они, едва почуяв свет,
 Кричат настолько громко,
 Что сходит наша жизнь на нет,
 И наше счастье ломко.

Вот женщина... блистала всласть
 Красавицей, княжною.
 А родила — и расползлась,
 Теперь квашня квашнёю.
 А этот должен был помочь
 Всему честному люду.
 Родился сын, а после — дочь.
 И не свершиться чуду!
 Она, в конце концов, его
 Нашла... но — муж и дети!
 Толкал её на воровство
 Единственный на свете.
 И двадцати не дашь ты ей,
 И даже при квартире,
 Но двое у неё детей,
 Как две пудовых гири.
 А этот хмырь попал в тюрьму,
 Всё объяснить пытался:
 — Мне столько денег ни к чему,
 Я для детей старался!

Вот так живут среди людей
 Клопы и мироеды.
 О Боже, покарай детей!
 От них сплошные беды!

На следующее утро

О Господи, имел совсем другую цель я.
И эти строки писаны с похмелья.
В тоске, в бреде, в припадке тёмных сил...
А сына я давно похоронил.
Он был тогда ещё настолько мал,
Что даже слова «смерть» не понимал.
Он пить просил. Но запрещали пить.
Я помню... мне вовеки не забыть
Его горящие, молящие глаза...
.....
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Единственная

В доме отдыха смена кончается.
Отдыхающие прощаются.
До автобуса провожают.
И друг другу писать обещают.

Вот идёт с мужчиною женщина.
Шепчет преданно: «Женечка! Женечка!»
Он в ответ глядит — не мигает.
Он нести чемодан помогает.

Наконец-то села в автобус.
Он поодаль стоит, обособясь.
Он автобусу машет рукою,
Вспоминая о даме с тоскою.

Ничего от неё не скрывал он,
Потому и стал *идеалом*.
Он смущённо улыбку прячет,
Понимая, что там она — плачет.

..Его скоро уже не будет.
И жена о нём позабудет.
И о нём позабудут дети.
Лишь одно существо на свете
В одиночестве истомится...

Ей, единственной, будет сниться.

Из дневника психиатра

В венерической больнице,
За решётками оград,
Молодые вижу лица
Юных, в сущности, девчат.

Их привозят под конвоем.
Никакой свободы нет.
Как солдат, их водят строем
На opravку, на обед.

Говорит больная Лида:
— Объясню вам как врачу:
Я лечиться не хочу,
И едва отсюда выйду —
Снова что-нибудь схвачу.

Я безумна, я во власти —
Никаких на то причин,
Но до ужаса, до страсти
Ненавижу всех мужчин!

Если нет во мне заразы,
Я хмельная не вполне:
Не получится оргазма
И не будет кайфа мне.

...И лицо, и грудь, и плечи —
Вся красива, видит Бог!
Ничего на эти речи
Я ответить ей не смог.

Полоумная Европа,
Объясни её дела!
И какая катастрофа
У неё произошла?

Говорит больная Лида,
Побледневшая от чувств:
— Если нужно, я для вида
Полежу и полечусь.

Похороны

Он любил одну, потом другую, потом третью, потом четвёртую...
третью из них теперь мы на столе застали мёртвую.

Я тоже её любил, но сдерживал себя, покуда
не встретился с нею и не прекратилось это чудо.

Мы встретились воровски, без слов понимая друг друга,
что я — его близкий приятель, а она — бывшая его супруга.

Мы встретились с нею два раза, а на третий я сказал осторожно:
— Я люблю тебя по-прежнему, но... встречаться нам невозможно.

И она меня поняла тогда, и с болью она меня отпустила.
Была в ней какая-то особая, нечеловеческая какая-то сила.

И вот мы у гроба её стоим вдвоём — чуть пьяны, молодцеваты.
Оба виновны перед нею, и оба перед нею не виноваты

* * *

Откуда в нас чувство вины, откуда?
Не знаю, не знаю... а выдумывать не буду.
Но однажды приходит оно и саднит в груди,
И никуда от него не деться.
Это похоже на детство — на незащитное детство.
Только нет ни дяди, ни тёти, ни наказания неизбежного...
Господи, если Ты есть, Господи, прости меня, грешного!

* * *

Да, мне с этой стареющей дамой —
Ни забот, ни хлопот,
Ни стыда с ней не знаю, ни срама,
Потому что всегда меня ждёт.
Потому что бесцеремонно —
Без озноба, без чувств —
Я звоню ей по телефону
Или в двери стучусь.
Если что-то меня беспокоит,
То умело весьма
И накормит она, и напоит,
И разденет сама...

Сколько ж надо позора и свинства
Было выделить ей в удел,
Чтоб высокий огонь материнства
Для чужого мужчины горел!

* * *

Читатель ищет между строк
Какой-то смысл, конечно, тайный.
Но я не Бог и не пророк.
Мои прозрения случайны.
Мои прозрения слепы.
Мои пророчества опасны.
Я сам пытаюсь ежечасно
Уйти от собственной судьбы.

* * *

Помнишь «Розовый портвейн»?
Пить его — нет сил.
Помнишь, Фридрих Горенштейн
С нами вместе пил?
Говорил он нам спьяна,
Пьяный не вполне:
— Эта гадкая страна
Надоела мне!
Этот запах потных тел,
Этот грязный люд...
Он на Запад улетел
Через пять минут.
Помнишь, правду я рублю
Уж в который раз?
— Вашу прозу я люблю,
Презираю вас!
Он беззлобно хохотал,
Опершись на стол.
Я ему бы в морду дал —
Рано он ушёл.
Ну и что же? Мы живём
В прежней маете.
Так же бережно несём
Все надежды те.
Тот же самый хищный зверь —
«Розовый портвейн»...
Как живётся вам теперь,
Фридрих Горенштейн?

* * *

Даруй мне, жизнь, успокоенье.
Уже не жду я от любви
Ни божества, ни вдохновенья,
Ни жара тайного в крови.

Я вспоминаю с лёгкой болью —
Сквозь медленное забытьё —
Сырой рассвет в туманном поле,
Глаза припухшие её.

Блаженство взгляда, жеста, слова,
Прикосновенья волшебство...
Начнись теперь всё это снова —
Я б отказался от всего.

Благословил бы я угрюмство...
Да только знаю, что оно —
Припадок нового безумства,
Где всё опять предрешено.

* * *

— Ты злословишь... Ты хохочешь...

Грубо шутишь надо мной...

Уязвить меня ты хочешь!

— Я люблю тебя, родной...

— А когда спокойно, чинно

Под руку иду с женой,

Как ты злобно смотришь в спину!

— Я люблю тебя, родной...

— Обо мне, скажи, не ты ли

Распустила слух дурной?

Все соседи рты раскрыли!

— Я люблю тебя, родной!

— Ведь узнает о скандале

Муж — тебя прирёёт, хмельной.

Сын — и тот простит едва ли...

— Я люблю тебя, родной...

Елена Пестерева

КУБ и другие геометрические фигуры

Из сибирских литературных фестивалей мне известны два — иркутский и красноярский. При этом жизнь так сложилась, что Байкал я видела уже дважды, а Енисей — ни разу, так что в этом году отдала предпочтение красноярскому. Ожидания от поездки — новый город, новые стихи, старые друзья, большой Енисей — полностью оправдались. А чего ждать от фестиваля — было неясно: «КУБ» («Книга. Ум. Будущее») делается менеджерами Дома искусств, а не литераторами, имеет финансовую поддержку краевого минкульту, что в текущих реалиях необычно, проходил всего во второй раз, но, как выяснилось, с успехом применяет опыт других фестивалей. В результате «КУБ» получился настолько эклектичным, насколько это возможно, — но основные законы жанра соблюдались.

Что непременно должно быть на литературном фестивале? Семинары, встречи с читателем и какой-нибудь конкурс. Семинаров обычно два — проза и поэзия. На «КУБе» класс прозы вёл лауреат премий «Нашего современника» и «Ясной Поляны» Михаил Тарковский, поэзии — член российского ПЕН-центра, дипломант «Московского счёта» Геннадий Калашников. Третьим семинаром на фестивалях бывает критика, драма, детская литература, художественный перевод. У красноярцев оказалось книгоиздание, только не полным трёхдневным семинаром, а двухчасовым мастер-классом критика, литературного агента и прозаика Ирины Горюновой.

Выступлений разного рода было во множестве — и очень удачно для этого сгодились камерные книжные магазины города («Бакен» на Маркса и «Фёдормихалыч» на Ленина) и тихие кофейни. Встречались с читателями (и друг с другом — не так уж часто видимся) Геннадий Калашников, Амарсана Улзытуев, Николай Александров, Дмитрий Мурзин, Юрий Татаренко, Светлана Михеева, Артём Морс, Надежда Ярыгина, Татьяна Тарковская. В формате «круглого стола» в педуниверситете встречались со студентами преподаватели красноярских вузов, группа писателей из Хакасии, заместитель министра печати Дагестана Миясат Муслимова и главред журнала «День и ночь» Марина Саввиных — говорили о проблемах журнальной публицистики и переводах на русский произведений народов ближнего зарубежья. А в другое время и в другом формате можно было увидеться с Игорем Дроновым и Анной Асеевой, Марией Марковой и Юлией Белохвостовой, что я и делала с большим для себя удовольствием.

В части зрелищ вниманию публики предлагались театрализованные мероприятия: уличный книжный флешмоб у памятника художнику Андрею Поздееву, выступление московского дуэта «Коровин и Фагот» (Андрей Коровин и Александр Александров) и вечер встречи-разговора Захара Прилепина и Михаила Тарковского на сцене Красноярского ТЮЗа, моноспектакль Татьяны Чуланкиной по рассказу Карен Бликсен «Пир Бабетты» и поэтический перфоманс-погружение «Глубина восемь». Когда организаторы с местными театрами не дружат, на фестивалях нишу зрелищ заполняет видео-поэзия — несколько клипов участников фестиваля на несколько стихотворений участников фестиваля. Красноярцы дружат крепко: не знаю, доведётся ли мне ещё когда-нибудь читать стихи залу на заливаемой синими полосами света авансцене внутри небольшого золотого пятна, с дымом и микрофонным эхом, пока за моей спиной танцуют два контемпорари-данс коллектива, два звукорежиссёра подают подобранную музыку, на двух экранах надо мной выводятся разные ролики, тоненькая девушка играет на флейте, а русский народный хор в кокошниках поёт. Ощущения незабываемые. Виталию Лысенко, придумавшему нам такой сценарий, моё отдельное честное спасибо.

Без конкурса фестиваль обходится редко — это уж как водится, без этого никак. Разница только, международный он будет, всероссийский или местный, и набор номинаций может быть каким угодно. И слэм — непременно. В Красноярске конкурсы местные, но зато два. И один слэм (жаль, я уже улетела и слэма не видела). Конкурс им. И. Д. Рождественского оказался краевым, затеянным четыре года назад, и предлагал номинации «Поэзия», «Малая проза», «Я себя не мыслю без Сибири» и «Чем писать, как не любовью?» в двух возрастных группах (до четырнадцати лет и после). Меня интересовала поэзия среди взрослых участников. Здесь победили красноярские поэты: Тина Кошкина разделила с Николаем Тимченко из пос. Имбинский Кежемского района победу в «Я себя не мыслю без Сибири», а Ольга Гуляева признана жюри лучшей в двух оставшихся номинациях. Нет, с другими стихами, просто мне понравились вот эти: «Мы, играя, залезли и в бочки, и в водопровод. / Мокрым было и платье моё, и на нём алфавит. / Мне потом обещали: навеки посадят в комод. / Деда просто ругали — поставили деду на вид». Награждение проходило в Малом зале филармонии, чрезвычайно торжественное, даже немного протокольное. Лауреаты своих стихов не читали и благодарственных речей не произносили, а по актёрскому чтению (один лауреат — одно стихотворение) судить о поэтах трудно. Зато нам художественно прочли рассказ Астафьева: как ни странно, вышло уместно и прекрасно, и вовсе не потому, что Астафьеву в этом году девяносто лет, а всё, что не носит в Красноярске имени Сурикова, то носит имя Астафьева. Просто рассказ хороший.

Второй конкурс оказался строго поэтическим, пошире географией и побогаче историей: «Король поэтов» проводился председателем СРП Михаилом Стрельцовым в десятый раз. Корона досталась Марине Черноскутовой из пос. Кузедеево Кемеровской области (к вящей радости присутствовавшего в жюри Мурзина). Две приводимые строфы — опять же мой личный выбор:

Я лох, совок, провинциал.
Продолжить список, мой читатель?
Электорат,
Простой народ,
Людская масса,
Обыватель...

Я летописец из толпы,
Вот этот или тот прохожий.
Я вижу то же, что и ты.
И чувствую, быть может, то же.

В прошлом году на «КУБе» из развлечений был «поэтический троллейбус» — забавный опыт, старый для Москвы с «бардовским троллейбусом», курсирующим по Садовому чуть ли не каждую субботу, но всё ещё любопытный. Так катали гостей «Плюсовая поэзия» по Вологде в 2012-м и «Словесность XXI века» по Казани в 2013-м. В этом году «КУБ» решил без троллейбуса — может, и правильно. Впрочем, несколько раз на общественном транспорте до конечных я всё же прокатилась — в ознакомительных целях.

Массу эмоций я получила на вечере «Крайности и вольности в КУБе. Поэзия 18+», и не потому, что никогда до того не слышала обценной лексики. Но одна из участниц затеяла читать стихи Шиша Брянского, вот это:

Ой, Стиксе! ой, Нево!
О райская креза!
Ой, Китеж! Ой, Фивы!
О бледный конь в пальто!
Ой вы, Серафимы,
Дайте мне вон то! —

а там и другие. Я-то думала — нужно свои стихи, и от неожиданности первое время ушам своим не верила. А потом ничего, поверила и порадовалась. На следующий день выяснилось, что девушка — лауреат местных конкурсов Тина Кошкина, а не просто Шиша поклонница. Так меньше впечатляет, но всё равно неплохо. Между тем богатая идея для вечера: участники и гости фестиваля читают стихи любимых авторов. Мало что так полно характеризует поэта, его пристрастия, эстетику и даже творческий путь, как десятка любимых поэтов. Ну,

пусть пятёрка, не десятка. Коровин с Фаготом читал Слуцкого и Гумилёва — это показательно. Я бы вот читала Ходасевича и Кузмина, может, ещё Георгия Иванова и Алексея Цветкова, а может, и Д. А. Пригова, и Шиша Брянского. Про других готова угадать, кого они читать будут. Можно и ставки принимать: «Угадай любимого поэта любимого поэта» (к примеру: «Угадай фаворита Сергея Кузнечихина»).

Понятное дело, интереснее всего смотреть на то, чего ты ещё не видел. В моём личном топе (после Шиша Брянского) были поездки на «Столбы» и в близлежащие города. Из Сосновоборска, Железнодорожска, Зеленогорска, Заозёрного, Ачинска и Назарово нашей маленькой компании из Ульзытуева, Марковой и вашей покорной слуги под предводительством Ивана Клинового достались как раз последние два городка. В Ачинской городской центральной библиотеке нас встречали хлебом-солью, телевидением, полным залом и подслушанным мной диалогом:

— А вы чего приехали?

— Ну, поэтов послушать...

— А так они же и у вас в Назарово сегодня выступают, в шестнадцать часов! Вы что же, не знали, наверное?

— Почему же не знали? Знали. Просто хочется два раза послушать.

Трогательно, согласитесь. Я даже решила в Назарово читать то, чего в Ачинске не читала. И не то чтобы Назарово так уж далеко, всего пятьдесят километров, но редко случается ехать за стихами. Хотя мне случалось ехать аж до Киева.

Так что, когда в Назаровском музейно-выставочном центре нас снова встречали хлебом-солью, телевидением и полным залом, я уже не удивилась. Даже узнав, что в городе с пятьюдесятью тысячами населения работают аж три ЛИТО, не удивилась.

Что ещё было в Красноярске? Ещё была часовня Параскевы Пятницы, которая — да, на бумажной десятке, всё реже попадающейся в руки. Так пролегли наши маршруты, что её отовсюду было видно. Неслыханно тёплая погода и пироги с черёмухой (никогда раньше не пробовала). Было хорошо. На фестивалях и должно быть хорошо, иначе в чём же смысл? Много шутили, что этот «КУБ» — в квадрате, потому что второй. Что следующий будет «КУБ»³ — совсем в кубе. Часть мероприятий проходила на площадке организатора, в Доме искусств, тут я шутила, что это «КУБ» в ДИСКе. Клиновой смеялся. Хорошее название — «Дом искусств», у него глубокие корни в истории отечественной литературы, но оно обязывает. Из фестивальных радостей для меня были новые книжки сибирских авторов; правда, тут же выяснилось, что «Другими словами» Морса и «Отблески на камне» Михеевой я без труда могла добыть в Москве в «Воймеге», «Бенгальскую воду» Мурзина — в Москве в «Вест-Консалтинге», а «Латте-арт» Клинового — вообще принт-он-деманд. Ну что же, это не мир тесен, это прослойка тонка.

Чего в Красноярске не было? Так сложилось, что я не услышала ни одного стихотворения Сергея Кузнечихина. Это жаль, но читать с листа всё равно спокойнее и понятнее. До ГЭС, Царь-рыбы и Овсянки я не доехала, а более стойкие участники доехали и были рады. Но дело поправимое — будет повод вернуться.

Теперь давайте к статистике — это самое интересное. Примерно сотня авторов из десятка городов России (Москвы, Абакана, Махачкалы, Улан-Удэ, Барнаула, Вологды, Иркутска, Кемерово, Новосибирска, Красноярска) приняла участие в сорока мероприятиях на двадцати площадках города и окрестностей. Дом искусств говорит, что в общей сложности фестиваль охватил две тысячи человек. Впечатляет? Меня впечатлило.

* * *

в тысячный раз напиши апрель
смешанный лес голубое небо
рваная трасса до новосибирска
зил бензовоз жигули газель

рано весна и теперь ясней
волны саян в синеве тумана
в городе надо же вскрылась мана
лёгкие льдины большой енисей

несколько дней понебуть никем
угол урицкого перенсона
солнце садится конец сезона
катится светится каа-хем

* * *

туда во тьме ночными городами
и надо же совсем не так назад
заснеженные полости под нами
а серое наверное леса

разглядывали родину в окошко
зачем её по космосу несёт
вот складчатая у предгорий кожа
и вены рек и родинки озёр

то в облаке сияющем утонет
то подставляет солнцу пояса
восточно-европейские ладони
и западно-сибирские глаза

Владимир Замышляев

Славный мастер танца

К 95-летию со дня рождения М. С. Годенко

При жизни Михаила Семёновича Годенко не увлекались в оценке искусства такими словами, как «бренд» (символ товара) и «звезда» (символ шоу-бизнеса). В настоящее время можно сказать, что имя балетмейстера М. С. Годенко — это во всех смыслах символ в искусстве народного танца и бренд нашей культуры со знаком высокого качества. Достигнутый мастером успех в искусстве хореографии, называемом народным танцем, навсегда остался в истории Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири. Понятия «народное» и «академическое» здесь как бы противоречат друг другу, чего нет в государственном ансамбле Игоря Моисеева — там академическая школа подготовки танцоров и соответствующий характер исполнения на сцене. Правда, этот великий мастер однажды сказал: «самодеятельных» мы «образуем», а «академиков» — «растанцуем». Только теперь есть школа-студия Игоря Моисеева, в которой сразу готовят танцоров для профессиональной работы в ансамбле. В коллективе ансамбля танца Сибири изначально были самодеятельные (по набору) танцоры, и они в творческой практике, в репетиционных занятиях приобретали профессиональное мастерство, но «академиками», как у И. Моисеева, не становились. А звание «академический», присвоенное ансамблю танца Сибири, — это признание профессионального мастерства коллектива и его статус в искусстве вообще, что позволяет иметь штатную численность в ансамбле до ста двадцати человек. При Михаиле Годенко так и было.

При создании художественного комплекса в Красноярске (институт искусств, театр оперы и балета, хореографическое училище и др.) появилась возможность набирать в ансамбль танца Сибири и танцоров с хореографическим образованием, но талантливая «самодеятельность» при этом всё равно не исключалась. И «образовывались» и те, и другие под образ, характер, стиль «ансамбля Годенко».

Художественный руководитель ансамбля, постановщик всех его хореографических номеров М. С. Годенко сотворил то, что до него никто из балетмейстеров народного танца не делал. Он вывел народный танец из положения «деревенского», «бытового», «уличного», что традиционно для фольклора вообще, на сцену профессионального исполнения, вдохнув в него жизнь современного человека. Причём в каждом танцевальном номере появилась композиция,

хореографическая драматургия с образами и характерами народной культуры. Далеко не все знатоки, ценители, ревнители традиций восприняли положительно художественное направление Михаила Годенко. Были и критические статьи, в которых творчество ансамбля рассматривалось как «искажение фольклорных традиций», как отход от народного танца в угоду сценической зрелищности, «опереточному веселью», как погоня за популярностью у невзыскательной публики. Вопрос о традициях и новаторстве в искусстве всегда непростой, и без острых дискуссий тишь и гладь не наступает. Можно понять и тех, кто боится «агрессивной новизны», наносящей порой жестокие удары по ценностям национального бытия. Вот, например, примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва однажды сказала в интервью газете «Аргументы и факты»: «Я не вижу сегодня героев, мы слишком быстро перешли к другим ценностям».

У Михаила Годенко была высокая художественная и гражданская ответственность в искусстве танца. Он не разрушал ценности национальной жизни и культуры — наоборот, обогатил их новыми формами и смыслами, выразив в искусстве народного танца дух единства «деревни и города». Ведь это эпоха перехода от «телеги» к «ракете», от замедленной (по законам природы) сельской повседневности — к динамике, к ритму индустриального города. В эти же годы сформировалось оппозиционное по отношению к городу явление в художественной литературе, именуемое «деревенской прозой». Попытка спасти «деревню» писательским словом несла в себе благие намерения и действительно защищала и спасала коды национального бытия. Но эта литература отказывалась понимать и «городской фольклор», усматривая в нём только отрицание духовного опыта прошлых поколений, тысячелетней истории предков. Если обратиться к произведениям В. П. Астафьева, то мы не увидим в них положительного героя из городской жизни. «Последний поклон» — прекрасный гимн деревне, исторической памяти. «Царь-рыба» — проклятие городскому человеку. Тут много правды, но она горькая, неутешительная и не всё объясняет.

Анафема городу, прямо скажем, широко пошла в мире искусства, остаётся в нём и сегодня. Быть может, это ещё и реакция на «производственные» романы и пьесы, кинофильмы и песни, которые по критериям мастерства уступали «деревенским». В искусстве хореографии «производственная» тема тоже прокрутилась, но (и в этом её особенность) на основе «ходов» народного танца. К примеру, танцоры изображают движение турбины ГЭС, построенной на Енисее, они движутся по кругу, как в народном хороводе. Одним словом, круг — это классическая фигура в истории всех культур.

М. С. Годенко делал постановки (в незначительном числе) на темы производственных трудовых успехов сибиряков. Однако они чаще всего оборачивались народным гулянием, духом крепкого здоровья

и радости от совершённого людьми по доброй воле, в сплочённом коллективе. Чистым образцом сугубо городской культуры можно назвать «Танец регулировщиц», резко контрастировавший с «народными гуляньями». Во время гастролей за рубежом в некоторых газетах капиталистических стран писалось, что данный танец — это пропаганда советского милитаризма. Бог с ними, со спецназом холодной войны. Танец публике нравился. Он стал регулировщиком на улицах городской культуры, открывал переход в пространство новых сценических движений. Это путь к «Свободному балету» сугубо городских социальных индивидов.

Обратим внимание и на то, что исполнителями «Танца регулировщиц» были те же пленительные девушки, что и в коллективном танце «У колодца» или в «Сибирском лирическом», само название которых никак не вяжется с производственно-городскими темами. Вот это и есть опыт нового хореографического антропологизма, когда один и тот же исполнитель, танцор несёт в себе два начала: живёт в городе, ездит на личных легковых автомобилях, выступает по всему миру, а в душе хранит образ деревни — родины национального детства. Такое воплощение — перевоплощение — удаётся в искусстве под руководством славных мастеров, каким явился в Красноярске Михаил Годенко, создавший ансамбль танца Сибири в 1964 году.

В его хореографии преобладает русский народный танец — конечно, в сценической театрализованной форме, и в то же время всегда истинно народный, характерно лирический, удалой и балагурный, с такими героями, как любимец публики на протяжении нескольких лет, талантливый танцор-весельчак Валерий Борисов, которого, как и многих других, уже нет в живых, но память о них не умирает.

Балетмейстер Михаил Годенко оказался мастером не только в русской хореографии. И коллектив под его руководством называется ансамблем танца Сибири! В его концертных программах мы видели тувинские, хакасские, эвенкийские танцы, созданные опять же мастером по мотивам традиционной художественной культуры этих народов. Можно сказать, что они получили от М. С. Годенко замечательные подарки — образцы сценического народного танца. И он ими оценён и вознаграждён. За танец «Звенящая нежность» по тувинским мотивам Михаилу Годенко было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Тувинской АССР».

Почётных званий (самых высоких) у мастера народного танца много: народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР. А коллектив, созданный им, имеет международные почётные звания за участие в фестивалях и конкурсах и награды от некоторых иностранных государств. Об этом написано в книжных, альбомных и газетных статьях, посвящённых ансамблю и его руководителю. Я тоже писал о них, видел изумительную творческую концертную работу ансамбля в Красноярске, Москве

и за рубежом — в Греции, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре. И могу свидетельствовать, каким огромным успехом пользовались его выступления у публики в далёких от Сибири странах. Как говорили советские послы в названных государствах, ансамбль «растопливал льды» холодной войны, рассеивал предубеждения о «дикой Сибири», разрушал стереотипы восприятия русского человека — только в шапке-ушанке и в красном поясе. В газетах писали, что в Сибири «круглый год зима, а они ещё танцуют». В общем, много смешного, несурзадного, а иногда и откровенно враждебного, с попытками сорвать концерты ансамбля или поубавить число зрителей. И, однако, ансамбль проявлял выдержку, профессионально трудился на сценических площадках всего мира и всегда побеждал, получая рукоплескания, крики «браво», вызовы на бис — за великую силу искусства.

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири носит имя своего постановщика и воспитателя. Нам, живущим, очень жаль, что мы не видим сегодня живую улыбку доброго, ироничного и доступного в отношениях человека. Он никогда не кичился своим заслуженным положением, был открыт для диалога в жизни и в искусстве. Его признали во всём мире, признали в России, высоко оценили его реформаторский, отнюдь не формалистический подход к народному танцу. Он сохранил его душу и приумножил формы воплощения на сцене. Даже Игорь Моисеев, приехав с первым концертом своего ансамбля в Красноярск, говорил (я присутствовал при этом разговоре в филармонии), что он переживал, как примут его коллектив красноярцы, ведь они имеют и любят свой замечательный ансамбль Михаила Годенко. И «моисеевцы» выступили прекрасно, и красноярцы способны оценить без местечкового патриотизма выдающиеся достижения двух мастеров хореографической советской эпохи.

Искусство, если оно служит Вере и Надежде, Добру и Красоте и воодушевляется Любовью, живёт вечно. Живут в нашей памяти, остаются в традициях национальной культуры и её прославленные имена. В их число история включила и Михаила Семёновича Годенко — символ красноярской культуры в настоящем и будущем.

Прошло более двадцати лет после ухода из жизни Михаила Семёновича, но ансамбль его имени живёт, радует зрителей и на земле красноярской, и на просторах России, и за рубежом. В феврале 2014 года ансамбль совершил блистательный гастрольный тур по США и выступил на лучших площадках от Вашингтона и Нью-Йорка до Джорджии и Флориды. В первый раз на гастролях в этой стране коллектив был при жизни М. С. Годенко. Великое искусство не знает границ и всегда ценится выше любой политики. Оно ценней и надёжней для людей всех стран.

Татьяна Тарковская

«Послушай: далёко, далёко...»

Размышления про поводу литературной гостиной, состоявшейся в селе Бахта Туруханского района 30 ноября 2012 года. Встречу организовали учителя русского языка и литературы О. В. Мальцева, Е. И. Хохлова и библиотека.

На африканском озере Чад в последнюю пятницу ноября установилась едва ли не сорокаградусная жара. Об этом юный северный житель Иван Луневский вряд ли задумывается: в его родной Бахте с утра тоже придавило сорок, только минус. Извечные ли законы человеческого тяготения к чужим, невиданным и потому удивительным мирам, тоска ли по летней горячей поре, а может, какая иная сила (скажем, в лице учителя литературы) подтолкнула школьника к выбору знаменитого гумилёвского «Жирафа», но именно этим незабвенным стихотворением Луневский открыл литературный вечер-гостиную в бахтинской библиотеке.

Возможно, собравшиеся бахтинцы — человек сорок взрослых и детей — обиделись бы на Гумилёва, если б знали, что он не любил деревню. Или, скажем так, не особенно любил — ему было скучно: «...Такая скучная и тёмная, незолотая старина...» Предпочитая экзотику, поэт исследовал Африку. Однако, как и всякий Богом поцелованный человек, со временем он понял, что многим обязан русской деревне, и прежде всего — постижением такого глубокого понятия, как родина; это, пожалуй, и есть тот перекрёсток неисповедимых путей Господних, на котором встречаются великие поэты и простые дети... В какой бы географической точке эта встреча ни произошла.

Бахта — место более подходящее, чем можно подумать: и реальное, и вполне метафизическое. Подрастающее поколение здесь не ходит в развлекательные центры, кинотеатры и супермаркеты, в кафе и ночные клубы, не порчено стилями и трендами, тенденциями, веяниями — мозги покамест спасены от громадного рынка «мусорных файлов»... В шаговой доступности здесь — библиотека. С Пушкиным, Буниным, Толстым и Достоевским, Астафьевым и Распутиным... Не стоит, конечно, идеализировать ситуацию: хватает и тех, кто курит в сторонке, а то и пьёт, вновь обращая нас к пресловутому вопросу о русской деревне. Но ведь каков метод: ничего, в общем-то, нет, а библиотека — есть. В повальном большинстве русских деревень на сегодняшний день она «была, да сплыла», оставив без работы отчаявшихся сотрудников.

На этом фоне бахтинский библиотекарь Полина Бойцова должна быть счастлива своей востребованностью: исполнительница прямых обязанностей, она незаменима и для школы — вот, гостиную подготовить вместе с учителями и даже испечь вкуснейшие пироги к торжественному чаепитию. Но этот неожиданно славный десерт для любителей пищи духовной последует уж после того, как дети, большие и малые, прочтут стихи и прозу, выбранные по душе. А душе есть где развернуться: тут тебе и Серебряный век, и не наречённый, но яркий век родной красноярской (и шире — сибирской) литературы — от Виктора Астафьева до Павла Васильева (благословен этот край, коли даёт возможность природниться к таким именам) и до современников. Писатель Михаил Тарковский и вовсе не коренной житель, даром что москвич, за внешней простотою которого люди уж и не помнят или вовсе не подозревают громадного культурного контекста. Но благодаря этой вот фактической соединённости маленького северного села и большой русской литературы непонятное слово «Бахта» ожило и зазвучало по всей стране и больше. Это как минимум говорит о том, что даже малограмотная часть населения, не могущая жить без «зомбоящика» или компьютерных игрушек, может сказать своим детям: вы родились в особенном селе, гордитесь — быть может, и вы у нас особенные.

Особенные! Вот, наконец, и суть: бахтинские школьники в последнюю пятницу ноября читали не только чьи-нибудь, а и свои собственные сочинения — и стихи, и прозу. Пожалуй, если б не этот факт, то данная заметка могла бы обратиться сухим коротким сообщением или вовсе не появиться: в конце концов, литературная гостиная — это традиционное и как будто стандартное мероприятие. Что тут нового скажешь?

Но дело вот в чём. Эти дети и их литературное творчество — результат оторванности от материка, отсутствия городского искусства подмен, практически отсутствия источников пошлости и душевного разврата... О современном телевидении на минуточку забудем, и без него хватает в городах ловушек, а в деревне — только оно и есть, не считая Интернета крайне низкого качества. Зато, повторюсь, библиотека — в шаговой доступности.

Зима, к примеру, здесь — самое благоприятное время для «внутреннего мира». Летом у ребятешек слишком много отвлечённо-необходимых дел — надо как следует напитаться коротким теплом и максимально использовать возможности перемещений. А зимой мир и в самом деле становится очень внутренним: тайга вокруг — будто непреодолимая прокалённая стена толщиной в сотни километров, темень большую часть суток, снега повальные, холода жестокие — и не до прогулок... Енисей — летняя водная трасса — дрыхнет вовсю, как медведь, врывшись в тридевятый сон под неподъёмным ледяным одеялом... И куда тебе, мальчик? Мир сужается вокруг, затягиваются

морозной фантазмагорией домашние окошки — попробуй продышать свою проталинку... Впрочем, делают ли так современные дети? Нынче и в деревнях во многих домах стеклопакеты. Но это не важно, а важно, что тягу к творчеству нужно реализовать, и ты, скорей всего, испробуешь её в слове. Потому что, если угодно, это проще всего — нет, не проще, а доступнее, что ли. Вообще, можно ещё рисовать, но рано или поздно акварель и карандаш покажутся тесными, а других технических средств в местных магазинчиках не купить... И ведь нужны учителя. О музыке говорить не приходится. А вот учиться писать... тут тебе, нестрого говоря, нужны только голова да библиотека (начитывать базу!). Как бы ни была подвергнута критике эта примитивная с виду логика, а факт есть факт: дети в Бахте пытаются писать. И даже публикуются в региональной периодике. Тем надёжнее это дело, что учиться приходится на основе природы. Естественно. Природа — это основа. И учителя есть, родные авторы, которые вот они, на полках, — Астафьев, Распутин.

Вот и Роман Хохлов, двенадцати лет от роду, пишет свою маленькую «Царь-рыбу»: «...утреннее солнце только начало нагревать землю, под ногами хрустели уже засохшие бурые листья. Вот взлетел рябчик и сел недалеко от меня. Я прицелился и выстрелил. Он свечой полетел вниз и повис на ветке берёзы. Я обломил ветку, снял рябчика и положил его в карман. Свернув с дороги, я пошёл лесом к берегу, чтоб выйти к озеру и посмотреть гусей. На озере было пустынно, только беззаботные птички распевали песенки, да плескалась старая опытная ондатра, которая строила себе домик...»

...Этот маленький таёжный писатель когда-то вырастет, и не важно, в большого ли писателя, — может, охотником уйдёт в тайгу, может, поедет по Большой земле искать себя, — но этот уникальный опыт жизни в чистоте, природной гармонии, осознанной близости к земле, это детское прикосновение к родине — нет, не прикосновение, а ощущение её как естественной части себя, ребёнка, уже пытающегося это понять, — вот это сильное и дорогое должно вести его и спасти его.

Нелюбовь к деревне столь же наивна, как первая любовь. Энергия страсти и заблуждений, открытий всеми открытыми прежде вещей, разочарований — опыт взросления. У каждого своя дорога к Богу. Осознанный или безумный бег по ней — пусть из деревни в город, пусть на чужой материк, да пусть хоть в космос — всё равно в означенный час завершится, придёт время плакать по родине. Скучной, пыльной, глухой, холодной, жестокой, далеко-далёко...

Так было и сто лет назад. В 1912 году, прощаясь с селом всего-то ненадолго, Гумилёв написал:

И к Тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
— Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.

Авторы



Башунов Владимир Мефодьевич

Родился в 1946 году в посёлке Знаменка Турочакского района Алтайского края. Там, в Горном Алтае, в таёжном селе Турочак на бурной речке Бии, и вырос. Окончил филологический факультет Барнаульского пединститута. Служил в армии. Работал в районной газете «Звезда Алтая», в Алтайском книжном издательстве. Был в середине 1990-х главным редактором альманаха «Алтай». Его стихи печатались в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни» и других, в Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Автор десяти поэтических сборников и трёх книг для детей. Лауреат двух премий Алтайского края: В. М. Шукшина и губернаторской.



Беликов Юрий Александрович

Родился в 1958 году в городе Чусовой Пермской области. Окончил Пермский университет (1980). Работал в газетах «Чусовской рабочий», «Молодая гвардия», был членом редколлегии журнала «Юность» (1992–1995), корреспондентом газет «Комсомольская правда» и «Трибуна»; сейчас — корреспондент «Литературной газеты». Печатается как поэт с 1975 года (первая публикация — в газете «Металлург»). Автор нескольких книг стихов. Публикации в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк», «День и ночь». Стихи включались в такие издания, как «Антология русского верлибра», «Самиздат века», «Антология русского лиризма. XX век», «Современная литература народов России». Составитель книг молодых поэтов в серии «Илья-Премия» (в том числе книги П. Чечёткина, А. Нитченко и другие). Член редколлегии журнала «День и ночь». Участник движения «дикороссов» и составитель поэтической антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)» (2002).



Блинова Ольга Иосифовна

Профессор Томского государственного университета, доктор филологических наук, действительный член Международной академии наук высшей школы, заслуженный деятель наук Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации.



Гуляева Ольга

Уроженка Енисейска. Окончила психологический факультет Красноярского педагогического университета. В 2010 году

заняла второе место в краевом литературном конкурсе «Король поэтов», по итогам конкурса издана книга стихов «Бабыя песня». Стихи публиковались в журнале «День и ночь», коллективных литературных сборниках, издававшихся Н. Ерёминим. В 2013 году победила в поэтическом конкурсе «Канский лёд».



ЖАРИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в Тюменской области в 1970 году. В 1993-м окончила филологический факультет Абаканского пединститута. До 1998 года жила и работала в Шарыпове, участвовала в деятельности литобъединения «Вдохновение», публиковала стихи и прозу в районной газете «Огни Сибири». В Красноярске занималась в литобъединении «Диалог», печаталась в городских газетах, участвовала в проекте «100 женских творческих лиц Красноярья». Публиковалась в коллективных сборниках под редакцией Николая Ерёмина: «Скрипичный концерт», «Тропа любви». Дипломант в номинациях «Поэзия», «Малая проза», «Чем писать, как не любовью?» конкурса им. Игнатия Рождественского 2013, 2014 годов. Работает в Красноярской университетской гимназии «Универс» №1 учителем-словесником. Руководитель литературно-театральной студии «Арт-кафе „Балаганчик“».



ЗАМЫШЛЯЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился в 1938 году. Работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени М. Ф. Решетнёва с октября 1991 года. Он формировал гуманитарный факультет вуза в трудный период реформирования страны и системы образования и был деканом факультета с 1991 по 2003 год. За успешную научно-образовательную и культурную деятельность профессору В. И. Замышляеву присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Федерацией космонавтики России он награждён почётной медалью имени К. Э. Циолковского. Член Союза журналистов России, Союза писателей России.



КОКШЕНЁВА КАПИТОЛИНА АНТОНОВНА

Российский литературный и театральный критик. Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Заведующая кафедрой журналистики Института бизнеса и политики, доктор филологических наук.



КОЛЕСНИК ТАМАРА ФИЛИППОВНА

Родилась в 1945 году в Ачинске. Окончила историко-филологический факультет Енисейского государственного педагогического института. По профессии — учитель русского языка и литературы. Более 25 лет проработала заместителем редактора и ответственным секретарём в газете «Енисейская правда». Член Союза журналистов России. Живёт в Лесосибирске.



Кошкина Тина

Родилась в селе Каратузское в 1982 году. Член Союза российских писателей. Финалист конкурса «Король поэтов» (2014), лауреат многих других конкурсов. Написала несколько книг стихов (самые известные: «Я — Кошка», 2006; «Генератор крыльев», 2008; «Антигламур», 2010). Обладатель множества поэтических наград. Публикации во многих городах России (Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Рязань и другие), за границей (журнал «Образы жизни», США). Публиковалась под именами: Валентина Гуркова, Кошка, Ванда, Тина Кошкина. Живёт в Красноярске.



Котов Михаил

Родился в 1983 году в Ачинске Красноярского края. Окончил Сибирский юридический институт, служит в отделе внутренних дел г. Ачинска в должности заместителя командира взвода. Ветеран боевых действий. В 2012 году две повести и пьеса были опубликованы в журнале «Страна Озарение», в 2014 году по программе «Народная книга» вышел сборник рассказов «Тот, кто рассказывает историю».



Кудринский Валерий Иннокентьевич

Заслуженный художник России. Родился 15 марта 1947 года в селе Третьяково Кемеровской области. С 1962 г. живёт и работает в Красноярске. Учился в Художественной школе, в 1968 году окончил Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова. С 1970 года — участник художественных выставок (краевые, зональные, республиканские, всесоюзные, зарубежные). В составе творческих групп Союза художников совершил ряд поездок по стране: «Таймыр-83», «Художники — флоту-86», «Сахалин — Курилы», «Енисей-88», «Карелия-89», «Горный Алтай-90», «Енисей-91». Ежегодные самостоятельные поездки на север Красноярского края. В 1993 году две поездки по Франции, успешное участие на всемирной выставке в Париже «Биеннале-93», на выставках в Санари и Вьенне. В 1995 году издан альбом В. Кудринского «Свет осенних берёз». Работал в правлении Красноярской организации Союза художников РСФСР, в Сибирско-Дальневосточном отделении Академии художеств СССР. Работы художника находятся в коллекциях многих музеев страны, а также в музеях и частных коллекциях за рубежом: Япония, Китай, Южная Корея, Австралия, Чехословакия, Польша, Германия, Франция, Голландия, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Гавайи.



Курбатов Валентин Яковлевич

Родился в 1939 году в семье путевых рабочих. В начале войны отец был призван в трудовую армию на Урал, а мать, оставшись одна, стала путевым обходчиком на железной дороге. После войны семья переезжает в город Чусовой. По окончании школы в 1957 году Курбатов работает столяром

на производственном комбинате. В 1959 году призван на Северный флот, где служит радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем корабельной библиотеки. В 1962 году приезжает в Псков, где живёт поныне. Работал корректором, литературным сотрудником газет. В 1972 году с отличием окончил факультет киноведения ВГИКа. С этого времени начинает писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях. В 1978 году принят в Союз писателей. Академик Академии российской словесности (с 1997 года). Секретарь Союза писателей России (1994–1999), член правления Союза писателей России (с 1999 года). Член редколлегий журналов «Литературная учёба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва». Входил в жюри премии имени Аполлона Григорьева, большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002). Член жюри премии «Ясная Поляна».



Найдёнов Николай Филиппович

Родился 27 апреля 1925 года на юге Красноярского края, в деревне Ивановка. Умер 13 апреля 2001 года. Участник боевых действий с Японией.



Павлов Олег Олегович

Родился 16 марта 1970 года в Москве. Литературный дебют — цикл рассказов «Караульные элегии», опубликованный в 1990 году журналом «Литературное обозрение». В 1994 году в журнале «Новый мир» опубликовал свой первый роман «Казённая сказка», который принёс молодому автору громкий литературный успех и признание Виктора Астафьева и Георгия Владимова. Лауреат премии «Русский Букер», литературных премий журналов «Новый мир» (1994), «Октябрь» (1997, 2001, 2007), «Знамя» (2009).

Фото Сергея Костырко



Пестерева Елена

Родилась в 1980 году во Львове, живёт в Москве. Окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького и поступила в аспирантуру Литинститута. Публиковалась в периодической печати, альманахах и коллективных сборниках. Автор книги стихов. Финалист открытого поэтического турнира на кубок «Safemaх» (Москва, 2009) и Международного конкурса имени Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (Санкт-Петербург, 2011). Лауреат премии журнала «Октябрь» 2013 года.



Рейхерт Александр Эдмундович

Родился в 1965 году в городе Прокопьевске. Последние двадцать лет живёт в Туруханске. Работает электриком. Первое стихотворение опубликовал в 2013 году в альманахе «Енисей».



СЕЛЯНИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1935 году в городе Заозёрном. Окончил лесотехнический факультет Сибирского лесотехнического института. До выхода на пенсию в 1995 году работал на стройках края. Автор книг «Очень хочется умереть» и «Земля трясётся». Публикации в журнале «День и ночь», других журналах и газетах. Член Союза российских писателей.



СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Норильске в 1953 году. Семья деда репрессирована в 1930 году, жила в Казачинске, Тасеево, Стрелке, Галанино. Родители — ветераны Норильского ГМК. После норильской школы окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (географический факультет), работал в университете, почти во всех крупных горных системах СССР от Средней Азии до Чукотки, в морской геологии на Арктическом побережье и шельфе от Лены до Колымы и Чаунской губы, на островах Медвежьих и Новая Сибирь. Был грузчиком, костоловом, водителем, связистом, строителем, плотничал. Жил и работал в Игарке. Несколько лет назад вернулся в Норильск, где живёт и по сей день, работает в «Норильскгеологии». Прозу и стихи начал писать в 1980-х, публиковаться — в 2000-х в чукотских и норильских газетах и литературных альманахах, в красноярском журнале «День и ночь».



ТАРАН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в Красноярске в 1938 году. После окончания Красноярского медицинского института в 1962 году работал в психиатрической больнице № 2 (село Овсянка), потом поступил в ординатуру и переехал в город Дмитров. При жизни издал два поэтических сборника с интервалом в двадцать один год. Первый — «Дежурство» — в Красноярске в 1969 году, второй — «Повторение пройденного» — в издательстве «Советский писатель». Умер в 1994 году.



ТАРКОВСКАЯ (БАЙМУНДУЗОВА) ТАТЬЯНА

Родилась 24 мая 1977 года в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «филология», работала телерадиожурналистом на ГТРК «Алтай», главным редактором и ведущей программ на радио и телевидении, редактором отдела поэзии журнала «Алтай». Автор книг «Вне круга», «Стихотворения», публикаций в региональной и федеральной периодике. Член Союза писателей России с 2001 года. Живёт в Барнауле и в Красноярском крае.



ТАРКОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский поэт и писатель, около 30 лет живущий в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Родился в Москве в 1958 г. После окончания пединститута им. Ленина (отделение «география-биология») уехал в Туруханский район,

где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таёжных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий: журналов «Наш современник», «Роман-газета», Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна» им. Л. Н. Толстого и других.



ТИМЧЕНКО НИКОЛАЙ

Родился 28 сентября 1950 года в д. Мульга Курагинского района Красноярского края. Службу в рядах Советской Армии проходил в Приморском крае. Окончил физическое отделение Красноярского государственного педагогического института. До 2000 года работал учителем физики. В настоящее время пенсионер. Печатается в альманахе «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), в литературно-художественном журнале «Союз писателей» (Новокузнецк), в альманахе «Чувства без границ» (Москва).



ЭЙСНЕР ТАТЬЯНА

Родилась 26 октября 1958 года в с. Новосёлово Красноярского края. В 1982-м, получив специальность биолога-охотоведа, по распределению приехала на Таймыр. Работала в совхозах Таймырского автономного округа, научным сотрудником заповедника «Путоранский». В настоящее время — старший корреспондент еженедельника «Огни Талнаха». Активно сотрудничает с Союзом писателей Таймыра. Публиковалась в газетах «Заполярный вестник», «Красноярский рабочий», «Таймыр», «Огни Талнаха». В 1988 году в книге Сергея Лузана «Кубок ветра» опубликован цикл из десяти рассказов Татьяны. В альманахе «Северное сияние» (1998) — четыре рассказа. Печаталась в журналах «Енисей», «День и ночь». Записаны выступления на Норильском радио. Основная тема рассказов — природа и люди Таймыра, проблемы экологии.

Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко

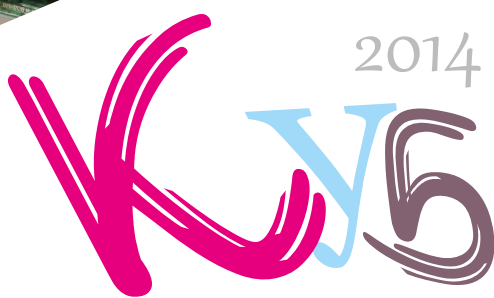


На фото представлены номера на музыку Дмитрия Киселёва: «Девичий хоровод „Околица“» (постановка Татьяны Изюмовой) и «Хореографическая миниатюра „Вечора“» (постановка заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова).







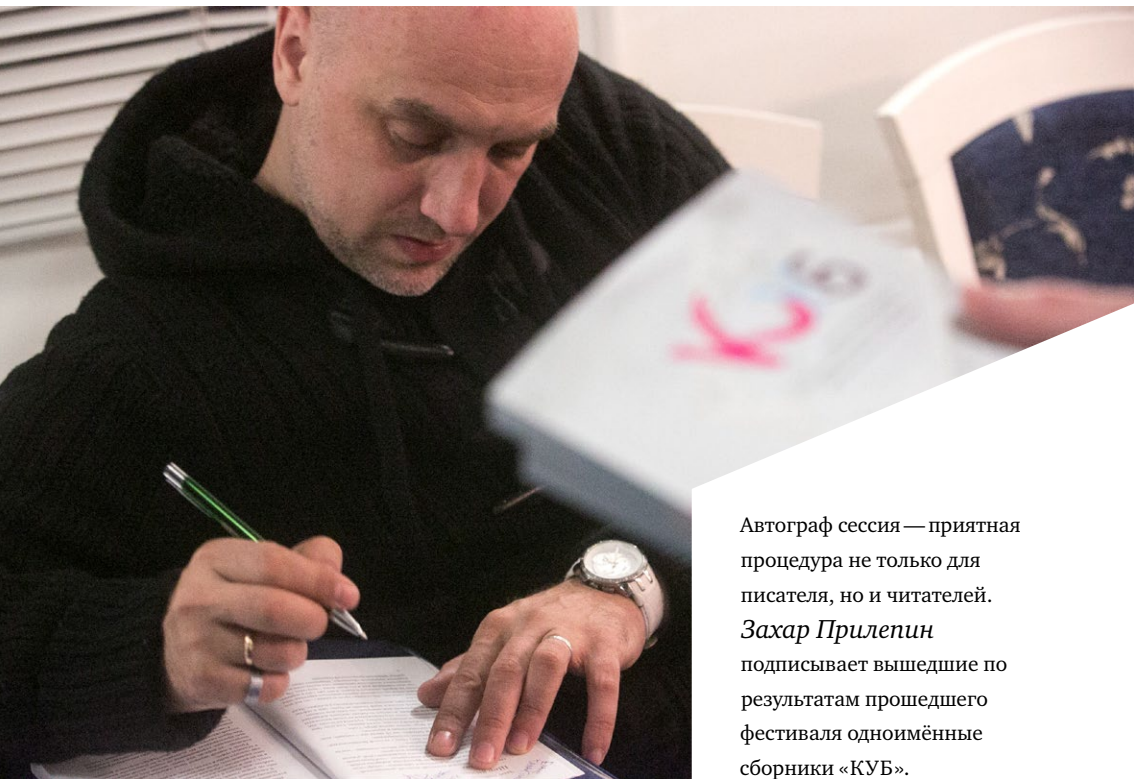


II Межрегиональный литературный
фестиваля «Куб. Ум. Будущее»

Открытие фестиваля «КУБ» с каждым годом становится всё более неординарным и ярким событием. Группа современного танца Viewpoint Dancelab поразила публику своей пластической композицией.



Благодаря мим-театру «За двумя зайцами», открытие фестиваля «КУБ» оказалось интересным не только взрослому поколению, но и ребятам помладше.



Автограф сессия — приятная процедура не только для писателя, но и читателей. **Захар Прилепин** подписывает вышедшие по результатам прошедшего фестиваля одноимённые сборники «КУБ».



«Разговор на театральной сцене» оказался настолько интересным, что свободные места были только на сцене рядом с *Михаилом Тарковским* и *Захаром Прилепиным*.



Действительно, «Музыка со смыслом!» Чтение стихов в исполнении *Андрея Коровина* и талантливые импровизации *Александра Александрова* (Фагота) в поэтическом шоу на малой сцене Красноярского ТЮЗа.

Валерий Кудринский



На Енисейской земле | 1995 | бумага, акварель



На Енисейских ветрах | 1995 | бумага, акварель



Память | 1995 | бумага, акварель



2014
ГОД КУЛЬТУРЫ

80
1934
2014
**КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ**